Джек Лондон

Мартин Иден

Джек Лондон
Мартин Иден

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6599211

Аннотация

«…Вперевалку, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он пошел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки, – он все время боялся запенить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он лавировал между различными предметами, преувеличивая опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могло свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его тяжелые руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему отчетливо представилось, что он вот-вот заденет книги на столе, он, как испуганный конь, прянул в сторону и едва не повалил табурет у рояля. Он смотрел на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни думал о том, как неуклюжа его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли…»

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	24
Глава 3	41
Глава 4	54
Глава 5	62
Глава 6	72
Глава 7	85
Глава 8	101
Глава 9	115
Глава 10	130
Глава 11	141
Глава 12	154
Глава 13	163
Глава 14	181
Глава 15	201
Глава 16	214
Глава 17	228
Глава 18	239
Глава 19	246
Глава 20	258
Глава 21	270
Глава 22	280
Глава 23	292

Глава 24 302
Глава 25 317
Глава 26 332
Глава 27 350
Глава 28 373
Глава 29 383
Глава 30 402
Глава 31 417
Глава 32 432
Глава 33 442
Глава 34 453
Глава 35 464
Глава 36 472
Глава 37 485
Глава 38 500
Глава 39 508
Глава 40 521
Глава 41 533
Глава 42 544
Глава 43 559
Глава 44 575
Глава 45 589
Глава 46 612

Джек Лондон
Мартин Иден

Глава 1

Шедший впереди отомкнул дверь французским ключом и вошел. За ним вошел молодой парень, который при этом неловко сдернул кепку с головы. На нем была простая грубая одежда, пахнувшая морем; в просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что делать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман, но в это время спутник взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что неуклюжий парень был тронут. «Он понимает, – пронеслось у него в голове, – он меня не выдаст».

Вперевалку, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он пошел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки, – он все время боялся зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он лавировал между различными предметами, преувеличивая опасность, существовавшую больше

в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могло свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его тяжелые руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему отчетливо представилось, что он вот-вот заденет книги на столе, он, как испуганный конь, отпрянул в сторону и едва не повалил табурет у рояля. Он смотрел на своего, уверенно шагавшего спутника, и впервые в жизни подумал о том, как неуклюжа его собственная походка, и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли.

Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер свое бронзовое лицо носовым платком.

– Артур, дружище, погодите немножко, – сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение. – Слишком уж для меня много на первый раз. Дайте собраться с духом. Вы ведь знаете, я не хотел, да и вашим-то, едва ли, так уж не терпится на меня посмотреть.

– Пустяки! – последовал успокоительный ответ. – Вам нечего бояться нас. Мы люди простые… Эге! Мне письмо, я вижу!

Артур подошел к столу, вскрыл конверт и начал читать, давая гостю возможность прийти в себя. И гость

это понял и оценил. Он был очень чуток и восприимчив, и несмотря на внешнюю растерянность, в нем уже шел процесс приспособления к новой обстановке. Он вытер лоб и посмотрел кругом более спокойно, хотя в глазах еще оставалась тревога, как у дикого животного, опасающегося западни. Он был окружен неизвестным, он боялся того, что могло произойти, он не знал, что ему делать, понимая, что держится нескладно и что, вероятно, нескладность эта проявляется не только в походке и жестах. Он был чрезвычайно чувствителен, невероятно самолюбив, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, поразил его, как удар кинжала. Он поймал его взгляд, но не подал виду, так как многому уже успел научиться, и прежде всего дисциплине. Однако этот удар кинжала ранил его гордость. Он выругал себя за то, что пришел, но тут же решил, что раз уж пришел, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение, и в глазах сверкнул огонек. Он огляделся теперь более уверенно, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали окружающей обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз. И по мере того как он глядел на эти красивые вещи, сердитый огонь в его глазах угасал, сменяясь теплым блеском. Он всегда живо откликался на красоту, а здесь было на что откликнуться.

Его внимание привлекла картина на стене, написанная масляными красками. Могучий вал разбивался о выступающий из воды утес; низкие грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам, освещенная пламенем заката, неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так что вся ее палуба была открыта взгляду. Это было красиво, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты как не бывало. Он с недоумением взирал на то, что теперь казалось грубой мазней. Затем он отошел. И тотчас же картина снова стала прекрасной. «Картина с фокусом», – подумал он, отворачиваясь, и среди новых нахлынувших впечатлений успел почувствовать негодование, что столько красоты принесено в жертву ради глупого фокуса. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он видал лишь литографии, которые были одинаково гладки и отчетливы вблизи и издали. Правда, в витринах магазинов он видел картины, написанные красками, но стекло не позволяло разглядеть их как следует.

Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и увидел на столе книги. Его глаза загорелись жадностью, как у голодного при виде пищи. Он невольно шагнул к столу, все так же вперевалку, и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавия и имена авторов, читал отдельные фразы в тексте, лас-

кал книги глазами и руками и вдруг узнал книгу, которую недавно читал. Но, кроме этой одной книги, все другие были ему совершенно неизвестны, так же как и их авторы. Ему попался томик Суинберна, и он стал читать, забыв, где находится; лицо его разгорелось. Дважды он закрывал книгу, чтобы посмотреть имя автора, указательным пальцем заложив страницу. Суинберн! Он запомнит имя. У этого Суинберна были, видно, острые глаза, он умел видеть очертания и краски. Но кто он такой? Умер он лет сто тому назад, как большинство поэтов, или жив и еще пишет? Он перевернул заглавную страницу. Да, он написал и другие книги. Ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из сочинений этого Суинберна.

Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая женщина. Его заставил опомниться голос Артура, сказавшего вдруг:

– Руфь! Это мистер Иден.

Книга захлопнулась, и, прежде чем повернуться, он весь задрожал от нового, еще неизведанного ощущения, которое в нем вызвал не приход девушки, а слова ее брата. В его мускулистом теле жила обостренная чувствительность. Под малейшим воздействием внешнего мира его чувства и мысли вспыхивали и играли, как пламя. Он был необычайно восприимчив и

отзывчив, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая взаимоотношения между вещами, сходство и различие. Слова «мистер Иден» – вот что заставило его вздрогнуть.

Он, которого всю жизнь звали «Иден», или «Мартин Иден», или просто «Мартин», – вдруг «мистер». «Это, что-нибудь да значит», – отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни: кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы; все это нанизалось на один стержень – форму обращения, к которой он там привык.

Он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, возникшие в его памяти, сразу исчезли. Это было бледное, воздушное создание с большими голубыми одухотворенными глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета, – знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнивал ее с бледнозолотистым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня, – такая возвышенная красота не может быть земной. Или в самом деле правду говорят книги, и в других, высших кругах общества много таких, как она? Вот ее бы воспеть этому Суинберну. Может быть, он и думал о ком-нибудь, похожем на нее, когда описывал

Изольду в книге, которая лежит там, на столе. Вся эта смена мыслей, видений и чувств заняла одно мгновение. Внешние события шли своей чередой, без перерывов. Руфь протянула ему руку, и он заметил, как прямо смотрела она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины, которых он знавал, не так пожимали руку. Они вообще редко здоровались за руку. Его снова захлестнул целый поток пестрых картин, воспоминаний о том, как он знакомился с разными женщинами. Но он откинул все эти воспоминания и смотрел на нее. Такой он еще никогда не видел. Женщины, которых он знавал. Немедленно рядом с ней выстроились «те» женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он словно стоял посреди портретной галереи, в которой она занимала центральное место, а вокруг теснились женщины, которых надо было оцепить, окинув беглым взглядом, и сопоставить с нею. Он увидел худые, болезненные лица фабричных работниц и задорных девчонок с городской окраины; увидел скотниц с огромных скотоводческих ранчо и смуглых, курящих сигары жительниц Старой Мексики. Потом замелькали похожие на кукол японки, семенящие на деревянных подошвах, женщины Евразии с тонкими чертами лица, уже отмеченные признаками вырождения; за ними пышнотелые женщины островов Великого океана, темноко-

жие и украшенные цветами. И, наконец, всех оттеснила чудовищная, кошмарная толпа – растрепанные потаскухи с панелей Уайтчэпела, пропитанные джином ведьмы из темных притонов, целая вереница исчадий ада, грязных и развратных, жалкие подобия женщин, подстерегающие моряков на стоянках, эти отбросы портов, пена и накипь человеческого котла.

– Садитесь, мистер Иден, – сказала девушка. – Мне так хотелось познакомиться с вами, после того, что нам рассказал Артур. Это был такой смелый поступок.

Он отрицательно покачал головой и пробормотал, что все это сущий вздор, что всякий поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он ей подал, покрыта свежими, заживающими ссадинами; посмотрела на другую руку и увидела то же самое. Потом, скользя быстрым критическим взглядом, она заметила шрам у него на щеке, другой на лбу, под самыми волосами, и, наконец, третий, исчезавший за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полоску, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, видно, не привык носить воротнички. Ее женский глаз отметил и дурной, мешковатый покрой его костюма, складки у плеч, морщины на рукавах, под которыми обрисовывались могучие бицепсы.

Повторяя, что в его поступке нет ничего особенно-

го, он повиновался ей и шагнул к креслу. При этом он успел полюбоваться той непринужденной грацией, с которой села она, и смутился еще больше, представив себе свою нескладную фигуру. Все это было ново для него. Ни разу в жизни не задумывался он над вопросом, ловок он или неуклюж. Ему никогда в голову не приходило смотреть на себя с этой точки зрения. Он осторожно присел на край кресла, не зная, куда деть свои руки. Как он их ни клал, они все время мешали ему, а тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с невольной тоской посмотрел ему вслед. Оставшись в комнате наедине с этим бледным духом в женском облике, он окончательно растерялся. Тут не было ни стойки, где можно спросить вина, ни мальчишки, которого можно послать за пивом, чтобы при помощи этих располагающих к общению напитков завести дружескую беседу.

– У вас шрам на шее, мистер Иден, – сказала девушка. – Откуда он? Наверно, это было какое-нибудь необычайное приключение?

– Мексиканец меня хватил ножом, мисс, – отвечал он, проведя языком по губам и кашлянув, чтобы прочистить горло, – была потасовка. А потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить.

Он сказал это совершенно просто, а перед его глазами возникла картина душной звездной ночи в Сали-

на-Круц; белая полоса берега, огни груженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, искаженное яростью лицо мексиканца, звериный блеск его глаз при звездном свете, холод стали на шее, струя крови, толпа и крики, два тела, его и мексиканца, сплетенные вместе и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары где-то вдали. Так это было, и, вздрогнув при одном воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы изобразить все это на полотне тот, кто написал картину, висевшую в комнате? Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов должны были хорошо выйти, – а посредине, на песке, темная толпа вокруг борющихся. Он решил, что и нож следовало изобразить на картине, – сталь так красиво блестела бы при свете звезд.

Но в его словах ничего этого не отразилось.

– Да, он хотел откусить мне нос, – проговорил он.

– О! – воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в выражении лица он почувствовал замешательство. Он и сам смешался, и легкая краска разлилась по его загорелым щекам, причем ему показалось, что они пылают, как после целого часа, проведенного у открытой топки котла. О таких неприглядных предметах, как драка на ножах, едва ли удобно беседовать со светской дамой. В книгах люди ее круга никогда не говорили о подобных вещах, – может быть, они о них даже

не знали.

Произошла легкая заминка в едва успевшей завязаться беседе. Тогда Руфь снова задала вопрос, на этот раз о шраме у него на щеке. Когда она спросила об этом, он понял, что она пытается оставаться в кругу его тем, и решил, ответив, перевести затем разговор на темы, близкие ей.

– Случай вышел такой, – сказал он, проводя рукой по щеке. – Однажды ночью, в большую волну, сорвало грот со всеми снастями. Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать. Ну, я бросился и закрепил его, только при этом меня звездануло по щеке.

– О! – воскликнула она опять, на этот раз с некоторым участием, хотя все эти «гроты» и «тросы» были ей столь же непонятны, как если бы он говорил с ней по-гречески.

– Этот… Свайнберн, – начал он, осуществляя свой план, но при этом делая ошибку в произношении.

– Кто?

– Свайнберн, – повторил он, – поэт.

– Суйнберн, – поправила она его.

– Да, он самый, – проговорил он, снова покраснев. – Давно он умер?

– Я не слышала, чтобы он умер. – Она посмотрела на него с любопытством. – А где вы с ним познакоми-

лись?

– Да я его и в глаза не видал, – отвечал он. – Я прочитал кое-что из его стишков вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи, нравятся?

Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше и даже глубже уселся в кресло, продолжая, однако, крепко держаться за ручки, словно опасался, что оно уйдет из-под него, и он шлепнется на пол. Ему удалось найти тему, близкую ей, и теперь он напряженно слушал, удивляясь тому, как много знаний укладывается в ее хорошенькой головке, и наслаждаясь созерцанием ее хрупкой красоты… Он старался понять то, что слышал, хотя незнакомые слова, так просто слетавшие с ее губ, повергали его в недоумение, да и весь ход мысли был ему совершенно чужд. Однако все это заставляло его ум работать. Вот где умственная жизнь, думал он, вот где красота, яркая и чудесная, о существовании которой он даже никогда не подозревал. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в девушку. Да, он нашел здесь то, для чего стоило жить, чего стоило добиваться, из-за чего стоило бороться и ради чего стоило умереть. Книги говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Вот одна из них. Она окрылила его воображение, и огромные яркие по-

лотна возникали перед ним, и на них роились таинственные романтические образы, сцены любви и героических подвигов во имя женщины – бледной женщины, золотого цветка. И сквозь эти зыбкие, трепетные видения, как сквозь чудесный мираж, он смотрел на живую женщину, говорившую ему об искусстве и литературе. Он слушал и смотрел, не сознавая пристальности своего взгляда, не сознавая, что вся мужская сущность его натуры отражена в его блестящих глазах. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг по-женски насторожилась, поймав этот пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. От нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время, ей почему-то было приятно, что он так на нее смотрит. Полученное воспитание предостерегало ее против опасности и силы этого таинственного, коварного обаяния; но инстинкт звенел в крови, требуя, чтобы она забыла свое происхождение и положение в обществе и устремилась навстречу этому гостю из другого мира, этому неуклюжему юноше с израненными руками и красной полоской на шее, натертой непривычным воротничком, – юноше, очевидно, хорошо знакомому с окружающей его грубой жизнью. Она была чиста, и вся чистота ее возмущалась; но она была женщина, и к тому же только

что начавшая задумываться над удивительным парадоксом женской природы.

– Как я сказала… А что я говорила? – вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась.

– Вы говорили, что этот Суинберн не сделался великим поэтом, потому что… да… вот на этом вы как раз и остановились, мисс…

Он сказал это и почувствовал точно приступ внезапного голода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. Точно серебро, подумал он, точно маленькие серебряные колокольчики; и в это мгновение, и только на одно мгновение, он перенесся в далекую страну, сидел там под цветущей розовой вишней, курил и слушал звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях.

– Да, да… благодарю вас, – отвечала она. – Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасного, истинного и взывает к самому высокому и благородному в человеке. У великих поэтов нельзя выкинуть ни одной строчки. Это было бы огромной потерей для мира.

– А мне это показалось очень хорошо, – сказал он

нерешительно, – то, что я вот тут прочел… Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается в других его книгах.

– И в той книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба, – заявила она твердым и убежденным тоном.

– Мне они, верно, не попались, – сказал он. – То, что я читал, было уж очень здорово. Точно свет какой-то тебе в душу светит, вроде солнца или прожектора. Так мне показалось, мисс: да ведь я, должно быть, ни черта в стихах не смыслю.

Он вдруг умолк, мучительно сознавая свою косноязычность. Он почувствовал тепло и огромность жизни в том, что только что прочел, но ему не хватало слов, чтобы рассказать об этом. Он самому себе казался матросом на чужом судне, который темной ночью путается в незнакомой оснастке. Хорошо, решил он, значит нужно, во что бы то ни стало, освоиться в этом чужом мире. Еще никогда не бывало, чтобы он не смог овладеть тем, чего хотел, а сейчас он страстно хотел научиться выражать свои чувства и мысли так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт.

– Вот, например, Лонгфелло… – начала она.

– Да, да. Я его читал, – живо перебил он, желая поскорей проявить все свои – хоть и малые – познания

в области литературы. Пусть она убедится, что он, не такой уж круглый невежда. – Я читал «Псалом жизни», «Эксцельсиор»… Да вот, кажется, и все.

Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал в ее улыбке снисходительность, печальную снисходительность. Он сглупил, вздумав похваляться своими жалкими познаниями. Ведь этот Лонгфелло написал, наверно, несчетное множество книг.

– Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами, – сказал он, – правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело… Но, я добьюсь того, что это будет моего ума дело!

Последние слова прозвучали как угроза. Голос его звенел, глаза сверкали, складки в углах рта обозначились резче. Ей даже показалось, что челюсть у него выдвинулась вперед. Лицо приняло какое-то неприятное, вызывающее выражение. И, в то же время, мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнула ее.

– Я верю, вы добьетесь того, чтобы… чтобы это стало вашего ума дело, – подтвердила она смеясь. – Вы… такой сильный!

Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой бычьей шее, бронзовой от солнца, пышущей здоровьем и силой. И хотя он сидел перед ней такой смущенный и робкий, ее снова потянуло к нему. У нее

вдруг мелькнула сумасбродная мысль. Ей представилось, что если бы она обняла эту шею, вся сила и мощь передались бы ей. Эта мысль устыдила ее. Казалось, она неожиданно открыла в себе какую-то порочность. Кроме того, до сих пор физическая сила всегда казалась ей чем-то низменным и грубым. Ее идеал мужской красоты был нежен и полон изящества. Однако странная мысль не оставляла ее. Она не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. А между тем все было просто. Она была хрупка от природы, и ее тело и ум томились по силе, которой им не хватало. Но она не сознавала этого, она знала лишь, что ни один мужчина еще не затрагивал ее так сильно, как этот человек, чья неправильная речь то и дело резала ее слух.

– Да, я вообще здоров, как бык, – сказал он, – ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время. Но только я никогда про них так не думаю, как вы. От того мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что тут к чему. Может, вы мне поможете? Откуда вы сами столько знаете?

– Я училась, ходила в школу, – отвечала она.

– В школу и я ходил, когда был мальчишкой, – возразил он.

– Да, но я кончила среднюю школу, а потом ходила в университет, на лекции.

– Вы учились в университете? – переспросил он с неприкрытым изумлением. И сразу между ними легло пространство в миллионы миль.

– Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.

Он не знал, что значит «филология», и, отметив свое невежество в этом пункте, спросил:

– А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?

Она решила ободрить его в этом стремлении к знанию.

– Зависит от того, сколько вы учились раньше. Вы совсем не были в средней школе? Ну, да, конечно, нет… Но начальную школу вы окончили?

– Мне оставалось до конца всего два года, – отвечал он, – да я ушел… Но учился я всегда с наградами.

И тотчас же, браня себя за это хвастовство, он так сжал ручки кресла, что пальцы у него заныли. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас же встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, направи-

лись к нему. Он решил, что это, вероятно, ее мать. Это была высокая белокурая женщина, стройная и красивая, одетая нарядно, как и подобает хозяйке такого дома. Изящные линии ее платья радовали глаз. Мартину Идену пришли на ум женщины, виденные им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же важных дам, так же одетых, он видел в вестибюлях лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза, пока полицейский не выгонял его на улицу. Вслед за этим воображение перенесло его в Нокогаму, к Гранд-Отелю, где ему тоже случалось видеть издали таких дам. И тотчас же замелькали перед ним сотни картин Иокогамы, города и гавани. Но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать и представиться, и с трудом поднялся с кресла, чувствуя, как безобразно пузырятся у него брюки на коленях. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.

Глава 2

Процесс перехода в столовую был сплошным кошмаром. А продвигаться среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, временами казалось ему немыслимым. Но, в конце концов, он проделал опасный путь, и теперь сидел рядом с Руфью. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неведомыми опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах скверного мяса, в ушах раздавалось громкое чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели, как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой. Постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом.

Он окинул взглядом стол. Напротив него сидели Артур и второй брат, Норман. «Ее братья», сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему

вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, между родителями и детьми не в обычае были подобные нежности. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той возвышенности чувств, которой достигли высшие классы. Из всего, что Мартину пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью и сочувствием. Он искал любви всю свою жизнь. Его природа жаждала любви. Это было органической потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не сознавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они казались ему благородными, возвышенными, прекрасными.

Он был рад отсутствию мистера Морза. Достаточно с него было знакомства с Руфью, с ее матерью и с ее братом Норманом. Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом – это было бы уж слишком. Ему казалось, что еще никогда в жизни он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению с этим. На лбу у него выступили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, ко-

торых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и, в то же время, вбирать в себя непрерывный поток новых впечатлений, едва успевая классифицировать их в своем сознании; испытывать неодолимое влечение к девушке, наполнявшее его смутной и болезненной тревогой; томиться страстным желанием проникнуть в те жизненные сферы, в которых она жила, и напряженно и непрестанно размышлять о том, как достичь этого. Искоса посматривая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедавших, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался, в то же время, ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и угадать, в каких он отношениях с Руфью. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. К довершению всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его плечами и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все

время ему не давала покоя мысль о чашках для полоскания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он знал о них только понаслышке, и вот теперь, может быть, через минуту-две, он их увидит, – ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды, и должен будет сам – да, сам – это проделать. Но, больше всего его занимала неотступная мысль: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда ему приходило в голову, что хорошо бы притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась другая опасливая мысль: что ничего у него не выйдет и что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках.

Занятый всеми этими размышлениями, Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опроверг слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что ее брат может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он его выручил из беды. И он сидел за столом, угнетенный сознанием

собственного ничтожества и очарованный всем, что совершалось вокруг него.

Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища, и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией. И не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усиленно работал. Вокруг него произносили слова, непонятные ему по значению, и другие слова, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог даже выговорить. Когда он слышал, как легко произносились такие слова в этой удивительной семье, ее семье, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь.

Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и, наблюдая и слушая, он старался поменьше обращать на себя общее внимание, отвечая односложно: «да, мисс» и «нет, мисс», если *она* обращалась к нему; «да, мэм» и «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удержался, чтобы не сказать *ее брату*: «да, сэр», как полагалось по правилам

морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет добиться *ее*. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их, и если они знают многое, чего я не знаю, то и я могу всему этому научиться. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему: «мистер Иден», – он забывал свою гордую строптивость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком и обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.

Но сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому Ягненку, чем дикарю, описанному Артуром, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась с второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую, когда он спотыкался и наталкивался на мебель. Мартин рылся в своем многоязычном лексиконе, боясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, знакомые ему, окажутся грубыми или непонятными. Все время его угнетала мысль, что эта связанность речи вредит ему, мешает выразить то, что он, на самом деле, чувствует и думает. Кроме того,

невольная узда стесняла его независимый дух точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Мартин опасался, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму; и в конце концов он забыл, где находится, и старое, знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка.

Мартин отклонил блюдо, предложенное лакеем, который все время торчал у него за спиной, и сказал кратко и выразительно:

– Пау.

Все за столом тотчас же застыли в ожидании, слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою.

– Это канакское слово, – сказал он, – означает: «хватит», «довольно». Так уж у меня вырвалось, нечаянно. – Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, отвечая на ее немой вопрос, продолжал:

– Я только что приплыл на одном из пароходов тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам пришлось поработать в порту на погрузке, и не как-нибудь, а на совесть. Там я и поободрал себе шкуру.

– О, я вовсе не на то смотрела, – поспешно сказала

она. – Ваши руки кажутся маленькими по сравнению с вашей фигурой.

Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток.

– Да, – сказал он огорченно, – кулаки у меня слабоваты, это верно. Но бицепсы здоровые, как у мула, и удар что надо. Когда я кому-нибудь заеду в зубы, то обычно расшибаю себе руки в кровь.

Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе: перестал следить за своей речью и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых.

– Как смело было с вашей стороны прийти на помощь Артуру, тем более, что он вам совсем чужой, – сказала Руфь деликатно, заметив его смущение, но, не поняв причины.

Он же вполне понял и оценил ее тактичность и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку.

– Ерунда, – сказал он, – каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них, – ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала, ну да зато, кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу…

Он вдруг умолк с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством, чувствуя, что недостоин даже дышать одним воздухом с нею. И в то время как Артур, подхватив разговор, в двадцатый раз стал рассказывать о приключении на пароме, – как на него напали какие-то пьяные хулиганы и как Мартин Иден бросился на них и спас его, – герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном, и еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не их породы и потому не умел говорить их языком. Все это было несомненно. Подделываться под них? Но игра, наверное бы, не удалась, да и вообще притворство было не в его натуре. В ней не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить их языком, но со временем сможет: в этом он был убежден непоколебимо. А пока – не молчать же ему! – он будет говорить своим языком; разумеется, смягчая выражения, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, что ему ясно то, что на самом деле ему совершенно неясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден, следуя своему

решению, спросил их:

– Что такое «триг»?

– Тригонометрия, – отвечал Норман. – Часть высшей «матики».

– А «матика» что такое? – был следующий вопрос, вызвавший у Нормана легкую улыбку.

– Математика, арифметика, – отвечал он.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика и вся область знания, символом которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине, зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал твердо, лежала страна неведомого, страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для подвига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать, – и тотчас же из глубины сознания всплыла мысль: завоевать ради нее, бледной, как лилия, девушки, сидящей перед ним.

Сверкающее видение было разрушено Артуром,

который прилагал все старания, чтобы в Мартине проявился, наконец, дикарь.

Мартин Иден помнил свое решение. Впервые за весь вечер он стал самим собой и сначала с усилием, а потом *свободно*, увлекаясь радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какою он ее знал, Он был матросом на контрабандистской шхуне «Хальцион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и, вдобавок, умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков.

И пока Мартин Иден говорил, девушка смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она удивлялась, как могла она, такой холодной, прожить все эти годы. Ей хотелось прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан си-

лы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Но, в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные руки, на которых остались неизгладимые следы труда и житейской грязи, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее душу. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Его жизнь, полная романтики и приключений, опрокидывала все привычные условные представления. Слушая его смех, его веселые рассказы об опасностях, она переставала считать жизнь чем-то серьезным и трудным: жизнь начинала представляться ей игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй, – говорил ей внутренний голос, – прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ей хотелось осудить себя за эти легкомысленные побуждения, но напрасно противопоставляла она ему свою чистоту, свою культуру – все то, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как завороженные, но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, – восторженный, но все-таки

ужас, – и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака, – порождение зла. Ее мать также видит это, – значит, так и есть. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту.

После обеда она играла ему на рояле, с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть, их разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина, подействовала на него, как жестокий удар по голове, но, ошеломив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением. Как и она, он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Мартин был слишком чувствителен и экспансивен, чтобы целый вечер молча созерцать эту пропасть, в особенности когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она, точно крепкое вино, побуждала его к смелым мыслям и поступкам, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно вырастали крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которые он слышал на матросских

танцульках, или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находя в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло его ухо. Иногда ему казалось, что он поймал ритмический рисунок, и он уже готов был, подчинить ему строй образов, вставших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть.

Один раз Мартину даже пришло в голову, не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать ее руки, ударявшие по клавишам.

Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед глазами. Все, что было вокруг, исчезло, он парил над каким-то неведомым миром, мечту о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Мартин видел неведомые порты знойных стран, блуждал по людным площадям, в селениях диких племен, которых никто никогда не видел. Он словно чувствовал знакомый ему аромат островов, который привык вдыхать в жаркие ночи на мо-

ре, снова долгие тропические дни плыл по Великому океану, среди увенчанных пальмами коралловых островов, исчезавших и вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне, то, в следующее мгновение, сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу Долины Смерти или ударял веслами по волнам Ледовитого океана, где сверкали на солнце громадные ледяные острова. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали «hula» под страстные завывания певцов, под звон гавайской гитары и грохот там-тама. Стояла напоенная страстью тропическая ночь. Вдали, на фоне звездного неба, вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста.

Мартин был подобен эоловой арфе. То, что он пережил и изведал на своем веку было струнами, а музыка – ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску и претворялось в образы ка-

ким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и будущее сливалось в одно; он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь ее. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает ее в царство своих грез.

Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, которые будто проникали за пелену звуков, и там ловили биение живой жизни и исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо, по-прежнему, были перед ней, но теперь все это казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспомощную и немую, ибо не было слов, которые могли выразить взволновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь одно мгновение; неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась над своей фантазией. Однако впечатление от этого мгновения сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще томик Броунинга, – как раз сейчас она изучала Броунинга на курсе английской литературы. Мартин вдруг показался ей таким мальчиком, когда про-

бормотал слова благодарности, что она невольно почувствовала к нему материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, радуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собой лишь мальчика, и этот мальчик, пожимая ей руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что она царапала ей кожу, говорил ей запинаясь:

– Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому, – он растерянно оглянулся, – к таким людям, и таким домам. Это все совсем ново для меня… и это мне нравится.

– Надеюсь, вы к нам еще придете, – сказала она, когда он прощался с ее братьями.

Он напялил кепку, неуклюже споткнулся о порог и вышел.

– Ну, как он тебе понравился? – спросил Артур.

– Очень занятный. И для нас – словно струя озона, – ответила она. – Сколько ему лет?

– Двадцать, почти двадцать один. Я спрашивал его сегодня. Я никак не предполагал, что он так молод.

«Значит, я на целых три года старше его», – подумала Руфь, целуя братьев на прощанье и желая им спокойной ночи.

Глава 3

Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся долгой затяжкой и медленно выпустил дым.

– Чёрт побери! – воскликнул он с благоговейным удивлением. – Чёрт побери! – повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз: – Чёрт побери! Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая кругом. Лишь смутно до его сознания доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, видел сны наяву, мысленно переживая снова все, что только с ним произошло.

Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко, – задумываться о женщинах ему было несвойственно, – но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с нею рядом за столом, он пожимал ее руку, он смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души – равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал

как о теле, – и это было ново для него, потому что о других женщинах он иначе не думал никогда. Ее тело было чем-то особым; казалось даже, что оно не должно быть подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души, – оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. До сих пор, ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознания. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и весело смеялся над священниками и над произведениями, толкующими о бессмертии души. Никакой жизни «там», говорил он себе, нет и быть не может; вся жизнь здесь, а дальше – вечный мрак. Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа – бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина, которых он знал раньше, не вызывали в нем мыслей о бессмертии. А она вызвала! Она безмолвно шепнула ему об этом сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы, и озаренное светом такой чистоты, о какой он и не подо-

зревал никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существуют добро и зло, но мысль о чистоте как об одном из атрибутов живой жизни никогда не приходила ему в голову. А теперь – в ней – он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь.

И его вдруг охватило честолюбивое желание добиться бессмертия. Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для этой девушки; уже то, что он сидел с ней весь вечер и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Он ничем не заслужил этого. Он не был достоин такого счастья. Религиозное настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и самоуничижению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был обличен во грехе. Но как всякий грешник, каясь и оплакивая свои прегрешения прозревает будущее блаженство, так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрылили его, ему представлялось, что он парит вместе с ней на головокружительной высоте, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, обменивается с нею мыслями. Это было какое-то духовное облада-

ние, освобожденное от всего грубого, вольное содружество душ, мысль о котором он никак не мог довести до конца. Да он и не старался. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям духа, которых никогда прежде не испытывал, плыл по течению в океане чувств, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел, шатаясь, как пьяный, и бормоча вполголоса:

– Чёрт возьми! О, чёрт возьми!

Полицейский на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса.

– Где нагрузился? – спросил полицейский.

Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, уменьем быстро приспособляться к обстоятельствам. Как только полицейский окликнул его, он тотчас же опомнился.

– Здорово! – воскликнул он со смехом. – А ведь я и не знал, что разговариваю вслух.

– Еще немножко, и ты начнешь петь, – определил его состояние полицейский.

– А вот не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой.

Он закурил папироску, пожелал полицейскому доброй ночи и зашагал дальше.

– Как вам это нравится, – пробормотал он себе под нос, – этот олух принял меня за пьяного! – Он усмех-

нулся про себя и подумал: «А ведь я вправду пьян; вот не думал, что могу опьянеть от женского лица».

На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни, Он с любопытством наблюдал их. То были слушатели университета. Они посещали те же лекции, которые посещала она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомство, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер, вместо того, чтобы провести его с ней, беседовать с ней, любоваться ей, восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. Дрянной, порочный мальчишка, решил он. На корабле это был бы трус, плакса и доносчик. Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении заткнет за пояс любого из них. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, а вот эта-то мысль и угнетала его. Но для чего-то и мне дан мозг в конце концов, тотчас подумал он. Чего достигли они, могу и я достичь. Они изучали жизнь по книгам, в то

время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось пережить во время учения. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живой жизнью и испытать все то, что он уже испытал. И прекрасно. Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он займется изучением по книгам другой стороны жизни.

Трамвай шел по мало застроенной местности между Оклендом и Беркли, и Мартин Иден ждал, когда он поравняется с хорошо знакомым ему двухэтажным домом, на котором красовалась вывеска: «Розничная торговля Хиггинботама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелким самолюбием, эгоизмом и жалким ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернард Хиггинбогам был женат на сестре Мартина, и он достаточно хорошо успел изучить его. Мартин отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах лежалых овощей проникал и сюда. Пробираясь по тем-

ной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую одним из его многочисленных племянников, и с грохотом налетел на дверь. «Скряга, – подумал он, – жалеет уплатить два лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе нос».

Нащупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его штаны, а он читал газету, растянувшись на двух стульях и свесив костлявые ноги в стоптанных ковровых туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазами. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могла сестра найти в этом человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду», – утешал он себя, и только эта мысль помогала ему выносить присутствие этого человека. Злые и хищные глаза смотрели на Мартина неодобрительно.

– Ну, – спросил Мартин, – в чем дело?

– Эту дверь только на прошлой неделе окрасили, – произнес мистер Хиггинботам не то жалобно, не то злобно, – а ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы. Можно было бы поосторожнее!

Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив,

что это все равно безнадежно. Чтобы отвлечься, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно увидел ее впервые. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом ее, с ласковой улыбкой пожимающую ему руку на прощанье. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботама и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его:

– Привидение ты увидел, что ли?

Мартин пришел в себя и, взглянув в эти злые, хитрые глаза, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке, – масленые, слащавые, с заискивающим, рабски-угодливым выражением.

– Да, – отвечал Мартин, – я увидел привидение. Спокойной ночи! Спокойной ночи, Гертруда!

Он направился к двери и по дороге опять споткнулся и чуть не упал, зацепившись за ковер.

– Не хлопай дверью, – предостерегающе произнес мистер Хиггинботам.

Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь.

Мистер Хиггинботам торжествующе поглядел на

жену.

– Пьян, – объявил он хриплым шепотом, – я говорил, что он налижется!

Жена покорно кивнула головой.

– У него, правда, глаза блестят, – признала она, – и воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил.

– Он еле на ногах держится, – возразил ее супруг, – я наблюдал за ним. Шагу не мог сделать, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?

– Он, верно, наскочил на Алисину тележку, – отвечала она, – не заметил ее в темноте.

Мистер Хиггинботам повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевывался перед покупателями, в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет, наконец, позволить себе стать самим собой.

– Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!

Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была крупная, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и своего супруга.

– Это у него наследственное, от папаши, – продол-

жал тот прокурорским тоном, – и он пойдет по той же дорожке. Так и знай!

Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви.

– Хорош пример для детей! – закричал вдруг мистер Хиггинботам, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему. – Если это случится еще раз, пусть убирается вон. Поняла? Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю! – Мистер Хиггинботам любил употреблять слова, только что вычитанные в газете. – Да, развращались. Иначе не скажешь.

Но жена по-прежнему только вздыхала, качала головой и продолжала шить. Мистер Хиггинботам снова взял газету.

– А он заплатил за прошлую неделю? – спросил он вдруг среди чтения.

Она утвердительно наклонила голову.

– У него еще есть деньги.

– А скоро он опять отправится в плавание?

– Должно быть, как деньги выйдут, – отвечала она. – Он уж вчера ездил в Сан-Франциско – посмотреть, нет

ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не наймется на первое попавшееся. Он очень разборчив.

– Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться! – Мистер Хиггинботам усмехнулся. – Разборчив! Подумаешь!

– Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края за каким-то кладом. Вот он на ней хочет идти, если только хватит денег ее дождаться.

– Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком, – сказал муж, без тени доброжелательства впрочем, – Том уходит.

Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно.

– Ушел уже. Он переходит к Каррузерсам. Они платят больше. Я столько не могу платить.

– Вот видишь! – воскликнула она. – Я тебе говорила. Ты ему платил слишком мало по его работе.

– Вот что, старуха, – со злобой ответил мистер Хиггинботам. – Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело. Больше повторять не буду.

– Как хочешь, – проворчала она, – А только Том был хороший малый.

Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью.

– Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой.

– Он платит исправно за стол и квартиру, – возразила жена, – Он мой брат, и покуда он тебе ничего не должен, нечего придираться к нему. Я ведь еще тоже человек, даром что прожила с тобою целых семь лет.

– А ты сказала ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам? – спросил он.

Миссис Хиггинботам ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал. Он одержал верх. И его бусинки-глазки сверкнули злобной радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее; и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно, не то что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил.

– Ну, ладно, завтра скажешь, – сказал он. – И еще чтоб не забыть: пошли завтра за Мэриен, пусть присмотрит за детьми. А то теперь, раз Том уходит, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня.

– Завтра у меня стирка, – возразила она нерешительно.

– Встань пораньше, только и всего… Я раньше десяти не выберусь.

Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.

Глава 4

У Мартина Идена еще звенело в ушах после столкновения с зятем, когда он через темную переднюю пробирался в свою комнату – тесную каморку, где помещалась только кровать, умывальник и один стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать. К тому же лишняя комната позволяла иметь двух жильцов вместо одного. Мартин положил Суинберна и Броунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины застонали, словно задыхаясь под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг уставился на противоположную стену, где на белой штукатурке остались темные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне стали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и долго смотрел на стену, потом у него зашевелились губы, и он прошептал: «Руфь!»

«Руфь!» Мартин никогда и не думал, что простой звук может быть так прекрасен. Этот звук ласкал его слух, и он повторял с упоением: «Руфь, Руфь». Это был талисман, магическое заклинание; и каждый раз, когда он произносил его, ее лицо являлось перед ним,

озаряя всю степу золотым сиянием. Это сияние не задерживалось на стене, оно уходило в бесконечность, и где-то в золотом просторе его душа искала ее душу. Все лучшее, что было заложено в нем, хлынуло наружу могучим потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делала лучше и вызывала желание стать еще лучше. Это было что-то новое. Мартин никогда еще не встречал женщин, с которыми он становился бы лучше, чем был. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что многие из них все же отдавали ему свое самое лучшее, как ни убого это лучшее было. Он никогда не думал о себе и не подозревал, что в нем есть нечто, вызывающее в сердцах любовь, и что именно потому многие женщины так упорно добивались его внимания. Он их никогда не искал, они сами его искали; и ему не пришло бы в голову, что некоторые из них становились лучше благодаря ему. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью, и теперь ему казалось, что это они всегда хватали его и крепко держали своими грязными руками. Он был несправедлив к ним, несправедлив и к самому себе. Но этого он не мог понять, потому что не привык еще задумываться о таких вещах, и только сгорал от стыда, вспоминая о недавнем разврате. Мартин внезапно встал и заглянул в потускневшее зеркальце, висев-

шее над умывальником. Он тщательно вытер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности он рассматривал себя впервые в жизни. Его глаза были созданы, чтобы видеть, но до сих пор они были прикованы к непрестанно меняющемуся облику мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Теперь он видел перед собой лицо двадцатилетнего юноши, но никак не мог решить, красиво оно или нет, так как у него не было критерия для подобной оценки. Он увидел копну каштановых волос, вьющихся над высоким крутым лбом. Его кудри нравились женщинам, они любили перебирать их и гладить. Но он не стал приглядываться к волосам, считая, что для нее они не могут иметь никакого значения, и сосредоточенно и вдумчиво смотрел на свой лоб, пытаясь проникнуть в него, узнать, что за ним скрывается. Он настойчиво спрашивал себя, какой у него мозг? Чего можно ждать от этого мозга? Куда он заведет его?

Приведет ли он его к ней?

Мартин спрашивал себя, видна ли душа в этих иссиня-серых глазах, которые часто становились совсем голубыми, точно вбирали в себя блеск морской глади, озаренной солнцем. Он гадал, могли ли его глаза понравиться ей. Он попытался посмотреть в них так, как смотрела бы она, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко угадывал мысли других людей, но

все это были люди, жизнь которых он хорошо знал. А ее жизни он не знал совсем. Она была загадка и чудо, – где ж ему было угадать хоть одну ее мысль? Ну, что ж, решил он наконец, это честные глаза, ни гнусности, ни коварства в них нет. Его удивил темный цвет его лица; он никогда не думал, что так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу повыше локтя с кожей лица. Нет, он все-таки белый. Но руки были тоже загорелые. Тогда он согнул руку и, напрягая бицепсы, постарался разглядеть те части рук, которых вовсе не касалось солнце. Они были очень белы. Он рассмеялся при мысли, что и это бронзовое лицо в зеркале было некогда так же бело; ему не приходило в голову, что на свете не так уж много нашлось бы женщин, которые могли похвастаться такой же белой кожей, как у него, – там где она не была обожжена солнцем.

Рот у него был бы совсем как у херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился, крепко сжимать свои чувственные губы, что придавало ему какую-то суровость, строгость почти аскетическую. Это были губы воина и любовника. Они могли всласть наслаждаться жизнью, но умели при случае и повелевать. Подбородок и чуть тяжеловатая нижняя челюсть подчеркивали властное выражение лица. Сила уравновешивала в нем чувственность, и потому он любил

здоровую красоту и откликался на здоровые чувства. А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах дантиста. Они были белые, крепкие и ровные, – так он решил, когда рассмотрел их как следует. Но тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его памяти шевельнулось смутное представление о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего круга, ее круга. Она, вероятно, тоже чистит зубы каждый день. Что она подумает о нем, если узнает, что он ни разу в жизни не чистил зубов? Он решил завтра же купить щетку и ввести это в обычай. Одними подвигами ее не завоюешь. Он должен произвести изменение во всем, что касалось его особы, начиная с чистки зубов и кончая ношением воротничка, хотя, надевая крахмальный воротничок, он всегда чувствовал себя так, будто его лишили свободы.

Мартин поднял руку и поскреб пальцем мозолистую ладонь, глядя на грязь, которая, казалось, въелась в тело так, что ее не соскоблишь и щеткой. Какая ладонь у нее! Даже вспомнить, и то было приятно. Нежная, точно лепесток розы; прохладная и легкая, как снежные хлопья. Мартин никогда не подозревал, что женская рука может быть такой мягкой и нежной. Он подумал, какое наслаждение должна доставлять ласка такой руки, и, поймав себя на этой мысли, покрас-

нел и смутился. Эта мысль была слишком груба для нее и унижала ее духовную красоту. Руфь была бледным духом, призраком, парящим где-то далеко от всего земного. И все же он не мог отогнать воспоминания о ее мягкой ладони. Он привык к жестким, огрубевшим в труде рукам фабричных работниц и женщин, измученных домашней работой. Да, конечно, он понимал, почему так грубы их руки. Ее рука была нежной и мягкой потому, что ей был незнаком труд. Пропасть снова разверзлась между ними, как только он подумал о том, что есть люди, которым не нужно работать для того, чтобы жить. Он вдруг увидел перед собой образ аристократии, людей, не знающих труда. Этот образ возник на грязно-белой стене, надменный и внушительный, как бронзовая фигура. Мартин работал всю жизнь, с тех пор как он себя помнил; и вся его семья трудом добывала себе пропитание, взять хотя бы Гертруду. Ее натруженные от стирки руки распухали и делались красными, как вареное мясо. Или другая его сестра, Мэриен. Она работала на консервном заводе, и ее маленькие хорошенькие ручки были сплошь в ссадинах от ножей, которыми резали помидоры. Кроме того, прошлой зимой, когда она работала на картонажной фабрике, ей машиной отхватило два пальца. Он вспомнил грубые руки своей матери, сложенные крест-накрест в гробу. Отец его тоже ра-

ботал до конца дней, и на его ладонях наросли мозоли чуть не в полдюйма толщиною. А у нее руки были нежные, и не только у нее, но и у ее матери и братьев. Последнее особенно поразило его; это был красноречивый знак касты, доказательство огромности расстояния, их разделявшего. Мартин с горькой усмешкой опять сел на кровать и снял, наконец, башмаки. С ума он сошел – опьянел от женского лица, от нежных женских рук. И вдруг перед его глазами всплыло новое видение. Он стоит перед огромным мрачным домом в лондонском Ист-Энде, ночью, а рядом с ним стоит Марджи, девчонка-работница лет пятнадцати. Он провожал ее домой после гулянья. Она жила в этом грязном доме, похожем на большой хлев. Прощаясь, Мартин протянул ей руку. Она подставила ему губы для поцелуя, но ему не хотелось целовать ее. Что-то в ней его отпугивало. Тогда она с лихорадочным трепетом сжала ему руку. Мартин почувствовал мозоли на ее маленькой ладони, и его вдруг захлестнула волна жалости. Он видел ее молящие голодные глаза, ее тщедушное, полудетское тело, в котором уже проснулся несмелый, но жадный инстинкт женщины. Тогда, в порыве сострадания, он обнял ее и поцеловал в губы. Он услыхал ее радостный возглас и почувствовал, как она, словно кошка, прижалась к нему. Бедный маленький заморыш! Мартин смотрел на это

видение далекого прошлого. У него побежали мурашки по телу, как тогда, в ту минуту, когда она прильнула к нему, и сердце его сжалось от грусти. Это было серое видение: небо тогда было серо, и серый дождь моросил над грязными плитами мостовой. Но вдруг яркий свет озарил стену, и, затмевая все образы и видения, перед ним засияло ее бледное лицо в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.

Он взял со стула томики Суинберна и Броунинга и поцеловал их. А все-таки она звала меня приходить, подумал он. Потом снова взглянул на себя в зеркало и сказал громко и торжественно:

– Мартин Иден, первое, что ты сделаешь завтра утром, – это пойдешь в бесплатную читальню и почитаешь что-нибудь о правилах хорошего тона. Понял?

После этого он погасил газ, и пружины застонали под грузом его тела.

– А главное, Мартин, ты должен поменьше чертыхаться. Слышишь, старина! Заруби это себе на носу!

Сказав так, он заснул, и сны его по смелости и необычайности могли сравниться только с грезами курильщика опиума.

Глава 5

Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. До него донеслась перебранка и ругань людей, начавших трудовой день. Выйдя из своей комнаты, он услышал сердитый окрик и звук затрещины, которой его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Визг ребенка, словно ножом, резнул его слух. Все здесь казалось ему отвратительным, даже самый воздух, которым он дышал. Как все это не похоже на покой и гармонию, царившие в доме, где жила Руфь! Там все было возвышенно и духовно; здесь – материально, грубо материально.

– Иди сюда, Альфред, – крикнул он плачущему ребенку и запустил руку в карман, где у него лежали деньги. К деньгам он относился небрежно, в этом сказывалась его широкая натура. Он сунул мальчугану монету и взял его на руки, чтобы успокоить.

– Ну, а теперь беги купи себе леденцов да поделись с братьями и сестрами. Выбери такие, чтобы подольше не таяли.

Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него.

– Довольно было бы одного пенса, – сказала она, –

ты не знаешь цены деньгам. Мальчик теперь объестся.

– Ничего, – ответил он весело, – мои денежки сами знают себе цену. Доброе утро, сестренка, если бы ты не была так занята, ей-богу поцеловал бы тебя.

Ему хотелось быть поласковее с сестрой; сердце у нее было доброе, и она, по-своему, (он это знал) любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик, становилась сварливой и раздражительной. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, большой семьей и нудным характером супруга. И вдруг ему пришло в голову, что за это время она словно пропиталась запахом этих гнилых овощей, грязного белья и захватанных медяков, которые она считала за прилавком.

– Ступай-ка лучше завтракать, – сказала она внешне сурово, но в глубине души довольная; из всех ее странствующих по миру братьев Мартин всегда был самым любимым. – Ну, иди ко мне, я тебя поцелую, – прибавила она, поддавшись неожиданному порыву.

Она обобрала пальцами пену, сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные, распаренные губы. Слезы навернулись у нее на глазах не столько от полноты чувств, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки

успел заметить ее слезы.

– Завтрак в печке, – прибавила она быстро. – Джим, наверное, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорей поешь, да и уходи из дому; у нас сегодня тяжелый денек. Том уволился, стало быть, Бернарду самому придется ехать с подводой.

Мартин с тяжелым сердцем отправился на кухню. Красное лицо сестры и ее неряшливый вид врезались ему в память. Она бы любила меня, если бы у нее нашлось время, подумал Мартин. Но она надрывается на работе. Скотина этот Бернард Хиггинботам, что заставляет ее так работать. И в то же время, Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего красивого.

Правда, этот поцелуй сам по себе был необычен. Уже много лет она целовала его, лишь провожая в плавание или встречая по возвращении домой. Но в этом поцелуе чувствовался вкус мыльной пены, а губы ее были дряблы. Они не прижимались быстро и упруго к его губам, как должно быть в поцелуе. Это был поцелуй женщины настолько усталой, что она забыла даже, как целуются. Он невольно вспомнил, как до замужества она могла плясать всю ночь напролет после дня тяжелой работы и, как ни в чем не бывало, прямо с танцев отправлялась опять в свою пра-

чечную. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о том, что губы у нее, должно быть, такие же свежие, как и вся она. Она целует, вероятно, так же, как смотрит, как жмет руку: крепко и искренно. Он даже дерзнул представить себе, как ее губы прикасаются к его губам, и представил это так живо, что у него закружилась голова. Ему казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, опьяняющих его своим ароматом.

В кухне он нашел Джима, другого жильца, который медленно ел овсяную кашу, уставясь в пространство тупым, отсутствующим взглядом. Он был подмастерьем слесаря, и его вялый нрав и безвольный подбородок в сочетании с некоторой умственной отсталостью не сулили ему удачи в борьбе за существование.

– Ты почему не ешь? – спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою овсянку. – Опять напился вчера?

Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен убожеством всего, что его окружало. Руфь Морз казалась теперь еще дальше.

– А я напился, – сказал Джим с нервным хихиканьем, – нализался в доску. Эх, хороша же была девочка! Билль приволок меня домой.

Мартин кивнул головой в знак того, что слушает, – у него была бессознательная привычка проявлять таким образом внимание к собеседнику, к любому собе-

седнику. Потом он налил себе чашку едва теплого кофе.

– Пойдешь сегодня потанцевать в «Лотос»? – спросил Джим. – Будет пиво. А если явится компания из Темескаля, то без драки не обойдется. Мне, конечно, начхать. Я все равно притащу туда свою девчонку. Фу!.. Ну и вкус во рту у меня. Черт знает что такое!

Он скорчил гримасу и поспешил прополоскать рот глотком кофе.

– Ты Джулию знаешь? – Мартин покачал головой.

– Она теперь со мной – объяснил Джим. – Конфетка, а не девочка! Я бы тебя познакомил, да ты отобьешь. Ей-богу, я не понимаю, из-за чего девчонки на тебя так вешаются. Даже зло берет, когда видишь, как тебе ничего не стоит отбить любую.

– У тебя я еще ни одной не отбил, – заметил Мартин равнодушно, только чтобы окончить завтрак без ссоры.

– Как же так, – возразил тот, – а Мэгги?

– Да у меня с ней не было ничего. Я даже не танцевал с ней после того раза.

– Вот то-то и оно, – вскричал Джим, – ты только потанцевал с ней да глянул на нее разок-другой – и готово дело. Ты, может, ничего такого и не думал. А она после на меня и смотреть не стала. Все время только про тебя и спрашивала. Если бы ты захотел, она бы

тебе сразу же назначила свидание.

– Но я ведь не захотел.

– Неважно. Я все равно получил отставку. – Джим посмотрел на него с восхищением. – И как это тебе удается, Мартин?

– Мало о них думаю, вот и все, – отвечал тот.

– Ты, стало быть, делаешь вид, что тебе на них наплевать? – допытывался Джим.

Мартин с минуту раздумывал над ответом.

– Может, это и подействовало бы. Но я-то в самом деле вовсе о них не думаю. А ты попробуй сделать вид, может что и выйдет.

– Жаль, тебя вчера не было у Райли, – объявил вдруг Джим без всякой логической последовательности, – там был один красавчик из Западного Окленда, по прозванию «Крыса». Ох, и увертлив в драке! Никому из наших ребят не удалось свалить его. Все жалели, что тебя нет! Где ты вчера шатался?

– Так, в Окленде – отвечал Мартин.

– В театре был?

Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери.

– Так что, потанцуем сегодня? – крикнул Джим ему вслед.

– Да нет, едва ли, – ответил Мартин.

Он сбежал с лестницы и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он задыхался в атмо-

сфере этого дома, а беседа с Джимом привела его в ярость. Были мгновения, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку с кашей. Чем больше болтал Джим, тем дальше уходила Руфь. Разве он может надеяться, живя среди таких скотов, стать когда-нибудь с нею рядом? Его приводила в отчаяние трудность стоящей перед ним задачи, он чувствовал безвыходность своего положения, положения человека из рабочего класса. Казалось, все кругом висело на нем мертвым грузом и не давало подняться – сестра, ее дом, ее семья, слесарь Джим, – все, к чему он привык, куда уходили корни его существования. Жизнь для него утратила вкус. До сих пор он принимал жизнь так, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или плоха, разве лишь когда читал книги. Но ведь то были только книги, прекрасные сказки о прекрасном несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующим в действительности и женщину-цветок, по имени Руфь, в центре этого мира. И вот с этой поры он изведал горечь жизни, тоску и безнадежность, которая была особенно мучительна оттого, что надежда питала ее.

Мартин долго решал, куда пойти: в Берклейскую общедоступную читальню или в Оклендскую, и остановился на Оклендской. Как знать! Читальня – самое подходящее для нее место, и вполне возможно, что

он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с расположением отделов и скитался среди бесконечных полок беллетристики, пока какая-то худенькая, похожая на француженку девушка не сказала ему, что справочная библиотека находится наверху. Он не догадался обратиться к человеку, сидевшему за столом, и, двинувшись наугад, попал в отдел философии. Он слыхал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько написано. Высокие шкафы, набитые толстыми томами, подавляли его и в то же время подстрекали. Здесь было над чем поработать мозгу. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся ему бессмысленными формулы и чертежи. Он читал английские слова, но значение их от него ускользало. Это был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. А они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги, казалось, надвигались со всех сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал, что человеческие знания так огромны. Его охватил страх: сумеет ли он одолеть все это? Но, тут же он вспомнил, что были люди – и много людей, – которые одолели. И он горячо поклялся, что сумеет постичь все то, что постигли другие.

Так он блуждал, переходя от отчаяния к восторгу, среди полок, уставленных сокровищами мудрости. В общем отделе он нашел «Конспективный курс» Норри. С благоговением он перелистал его. Здесь, по крайней мере, было что-то родное. Автор, как и он, был моряком. Потом он нашел книгу с надписью «Боудич» на корешке, сочинения Лекки и Маршала. Вот, отлично. Он займется изучением навигации. Бросит пить, начнет усиленно работать и станет капитаном. В этот миг Руфь казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней – если она захочет. А если не захочет – ну что ж, благодаря ей он будет жить хорошей, достойной жизнью, а пить во всяком случае бросит. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, этих двух хозяевах капитана, интересы которых никогда не совпадают, и подумал о том, что каждый из них может погубить его, и наверняка погубит. Оглядев комнату, он даже зажмурился перед внушительным зрелищем десяти тысяч томов. Нет, с морем покончено. Здесь, в этом множестве книг, заключена огромная сила, и если он хочет совершать великие дела, то должен совершать их на суше! А, кроме того, капитанам не разрешается брать с собой в плавание жен.

Наступил полдень. Прошло еще некоторое время. Мартин забыл о еде и все рассматривал заглавия

книг, ища руководство по правилам этикета. Его ум, помимо мыслей о карьере, был занят решением простой задачи: если молодая леди, прощаясь с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать? Но когда он набрел, наконец, на нужную книгу, он все же не получил ответа. Он пришел в ужас от сложности и многообразия форм этикета, запутался во всех этих наставлениях о порядке обмена визитными карточками, принятом в светском обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, что искал, но зато понял, что соблюдение всех форм вежливости требует огромного количества времени и для усвоения всех этих форм ему пришлось бы еще раз прожить жизнь.

– Ну что же, нашли вы, что вам нужно? – опросил его человек, сидевший за столом.

– Да, сэр, у вас отличная библиотека, – отвечал Мартин.

Человек кивнул головой.

– Приходите к нам почаще. Вы моряк?

– Да, сэр. Я приду еще как-нибудь.

«Как он узнал, что я моряк?» – спрашивал он себя, спускаясь с лестницы.

И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания. Он помнил об этом, пока не погрузился в размышления; а тогда зашагал своей обычной походкой.

Глава 6

Беспокойное томление, похожее на муки голода, овладело Мартином. Он изнывал от желания увидеть вновь девушку, чьи нежные руки с неожиданной цепкостью захватили всю его жизнь. Пойти к ней он не решался. Он боялся, что это будет слишком скоро и он, таким образом, нарушит этот страшный свод правил, именуемый этикетом. Он проводил долгие часы в Оклендской и Берклейской библиотеках, где записался на свое имя, на имя Гертруды, Мэрией и даже Джима, который дал согласие после того, как Мартин щедро угостил его пивом. На все четыре абонемента он набрал книг, и в его каморке почти всю ночь горел газ, за что он и платил мистеру Хиггинботаму лишних пятьдесят центов в неделю.

Но книги, которые он читал, только усиливали его беспокойство. Каждая страница в новой книге казалась ему лазейкой в сады знаний. Его голод становился еще острее от чтения этих книг. К тому же он не знал, с чего следовало начинать, и, конечно, очень страдал от отсутствия подготовки. Он не знал даже самых простых вещей, которые, очевидно, должен был знать всякий берущийся за книгу. То же самое можно было сказать и о поэзии, которую Мартин читал

с необычайным увлечением. Из Суинберна он прочел не только то, что было в томике, данном ему Руфью. Он прочел и «Долорес» и отлично понял все; Руфь, вероятно, не понимала этого произведения, решил он. Как могла она понять, живя такой утонченной жизнью? Потом ему попались под руку стихотворения Киплинга, и он был заворожен музыкой, ритмом, волшебной образностью строк, говоривших о таких знакомых ему вещах. Его поразила та любовь к жизни, та тонкость психологии, которая отмечала все стихи Киплинга. «Психология» была новым словом в лексиконе Мартина Идена. Он приобрел словарь, чем подорвал свои финансы и сократил срок пребывания на суше, а кроме того, привел в ярость мистера Хиггинботама, который предпочел бы получить эти деньги в уплату за комнату.

Днем он не решался даже приближаться к жилищу Руфи, но по ночам, словно вор, бродил вокруг дома Морзов, украдкой глядя на освещенные окна и испытывая нежность к самим стенам, которые ее окружали. Несколько раз он чуть-чуть не наткнулся на ее братьев, а однажды долго шел за мистером Морзом, изучая его лицо при свете уличных фонарей и страстно желая, чтобы почтенный джентльмен подвергся какой-нибудь смертельной опасности и предоставил Мартину случай спасти его жизнь. В другой раз он

вдруг увидел Руфь в окне второго этажа. Видна была лишь ее голова, плечи и руки, по движениям которых он решил, что она причесывается. Это длилось одно мгновение, но и мгновения было достаточно, чтобы вся кровь заклокотала в нем и превратилась в пьянящее вино. Она, правда, тотчас же опустила штору, но он узнал, где ее комната, и после этого уже часами простаивал под деревом на противоположном тротуаре, выкуривая бесчисленное количество папирос. Однажды он увидел, как ее мать выходила из банка, и лишний раз убедился в неизмеримости расстояния, их разделяющего. Она принадлежала к тем, кто держит деньги в банке. Он за всю свою жизнь ни разу не входил в банк и был убежден, что подобные учреждения посещаются лишь очень богатыми и очень могущественными людьми.

В известном смысле, он переживал моральную революцию. Ее чистота и непорочность произвели на него такое впечатление, что он решил, во что бы то ни стало, тоже сделаться чистым. Он должен стать чистым, если хочет быть достойным дышать одним с нею воздухом. Он чистил зубы и беспрестанно скреб руки кухонной щеткой, пока в окне магазина не увидел щеточки для ногтей и не угадал ее назначения. Приказчик, взглянув на его ногти, предложил ему еще и ногтечистку, и, таким образом, его набор туалетных

принадлежностей обогатился еще одним предметом. Он достал в библиотеке книгу о личной гигиене и вычитал в ней, что необходимо каждое утро обливаться холодной водой. Это позабавило Джима и сильно смутило мистера Хиггинботама, который, не сочувствуя подобным причудам, всерьез занялся обсуждением вопроса, не следует ли брать с Мартина особую плату за воду. Следующим шагом по пути прогресса была забота о фасоне брюк. Начав интересоваться этим вопросом, Мартин скоро заметил разницу между мешковатыми штанами рабочих и брюками людей высшего класса, с прямой складкой от колена до ступни. Догадавшись, в чем тут секрет, Мартин отправился в кухню сестры за утюгом и гладильной доской; но первая попытка окончилась неудачей, он только спалил свои брюки и должен был купить новые, чем еще больше приблизил день ухода в плаванье.

Но внешними реформами дело не ограничилось. Курить он все еще продолжал, однако пить бросил. До сих пор он считал пьянство самым подходящим занятием для мужчин и даже очень гордился тем, что у него крепкая голова и он может продолжать пить и тогда, когда большинство собутыльников давно уже валяется под столом. В Сан-Франциско у него было много товарищей по прежним плаваньям, и при встречах он по-прежнему угощал их вином, но себе заказы-

вал только кружку пива или легкого эля и добродушно сносил все насмешки. Он с любопытством наблюдал за тем, как они, напиваясь, постепенно доходили до скотского состояния, и радовался, что сам он уже не такой. У каждого из них были свои горести, и вино помогало им забыть действительность и перенестись в страну грез и фантазий. Но Мартину уже не нужен был алкоголь. Он находился в состоянии более глубокого опьянения, – он был пьян Руфью, которая зажгла в нем любовь и стремление к новой, лучшей жизни; пьян книгами, которые пробудили в нем мириады неиспытанных желаний; пьян мыслью о собственной чистоте, которая дала ему еще более полное, чем раньше, ощущение здоровья и заставила все его тело трепетать от физической радости существования.

Однажды Мартин отправился в театр в смутной надежде увидеть Руфь, и с балкона второго яруса он и в самом деле увидел ее. Она прошла по партеру в сопровождении Артура и еще какого-то странного молодого человека в очках, стриженного бобриком, который тотчас возбудил в Мартине тревогу и ревность. Она села в первом ряду, и он уже почти ничего не видал в течение всего вечера, кроме ее стройных плеч и золотых волос, затуманенных расстоянием. Но все же раз или два он оглянулся по сторонам и успел заметить двух девушек, сидевших через несколько мест

от него; девушки эти улыбнулись и сделали ему глазки. Он всегда охотно знакомился, и не в его натуре было оставлять без ответа подобные знаки внимания. Еще недавно он непременно улыбнулся бы им в свою очередь, а затем пошел бы и дальше. Но теперь все переменилось. Он, правда, ответил улыбкой, но тотчас же после этого отвернулся и старался больше не смотреть в их сторону. Однако не один еще раз, совсем позабыв об этих девушках, он вдруг снова ловил их улыбки. Трудно измениться за один день, да к тому же он от природы был ласков и приветлив и поэтому невольно улыбался девушкам в ответ, улыбался просто, по-товарищески. Все это было старо, как мир. Он знал, что они ведут с ним обычную женскую игру. Но для него теперь все стало иным. Там, далеко, в первом ряду, сидела женщина, единственная на свете, столь не похожая, столь бесконечно не похожая на этих двух девушек его класса, что к ним он уже не мог чувствовать ничего, кроме жалости. Он от души желал им обладать хоть крохотной долей ее божественной красоты. Ни за что на свете он не бросил бы им упрека в слишком дерзком заигрывании. Но оно не льстило ему: Мартин отлично понимал, что, принадлежи он к миру Руфи, девушки не стали бы заигрывать с ним. И при каждом их взгляде он чувствовал, как сжимаются вокруг него цепкие щупальца его мира и тянут его

вниз.

Мартин покинул свое место незадолго до конца последнего акта, желая посмотреть на нее, когда она будет выходить. Множество ротозеев всегда толпилось у театрального подъезда, и легко можно было остаться позади незамеченным, если пониже надвинуть кепку на лоб и спрятаться за чьей-нибудь спиной. Он вышел раньше всех и смешался с толпой, но едва он занял свою наблюдательную позицию, как появились те две девушки. Он знал, что они ищут его, и в этот миг проклинал ту силу, которая притягивала к нему женщин. Сначала они как будто не заметили его, но он скоро понял, что это только маневр. Подходя ближе, они замедлили шаг, и, наконец, одна из них, проходя мимо, задела его плечом и оглянулась, делая вид, словно только сейчас его узнала. Это была стройная брюнетка с черными лукавыми глазами. Обе девушки опять улыбнулись ему, и он тоже улыбнулся им в ответ.

– Хелло, – сказал он.

Это было сказано совершенно машинально, как часто приходилось произносить это слово в подобных случаях. Впрочем, природное добродушие и приветливость не позволили бы ему поступить иначе. Черноглазая девушка улыбнулась весело и вызывающе и, взяв под руку свою подругу, выразила желание оста-

новиться; подруга хихикнула в знак согласия. Он почувствовал ужас: Руфь могла пройти мимо и увидеть его разговаривающим с этими девушками. Тогда он просто, как будто так и нужно было, шагнул к черноглазой и пошел рядом с нею. Здесь его речь и его манеры уже не могли показаться неловкими. Здесь он был как у себя дома, мог проявить и остроумие, и щегольнуть жаргонными словечками, мог смеяться и болтать о чем угодно, пользуясь всеми преимуществами быстрого и случайного знакомства. Дойдя до угла, он сделал попытку отстать от толпы, стремившейся вперед, и свернуть в переулок. Но черноглазая девушка схватила его за локоть, не выпуская руки своей подруги, и воскликнула:

– Постой, Билл. Куда так спешишь? Уж не хочешь ли ты удрать от нас?

Мартин остановился и, смеясь, повернулся к ним лицом. Позади них, под ярким светом уличных фонарей, струился людской поток. Там, где они стояли, было сравнительно темно, и он мог, оставаясь незамеченным, увидеть ее, если бы она прошла мимо. А пройти она должна была непременно, потому что эта дорога вела к ее дому.

– Как ее зовут? – спросил он, указывая на черноглазую и обращаясь к ее хихикающей подруге.

– Это уж вы ее спросите, – отвечала та с хохотом.

– Ну, как же? – спросил он, оборачиваясь к черноглазой.

– А вы мне разве сказали, как вас зовут? – возразила она.

– Да вы и не спрашивали, – улыбнулся он, – впрочем, вы угадали. Меня и в самом деле зовут Билл. Верно, верно!

– Подите вы! – Она посмотрела на него долгим взглядом, зовущим и откровенно страстным. – Ну, по чести! Говорите!

И посмотрела снова. Вся исконная женская сущность, не изменившаяся за много веков, отражалась в ее взгляде. И Мартин уже знал, что будет дальше: теперь она начнет отступать смиренно и робко, готовая в любой миг перейти в наступление, как только почувствует, что в нем остывает пыл погони. Как-никак, он был мужчина, чувствовал к ней невольное влечение, и ее страстные взоры льстили его самолюбию. О, он прекрасно знал этих девчонок, знал их насквозь! Славные, хорошие девушки, насколько могли быть хорошими девушки этого класса, добывающие себе пропитание тяжелым трудом. Слишком гордые, чтобы продавать свои ласки, они искали хоть немножко счастья в житейской пустыне, стараясь не заглядывать в бездну, именуемую будущим, где ждала их или тяжкая, бесконечная работа, или хотя и лучше опла-

чиваемая, но страшная дорога.

– Билл, – отвечал он снова. – Ей-богу! Билл Пит, никак не иначе.

– Шутите? – переспросила она.

– И вовсе не Билл, – вмешалась другая.

– А вы почем знаете? Вы меня никогда и в глаза невидали.

– Ну и что ж, что не видела! И так знаю, что врете!

– Ну как же – Билл? – спрашивала первая.

– Пусть будет Билл, – дружелюбно сказал он. Она ухватила его за плечо и весело тряхнула.

– Так и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе. – Он пожал ее ищущую руку и на ладони нащупал знакомые царапины и шрамы.

– Давно ушли с консервного завода? – просил он.

– Вы почем знаете? Вы уж не ясновидящий ли? – вскричали обе девушки.

И, обмениваясь с ними разными глупыми шутками, он вдруг мысленно увидел перед собой огромные тома библиотеки, хранящие мудрость веков. Он с горечью улыбнулся неуместному сейчас видению, и опять сомнения охватили его. Но за всеми этими мыслями и словами он не упускал из виду поток уличной толпы. И вот он увидел ее в ярком свете фонарей, она шла между братом и незнакомым юношей в очках. Сердце его замерло. Он долго ждал этого мгновения. Он

успел разглядеть что-то легкое и воздушное вокруг ее царственной головки, стройные контуры ее фигуры, изящество походки, движение, которым она подобрала юбку, когда переходила через улицу. И вот она прошла, а он остался с этими двумя работницами, стоял и смотрел на их убогие платья, носившие следы жалких и отчаянных попыток принарядиться, их дешевые ботинки, дешевые ленточки, дешевые колечки на грубых пальцах. Кто-то тронул его за руку, и он услыхал голос, сказавший:

– Проснитесь, Билл. Что такое с вами?

– Что вы сказали? – переспросил он.

– Да так, ничего особенного, – отвечала черноглазая, тряхнув головой, – я только подумала…

– Что?

– Было бы недурно, если бы вы подыскали кавалера для нее, – она указала на подругу, – и мы бы пошли куда-нибудь выпить кофе и поесть мороженого.

Он почувствовал внезапно какую-то духовную тошноту. Уж очень груб был переход от Руфи ко всему этому. Рядом с зовущими глазами этой девушки Мартин увидел вдруг лучезарные, ясные глаза Руфи, глаза святой, взиравшие на него с недосягаемых высот чистоты. И он почувствовал в себе великую силу. Он выше всего этого. Жизнь для него нечто большее, чем для этих девушек, мечтающих о кавалерах и о моро-

женом. Он вспомнил, что и раньше он жил в своих мыслях особой, тайной жизнь. Он пробовал иногда поверять эти мысли другим, но до сих пор не нашлось ни одной женщины, способной их понять, да и ни одного мужчины тоже. Если он высказывал их вслух, слушатели смотрели на него с недоумением. Да, если его мысли им недоступны – значит, и сам он выше их. Он почувствовал в себе силу и сжал кулаки. Если жизнь для него нечто большее, то он вправе и требовать от нее большего, но только, конечно, не здесь, не в общении с этими людьми. Эти черные глаза ничего не могли дать ему. Он знал, какие мечты отражены в их взгляде, – о мороженом и еще, пожалуй, кое о чем. Тогда как ее неземной взор обещал ему все, к чему он стремился, и еще бесконечно многое. Книги, картины, красоту и спокойствие, изящество возвышенной и утонченной жизни – вот что обещал этот взор. За черными глазами совершался мыслительный процесс, известный ему во всех подробностях. Это был как бы часовой механизм. Он мог наблюдать каждое колесико. Они звали к пошлым, низменным утехам, ведущим к пресыщению, в конце которых зияла могила. А тот неземной взор звал к проникновению в непостижимую тайну, в чудо вечной жизни. В нем он видел отражение ее души и отражение своей души также.

– В программе одна ошибка, – сказал он громко, –

я сегодня занят.

В глазах девушки отразилось разочарование.

– Вздумали навестить больного друга? – съязвила она.

– Нет, зачем… У меня свидание… – он запнулся, – с одной девушкой.

– Не врете? – спросила она строго. Он поглядел ей в глаза и ответил:

– Честное слово, правда. Но мы можем встретиться в другой раз. Как вас зовут? Где вы живете?

– Меня зовут Лиззи, – отвечала она, пожимая ему руку и всем телом приникая к нему, – Лиззи Конолли. Я живу на Пятой улице, у рынка.

Они еще поболтали минут пять, прежде чем проститься. Мартин не хотел сразу идти домой. Он пошел к знакомому дереву, встал на привычное место под ее окном и прошептал взволнованно:

– У меня свидание с *вами*, Руфь. Я не хочу других свиданий.

Глава 7

Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимую ошибку. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставалось только чтение. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил в стороне от абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.

К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия – так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет специального изучения. Сего-

дня он читал книги по античной, завтра по новой философии, так что в голове у него царила постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные ему формулы одного опровергали утверждения другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать, одновременно увлекаясь и экономикой, и индустрией, и политикой. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один был бродяга, другой – профсоюзный агитатор, третий – студент университета, а остальные – просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу, системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный обиход сведений. Вследствие этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, скрытые в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана – теософ, член

профсоюза пекарей – агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.

У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой четыре толстых тома «Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Он вычитал столько слов, что, запоминая одни, забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же ни одной существенной мысли он в тексте не уловил. Он поднял голову, и ему показалось, что вся комната ходит ходуном, как корабль во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и

с остальными тремя книгами. И не то, чтобы мозг его был слаб или невосприимчив: он мог бы усвоить все эти мысли, но ему не хватало тренировки и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.

Единственным утешением была для Мартина поэзия: он с восторгом читал тех простых поэтов, каждая строчка которых была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были пусты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже вслух произносить целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Век сказки» Бельфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.

Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял

несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:

– Послушайте, можно вас спросить кой о чем? – Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.

– Если вы познакомились с молодой леди и она просила вас зайти… так вот… когда можно это сделать?

Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.

– Да когда угодно, по-моему, – отвечал библиотекарь.

– Нет, вы не понимаете, – возразил Мартин. – Она… видите ли, в чем штука ее может не быть дома. Она ходит в университет.

– Ну, другой раз зайдете.

– Собственно дело даже не в этом, – признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника, – я, видите ли, простой матрос, я не очень-то привык к такому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она… Вы не подумайте, что я дурака ломаю, – перебил он вдруг сам себя.

– Нет, нет, что вы, – запротестовал библиотекарь. – Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.

Мартин посмотрел на него с восхищением.

– Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело, – сказал он.

– Виноват…

– Я хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.

– А! – сочувственно отозвался библиотекарь.

– Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду? Или вечером? А может, в воскресенье?

– Знаете, что я вам посоветую, – сказал, улыбаясь, библиотекарь, – вы ей позвоните по телефону и спросите.

– А ведь верно! – воскликнул Мартин, собрал книги и пошел к выходу.

На пороге он обернулся и спросил:

– Когда вы разговариваете с молодой леди – ну, скажем, мисс Лиззи Смит, – как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?

– Говорите «мисс Смит», – сказал библиотекарь авторитетным тоном, – говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.

Итак, проблема была разрешена.

– Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда, – отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда он может возвратить ей взятые у нее кни-

ги.

Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк, и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, в нем переливалась через край здоровая сила и волной захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда она подала ему руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.

Он последовал за ней, так же неуклюже переваливаясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Броунинге, который был для него непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствова-

ла нежность и жалость к нему, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, она настолько чувствовала мужчину, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх, и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи. И по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как человек необычный, с огромными потенциальными возможностями, и что ею руководят чисто филантропические побуждения.

Она не понимала, что желает его, но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда еще не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с ней перед ним открылись врата в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Бельфинч и Гэйли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой,

например, строчкой: «Печальный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов», но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым печальным юношей, который «одержим любовью», и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг, наконец, смысл жизни и цель своего существования на земле.

Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила, это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, возбуждаемое другими женщинами. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к образу самого господа бога. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей,

которая в нем происходила, и не понимал, что в конце концов, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд, как глубоко он волнует ее всю. Ее девственная непорочность облагораживала для него его собственные чувства, и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы потрясен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в недра ее существа, и там зажигают ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь объясняла свое состояние исключительностью своего собеседника. Она была очень восприимчива ко всякого рода впечатлениям, и, в конце концов, не было ничего удивительного, что этот пришелец из другого мира смущал ее.

Она думала, как помочь ему, и хотела начать беседу в этом направлении, но Мартин сам пришел ей на помощь.

– Не знаю, могу ли я попросить у вас совета, – начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах.

– Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они не для моего ума. Может, лучше начать сначала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал – и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то, чтобы я был лучше других матросов и ковбоев, я и ковбоем тоже был, – но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев, и как тут у вас все, – мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать

таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо, и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пахнет кухней, вином, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, мне это показалось так красиво, – ничего красивее на свете я не видел. А я повидал немало и могу сказать – всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть еще что-нибудь и еще.

Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось дойти до такой жизни, какою живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как достичь этого? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать, – вот разве к Артуру? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был…

Он вдруг замолчал. Весь его план зашатался при мысли, что надо было в самом деле спросить Артура и что он разыграл дурака. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать во-

едино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может, – вот о чем говорил ей его взгляд, и это плохо вязалось с его словесной беспомощностью. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не умела по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силящимся сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.

– Вы сами знаете, чего вам не хватает, – сказала она, – вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала – кончить школу, а потом пройти курс в университете.

– Для этого нужны деньги, – прервал он ее.

– О, – воскликнула она, – я не подумала об этом! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?

Он отрицательно покачал головой.

– Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, – но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по миру искать счастья, каждый сам по себе. Старший умер в

Индии. Двое сейчас в Южной Африке, один плавает на китобойном судне, а второй разъезжает с бродячим цирком – он акробат на трапеции. Вот и я такой же. С одиннадцати лет я сам себя содержу, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.

– Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.

Лоб его покрылся испариной.

– Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.

– Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?

– Нет, нет! – воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. – Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!

– Так вот. Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. А грамматику я вам сейчас принесу.

Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило из книги об этикете, и он неуклюже поднялся

со своего места, но тут же испугался – не подумала бы она, что он собирается уходить.

Руфь принесла грамматику и придвинула свой стул к его стулу, причем Мартин подумал, что, вероятно, нужно было помочь его придвинуть. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями – так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.

Мартин Иден только один раз в жизни терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. Дыхание захватило у него в груди, а сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого менее возвышенными. Она не опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический заряд. Но Руфь ничего не замети-

ла.

Глава 8

Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, проглядывал руководства по хорошему тону и пожирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из «Лотоса» не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами, а многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему основы языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать метры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Одни новейший трактат рассматривал поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и быстротой, несвойственной рядовым студентам.

Когда Мартин оглядывался на известный ему мир – на мир далеких стран, морей, кораблей, матросов

и мужеподобных женщин, – этот мир представлялся ему очень маленьким; и все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его всегда стремился к единству; однако он сначала все же был удивлен, когда установил связь этих двух миров. Он воспарил над старым миром благодаря возвышенным мыслям и чувствам, почерпнутым из книг. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, к которому принадлежат Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины разделяют этот возвышенный образ мыслей и живут согласно ему. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности что-то смутное томило и волновало его, но он никогда не понимал, что ему нужно, пока не встретил Руфи. И теперь его томление сделалось острым и болезненным, он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви.

За эти недели он раз шесть встречался с Руфью, и каждый раз свидание с ней вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком пытлив, чтобы удовлетвориться дробями, кубическими корнями, разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разго-

вор касался совсем других тем, – они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство. Никогда он не слыхал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. В этом голосе были спокойствие и музыкальность – великие, богатые плоды культуры и духовного благородства. Слушая ее, он невольно вспоминал крикливые голоса женщин диких племен и портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц. Тотчас же его воображение начинало работать, он видел целые вереницы этих женщин, и по сравнению с ними ореол чистоты, окружающей Руфь, сверкал еще более ослепительно. Но он не только любил слушать ее голос, ему бесконечно приятна была мысль, что Руфь понимает читаемое и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах, – так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всепроникновения; глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самоё жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь и что любовь – самое великое в мире.

И перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда, – опьянения, ласки женщин, игра, задор физической борьбы, – и все это казались невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь.

Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где события обыденной жизни всегда претворялась в нечто нереальное и прекрасное; ей не приходило в голову, что этот грубый матрос завладевает ее сердцем, и что в один прекрасный день назревающее в ней чувство разольется по всему ее существу огненными волнами. Она не знала, каково пламя любви на самом деле. Все ее представления были исключительно теоретическими и самое слово «любовь» вызывало в ней образы кроткого сияния звезд, легкой зыби на спокойной поверхности моря, легкой росы на исходе бархатной летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в прохладной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических порывах любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой; глубины жизни терялись за дымкой иллю-

зий. Супружеская привязанность отца и матери была для нее идеалом любовного единения, и она спокойно ждала, где-то в будущем, дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такое же мирное сосуществование с любимым человеком.

Таким образом, на Мартина Идена она смотрела, как на новинку, как на странное, исключительное существо, и этой новизне приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Такие же чувства испытывала она, когда смотрела в зверинце на диких зверей или когда видела бурю и вздрагивала от вспышек молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его крепких железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он весь был в рубцах и шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределом ее кругозора. Это был дикарь, еще не приручeнный, и ей льстила мысль, что он ей так покорен. Ею руководило желание приручить дикаря – и только. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что ей хочется сделать из него подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В

своем неведении она не могла понять и того, что то космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодолимая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга и все живое побуждает стремиться к соединению.

Быстрое развитие Мартина чрезвычайно удивляло и занимало ее. Она открывала в его душе такие стороны, о которых не могла и подозревать, и они раскрывались день ото дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Броунинга и бывала иногда поражена его неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Его рассуждения казались ей наивными, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносивший его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какою-то непонятной силой. Потом она играла ему, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам музыки, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам; он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки джазов и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар. Но все же он испытывал какое-то

демократическое пристрастие к Вагнеру, и увертюра к «Тангейзеру», особенно после объяснений Руфи, ему нравилась больше всего. Увертюра эта как бы являлась прообразом его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в теме Венерина грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов; и казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу.

Иногда он задавал вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В пении он слушал только ее самое и сидел неподвижно. И снова ему вспоминались при этом визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабачках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности она в первый раз имела дело с живой человеческой душой, и такой податливой и гибкой, что ей доставляло наслаждение формировать ее; Руфи казалось, что она лепит душу Мартина, и она делала это с самыми лучшими намерениями. А кроме всего, ей доставляло удовольствие находиться в его обществе. Он больше не пугал ее. Сначала он действительно вызвал смутный страх в ее потревоженной душе, но теперь этот страх улегся. Она, сама того не подозревая, уже чувствовала какие-то права на него. С другой стороны, он оказывал на нее

живительное действие. Она очень много занималась в университете, и ей, очевидно, было полезно иногда оторваться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да, ей нужна была сила, и он великодушно делился с него. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях – уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией.

Руфь прекрасно знала Броунинга, но она никогда не думала, что игра с человеческой душой так опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь.

– Вот возьмите мистера Батлера, – сказала она однажды, когда и с грамматикой, и с арифметикой, и с поэзией было покончено, – ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне, так что мистер Батлер – его зовут Чарльз Батлер – остался совершенно один. Его отец по происхождению австралиец, и у него нет в Калифорнии родственников. Он поступил в типографию, – он мне несколько раз об этом рассказывал, – и на первых порах зарабатывал три доллара в неделю. А теперь он зарабатывает до тридцати тысяч в год. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отка-

зывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценой любых лишений. Конечно, он стал скоро зарабатывать больше трех долларов, и по мере того как увеличивались его доходы, увеличивались и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. Семнадцати лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалованье, но он был честолюбив. Он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца – подумайте! – рассыльным на четыре доллара в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих четырех долларов ухитрялся откладывать.

Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает рассказ. Его лицо оживилось интересом к судьбе мистера Батлера, но брови были слегка нахмурены.

– Верно, туговато ему приходилось, – сказал он. – Четыре доллара в неделю! С этого не разгуляешься. Я вот плачу пять долларов в неделю за квартиру и стол и, ей-богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть…

– Он сам себе готовил на керосинке, – прервала она его.

– Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах, а это уж значит – хуже нельзя.

– Но подумайте, чего он достиг теперь! – вскричала она с воодушевлением. – Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности!

Мартин посмотрел на нее сурово.

– А вы знаете, что я вам скажу, – возразил он. – Едва ли вашему мистеру Батлеру так уже весело жить теперь. Он так плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к чёрту не годится.

Она отвела глаза, не выдержав его взгляда.

– Пари держу, что у него катар.

– Да, – согласилась она, – но…

– И наверное, – продолжал Мартин, – он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его тридцати тысяч. И наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?

Она кивнула утвердительно и хотела объяснить;

– Но ему это и не нужно. Он по натуре угрюм и серьезен. Он всегда был таким.

– Еще бы ему не быть! – воскликнул Мартин. – На три да на четыре доллара в неделю! Молодой парень

сам стряпает, чтобы отложить деньги! Днем работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет, даже и не знает, должно быть, как это делается. Хо! Слишком поздно пришли эти его тридцать тысяч.

Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую духовную дорожку, которая впоследствии привела его к тридцатитысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Батлера представились ему словно в телескопе.

– Вы знаете, – прибавил он, – мне жаль его, этого мистера Батлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам у себя украл всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уже он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить за десять центов, – ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!

Подобный подход всегда несколько ошеломлял Руфь. Он не только был совершенно новым для нее и не соответствовал ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть и в корне переделать все ее представления о мире. Если бы ей было не двадцать четыре года, а четырнадцать, она, может быть, очень скоро изменила

бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было двадцать четыре, и вдобавок по натуре она была консервативна, а полученное воспитание уже приспособило ее к образу жизни и мыслей той среды, в которой она родилась и развивалась. Правда, странные суждения Мартина иногда смущали ее в момент разговора, но она приписывала это оригинальности его личности и судьбы и старалась поскорее забыть их. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, сила его убеждения, блеск глаз и серьезность лица, когда он говорил, всегда волновали ее и влекли к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший из-за пределов ее кругозора, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее, и слишком возвышался над привычным для нее уровнем. Границы ее кругозора были для нее единственными правильными границами; но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким и этим объясняла возникавшие между ней и Мартином идейные коллизии и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами, и расширить его горизонт до пределов своего горизонта.

– Но я еще не докончила своего рассказа, – сказала она. – Он работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Мистер Батлер всегда отличал-

ся необычайной работоспособностью. Он никогда не опаздывал на службу, наоборот, очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждый свободный миг он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и, чтобы платить за них, диктовал по ночам одному судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и был в своем роде незаменим. Отец мой вполне оценил его и увидал, что это человек с большим будущим. По совету моего отца, он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона моего отца. Это выдающийся человек. Он уже несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом верховного суда. Такая жизнь должна всех нас окрылять. Она доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни!

– Да, он выдающийся человек, – согласился Мартин совершенно искренно.

И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его понятиями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел мистер Батлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за вле-

чения к прекрасному – Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за тридцать тысяч долларов в год! Было что-то жалкое в карьере мистера Батлера, и она не очень вдохновляла его. Тридцать тысяч долларов – это, конечно, не плохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность.

Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная узость мысли, которая заставляет людей известного круга думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляла древнего еврея благодарить бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по всему земному шару, чтобы навязать всем своего бога. И она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перекроить его по образцу людей ее круга.

Глава 9

Мартин Иден вернулся из плавания и поспешил в Калифорнию, гонимый любовным томлением. Восемь месяцев назад, истратив свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски клада, зарытого где-то на Соломоновых островах. После долгих и безуспешных поисков предприятие было признано неудавшимся. С матросами рассчитались в Австралии, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточно денег, чтобы подольше продержаться на суше, но, кроме того, сумел найти время продолжать свои занятия.

У него был восприимчивый ум, и к тому же ему помогали природное упорство и любовь к Руфи. Изучив грамматику, он несколько раз возвращался к ней и, наконец, овладел ею окончательно. Он теперь замечал неправильности в разговорах матросов и мысленно исправлял их ошибки и грубость речи. С радостью он замечал, что его ухо стало очень чувствительно и что у него развилось особое грамматическое чутье. Всякая неправильность речи звучала для него как диссонанс, хотя с непривычки бывало еще, что и у него самого срывались с языка подобные ошибки. Видимо,

нужно было время для того, чтобы освободиться от них навсегда.

Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача, и, стоя на вахте или у рулевого колеса, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по-английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.

У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные места трагедий производили на него такое впечатление, что он запоминал их без всякого труда, и некоторое время весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли его сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.

Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он научился правильно говорить и думать, и он лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой – чувствовал в себе великие силы Он видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что разница эта лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но внутри него происходила какая-то работа, говорившая ему, что он способен на большее. Он был восхищен красотой мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотой вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, и ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея: он будет писать. Он будет одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир слышит, он будет из тех сердец, которыми мир чувствует. Он будет писать все, поэзию и прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это – путь к сердцу Руфи. Ведь писатели – гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Батлеру, который получает тридцать тысяч в год и мог бы стать членом верховного суда, если бы захотел.

Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и

обратное его путешествие в Сан-Франциско было подобно сну. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. В спокойном уединении Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь, и тот круг, в котором она жила. Эти видения облеклись в его уме в конкретную форму, он мог как бы брать их руками, повертывать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию, ходившую на поиски клада. Он пошлет рассказ в какой-нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом, в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он хотя бы заработает своим писанием достаточно для того, чтоб продолжать учение. А потом,

через некоторое время, – очень неопределенное время, – когда он выучится и подготовится, он начнет писать великие вещи, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, – это что тогда он станет, наконец, достойным Руфи. Слава хороша и сама по себе, но не ради нее, а ради Руфи возникли в нем эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.

Явившись в Окленд с набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и уселся за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об искателях сокровищ. Это намерение он осуществлял без труда, потому что был всецело охвачен творческой лихорадкой. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть рассказ, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем два столбца в воскресном приложении к «Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать, – и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка,

все время справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его в трубку, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать в трубку и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба пункта закона. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же – сто долларов, – и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня! Ему бы пришлось три месяца скитаться по морям, чтобы заработать подобную сумму. Надо быть дураком, чтобы плавать на судах, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они могли дать ему досуг, возможность купить приличный костюм, а все это вместе взятое должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.

Мартин вложил рукопись в большой конверт, за-

печатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пятницу, то ожидал появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем он уже носился с новой идеей, которая казалась ему необыкновенно удачной, правильной, здравой и непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутник юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.

Мартин однажды плавал в Северном Ледовитом океане на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, вследствие кораблекрушения. Хотя он и обладал пылким воображением, но фантазию его всегда питала любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключе-

ниях двух мальчиков, которые должны были стать его героями. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама целый ряд насмешек над «писакой», объявившимся в их семье.

Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром был уже на улице, ожидая появления газеты.

Просмотрев номер внимательно несколько раз, он сложил его и положил на место, радуясь, что никому ничего не сказал о свой попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно быстроты, с которой рассказы появляются в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.

После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться ей словарем или учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает в это время правила сочинения и учится выра-

жать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно: он мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей – что особенно заинтересовало его – минимальная ставка в первоклассных журналах два цента «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов – заработок за два месяца плавания.

В пятницу вечером он закончил свою повесть. В ней было ровно двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово – и то это уже даст ему четыреста двадцать долларов. Недурная плата за недельную работу. У него еще никогда в жизни не было столько денег сразу. Он даже не понимал, на что можно истратить

так много. Ведь это же золотое дно! Он может черпать оттуда без конца. Он решил приодеться, выписать кучу газет и журналов, купить все необходимые справочники, за которыми теперь приходилось бегать в библиотеку. И все же от четырехсот двадцати долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока, наконец, не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэриен.

Мартин отослал объемистую рукопись в «Спутник юношества» и в субботу вечером, обдумав план очерка о ловле жемчуга, отправился к Руфи. Он предварительно позвонил ей по телефону, и она сама отворила ему дверь. Знакомое, исходящее от него чувство силы и здоровья, опять охватило ее всю, с головы до ног. Казалось, эта сила наполняла все ее тело, разливалась по жилам и заставляла трепетать от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого под темным загаром, покрывшим его лицо за восемь месяцев пребывания на солнце. Но полосу, натертую воротничком на шее, не скрыл и загар, и, заметив ее, Руфь едва удержалась от улыбки. Впрочем, у нее прошла охота улыбаться, когда она взглянула на его костюм. Брюки на этот раз отлично сидели, – это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем куда

стройнее и тоньше. Вдобавок он заменил свою кепку мягкой шляпой, которую она тут же велела ему примерить и похвалила его внешность. Руфь была счастлива, как никогда. Эта перемена в нем была делом ее рук, и, гордясь этой переменой, она уже мечтала о том, как будет и дальше направлять его.

Но в особенности одно обстоятельство, и притом самое важное, радовало ее: перемена в его языке. Он теперь говорил не только правильнее, но гораздо свободнее, и его лексикон значительно обогатился. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргонные словечки и комкать окончания, иногда он запинался, готовясь произнести слово, которое только недавно выучил. Но речь его улучшилась не только с внешней стороны. Она приобрела еще большую яркость и остроту, чрезвычайно обрадовавшую Руфь. Это сказывался его природный юмор, за который его всегда любили товарищи, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Теперь он понемногу осваивался и в ее обществе уже не чувствовал себя таким чужеродным элементом. Но все же он был преувеличенно осторожен и, предоставив Руфи вести оживленную беседу, старался, правда, не отставать от нее, но ни разу не брал на себя инициативу.

Он рассказал ей о своем сочинительстве, изложил

план того, как он будет писать для заработка и, таким образом, получит возможность учиться. Но его ждало разочарование: Руфь отнеслась к этому плану скептически.

– Видите ли, – откровенно сказала она, – литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.

– А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? – спросил Мартин, радуясь втайне, что так хорошо выразился; и тотчас же заработало его пылкое воображение, и он увидел как бы со стороны картину этого разговора в гостиной, а рядом сотни картин его прежней жизни, грубых и отвратительных.

Но все эти пестрые видения пронеслись перед ним в один миг, не прерывая течения его мыслей, не замедляя темпа разговора. На экране своей фантазии видел Мартин эту прелестную, милую девушку и себя самого, разговаривающих на хорошем английском языке в уютной комнате, среди книг и картин, – и все это было озарено ровным, ясным светом. А кругом, по

краям экрана, возникали и исчезали совсем иные сцены, но он, как зритель, мог смотреть на них по своему выбору. Он созерцал все это сквозь пелену тумана, которую вдруг пронизывали острия яркого красноватого света. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненное виски, кругом раздавалась грубая речь, пересыпанная непристойностями, а сам он стоял среди самых отъявленных головорезов и тоже пил, бранясь и крича, или сидел с ними за столом под вонючей керосиновой лампой, сдавая карты и звеня фишками. Потом видел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, перед началом знаменитого боя с рыжим ливерпульцем на палубе «Сасквеганны»; потом он увидел окровавленную палубу «Джона Роджерса» в то серое утро, когда вспыхнул мятеж, увидел старшего помощника, корчившегося в предсмертных судорогах, револьвер в руках капитана, извергавший огонь и дым, толпу матросов вокруг, с искаженными от ярости лицами, – и, снова устремив взор на центральную сцену, спокойную и тихую, озаренную ярким светом, увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и картин; увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему; услышал свою собственную, правильно построенную и произнесенную фразу:

«А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?»

– Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, – возразила она со смехом, – разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не побывав сначала в обучении.

– Что же вы мне посоветуете? – спросил он. – Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать. Это трудно объяснить, но это так.

– Вам надо учиться, – последовал ответ, – независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы карьеру вы ни избрали, и оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.

– Да… – начал он, но она прервала его:

– Вы можете и тогда продолжать писать.

– Поневоле буду продолжать, – ответил он грубо.

– Почему же?

Она посмотрела на него почти с неудовольствием: ей не нравилось упорство, с которым он стоял на своем.

– Потому что без этого не будет и учения. Ведь нужно же мне есть, покупать книги, одеваться.

– Я все забываю об этом, – сказала она со смехом. – Почему вы не родились с готовым доходом!

– Я предпочитаю здоровье и воображение, – отвечал он – доходы придут. Я бы много делов наделал ради… – он чуть не сказал «ради вас», – ради… дру-

гого чего-нибудь.

– Не говорите «делов»! – воскликнула она с шутливым ужасом. – Это ужасно вульгарно.

Мартин смутился.

– Вы правы, – сказал он, – поправляйте меня, пожалуйста, всегда.

– Я… я с удовольствием, – отвечала Руфь неуверенно. – В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы все это стало еще лучше.

Он тотчас опять превратился в глину в ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него, что ей угодно, а она так же страстно желала вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеалом. Когда она заявила ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он сказал, что будет держать их.

После этого она уселась за рояль и долго играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, восторгаясь ею и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимая ей и томясь по ней так же, как внимал и томился он.

Глава 10

В этот вечер Мартин остался обедать у Морзов и, к великому удовольствию Руфи, произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Разговор шел о профессии моряка – предмете, который Мартин знал как свои пять пальцев; и мистер Морз отозвался о нем после как об очень сообразительном и здравомыслящем молодом человеке. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держался за обедом гораздо непринужденнее, чем в первый раз, почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилось миссис Морз, которая была в то же время приятно поражена происшедшей в нем переменой.

– Это первый мужчина, который произвел впечатление на Руфь, – сказала она своему мужу. – Она всегда так равнодушно относилась к мужчинам, что это начало даже тревожить меня.

Мистер Морз взглянул на нее с удивлением.

– Ты хочешь, чтобы этот молодой матрос пробудил в ней женщину? – спросил он.

– Я не хочу, чтобы она умерла старой девой. Если Иден может заставить ее заинтересоваться мужчина-

ми вообще, то это уже очень ценно.

– Очень ценно! – повторил мистер Морз. – Гм! Но предположим, – а иногда, моя милая, приходится заниматься предположениями, – предположим, что он возбудит ее интерес не вообще, а в частности?

– Это невозможно, – смеясь сказала миссис Морз. – Она на три года старше его, и потом это просто невозможно! Ничего плохого не будет. Положитесь на меня.

Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно. Между тем сам он, увлеченный Артуром и Норманом, обдумывал одну довольно экстравагантную затею. Речь шла о воскресной загородной прогулке на велосипедах которая, конечно, едва ли заинтересовала бы Мартина, если бы он не узнал, что Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться. Поэтому по дороге домой он зашел в магазин и купил за сорок долларов велосипед. Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать самым тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но, прибавив к ста долларам, которые он должен был получить с «Обозревателя», те четыреста двадцать, которые ему заплатит «Спутник юношества», он даже обрадовался, что нашел разумное применение хотя бы для части всех этих денег. Не смутило его и то об-

стоятельство, что при первой попытке научиться ездить на велосипеде он порвал брюки и пиджак. Он тут же позвонил портному по телефону из лавки Хиггинботама и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой наружной лестнице к себе в каморку, и когда отодвинул кровать от стены, то в комнате осталось место только для него и для велосипеда.

Воскресенье он решил посвятить подготовке к приемным экзаменам, но рассказ о ловле жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, поглощенный красотой картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье «Обозреватель» опять не напечатал его рассказ об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко взлетел на крыльях своего воображения и даже не слышал, как его два раза звали обедать. Он так и ушел, не попробовав изысканного обеда, которым мистер Хиггинботам имел обыкновение отмечать воскресные дни. Для мистера Хиггинботама такие обеды были вещественным доказательством его жизненного успеха, и он всегда сопровождал их рассуждениями о мудрости американского уклада жизни и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям например, дает возможность возвыситься, – он это особенно подчеркивал, – от приказчика овощной

лавки до хозяина магазина.

В понедельник утром Мартин Иден печально поглядел на свой неоконченный очерк о ловле жемчуга и отправился в Оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, чтобы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики.

– Ваши познания по грамматике превосходны, – сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь толстые очки, – но по другим предметам вы ничего не знаете, положительно ничего не знаете, а ваши ответы по истории Соединенных Штатов чудовищны, не придумаешь другого слова – просто чудовищны. Я бы вам посоветовал…

Профессор Хилтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он был профессором физики, имел большую семью, получал маленькое жалованье и обладал громадным запасом знаний, затверженных так, как затверживает слова попугай.

– Да, сэр? – скромно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хилтона с ним не беседует библиотекарь из справочного отдела.

– Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!

Мартина не очень тронула эта неудача, но он был

поражен, увидав, как огорчилась Руфь, когда он сообщил ей мнение профессора Хилтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он пожалел о своем провале – не из-за себя, а из-за нее.

– Вот видите, – сказала она, – я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а вот экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы все время учились урывками и не систематически. Вам нужно учиться по определенной системе, а для этого нужны хорошие учителя. Знания должны быть основательными. Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я бы пошла в вечернюю начальную школу. Года в полтора вы пройдете курс и сэкономите шесть месяцев. Кроме того, днем у вас будет время для писания или для другой работы, если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером.

«Но если днем я буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами?» – была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказать. Вместо этого он сказал:

– Уж очень это для меня детское занятие – ходить в вечернюю школу. Я бы, конечно, на это не посмотрел, если бы знал, что дело стоит того. Но, по-моему, не стоит! Я сам могу изучить все гораздо быстрее, чем со школьными учителями. Это было бы пустой тратой времени (он подумал о ней, о своем желании добить-

ся ее), а я не могу тратить время! У меня его нет!

– Но ведь вам так много нужно сделать.

Она ласково посмотрела на него. И Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей.

– Для физики и химии нужны лаборатории, – сказала она. – С алгеброй и геометрией вам никогда не справиться самостоятельно. Вам необходим руководитель, опытные педагоги-специалисты.

Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей.

– Не думайте, что я хвастаюсь, – сказал он, – дело совсем не в этом. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться. Меня тянет к учению, как утку к воде. Вы сами видели, как я одолел грамматику. И я изучил еще много других вещей, вы себе представить не можете, как много… А ведь я только начал учиться. Мне еще не хватает… – он запнулся на мгновение и потом твердо выговорил: – инерции. Я ведь только начинаю становиться на линию.

– Что значит становиться на линию? – прервала она его.

– Ну, разбираться, что к чему, – проговорил он.

– Эта фраза ничего не означает, – опять сказала Руфь.

Он решил тогда выразиться иначе:

– Я только теперь начинаю в себе понимать направление.

Она из жалости промолчала на этот раз, и он продолжал:

– Наука представляется мне штурманской рубкой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, я об этом всегда думаю. Дело учителя познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он – вроде проводника. Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть, и он только должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не сбился с пути. А я не собьюсь. Я умею распознавать местность. И обычно соображаю чего делать… Опять не так что-нибудь?

– Не «чего делать», а «что делать», – сказала Руфь.

– Верно, что делать, – повторил он с благодарностью. – О чем это я? Да, о морских картах. Ну, так вот: иным людя́м…

– Лю́дям, – поправила она опять.

– Иным лю́дям нужны проводники. Это так. А мне вот кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне надо исследовать, я тоже знаю. И я сам себе гораздо скорее выберу маршрут. Скорость флота меряется всегда по скорости са-

мого тихоходного судна. Ну, вот то же самое и со школой. Учителя должны равняться по отстающим ученикам, а я один могу идти быстрее.

«Но я бы желал идти не один, а с вами», – хотел он прибавить. Перед ним возникла величественная картина мира, безграничные, озаренные солнцем пространства и звездные пути, по которым он летит рука об руку с нею, и ее бледнозолотые волосы, развеваясь, касаются его щеки. И тотчас же он почувствовал жалкое бессилие своей речи. Боже правый! Если бы он мог рассказать ей обо всем так, чтобы и она увидела то, что видел он! Его мучило страстное желание, мучительное и непреодолимое, нарисовать ей те видения, которые возникли так неожиданно в зеркале его мысли. И вдруг он понял! Так вот ключ к тайне! Ведь именно это и делают великие мастера – поэты и писатели! В этом секрет их величия. Они умеют передать словами все то, что видят, думают и чувствуют. Собака, дремлющая на солнце, часто повизгивает и лает во сне, но она не может объяснить, что заставляло ее визжать и лаять. Вот и он не лучше собаки, уснувшей на солнцепеке; он тоже видит чудесные сказочные сны, но бессилен передать их Руфи. Но теперь довольно спать. Он будет учиться, будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет поделиться с ней

сказочным сокровищем своих видений. Есть же люди, которые владеют тайной выражения мыслей, умеют делать слова своими послушными рабами, сочетать их так, что возникает нечто новое, и это новое больше, чем простая сумма отдельных значений. Он был глубоко потрясен мыслью, что проник на мгновение в тайну, давно его мучившую, и опять перед ним засияли солнечные и звездные пространства. Наконец он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел, что Руфь смотрит на него с веселой улыбкой.

– Я только что грезил наяву, – сказал Мартин, и при этих словах его сердце сильно забилось.

Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили ту паузу в беседе, которую вызвали его видения. Это было чудо! Никогда он так прекрасно не выражал прекрасных мыслей. Но ведь он никогда и не пробовал. Ну, конечно. Теперь все ясно. Он не пробовал. Суинберн, Теннисон, Киплинг и другие великие поэты – они пробовали, и у них выходило. Ему вспомнились его «Ловцы жемчуга». Он ведь никогда не пытался изобразить, словами ту красоту, которая жила в нем. Если бы он сделал это, рассказ принял бы совершенно другую окраску. Ему стало почти страшно при мысли о том, сколько прекрасного он мог бы описать; а воображение несло его дальше, и он вдруг подумал: почему бы ему не выразить всю взволновав-

шую его красоту в стихах, звучных, благородных стихах, как это делают великие поэты? Выразить хотя бы его любовь к Руфи, таинственное наслаждение и духовную высоту этой любви. Почему он не может сделать то, что делают поэты? Они поют о любви. И он будет петь!

– Тысяча чертей!

Это восклицание как удар грома прозвучало в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес его вслух. Кровь бросилась ему в лицо, и он покраснел до корней волос под бронзовым загаром.

– Я… я… простите, пожалуйста, – прошептал он, – я… задумался…

– Вы сказали это таким тоном, как говорят: «я молился», – храбро попробовала она пошутить, но внутри у нее все дрожало.

В первый раз и жизни она услышала проклятие в устах знакомого ей человека и была глубоко потрясена не только потому, что это оскорбило ее слух и чувство благопристойности, – ее испугал резкий порыв ветра, ворвавшийся вдруг в ту заботливо укрытую теплицу, в которой протекала ее юность.

И все же она простила его, и сама удивилась своей снисходительности. Его почему-то было нетрудно прощать. Условия жизни не позволили ему быть похожим на других людей, но он старался исправить это

и уже достиг очень многого. Ей не приходило в голову, что есть и другие причины, еще проще объясняющие ее снисходительность. Руфь испытывала к Мартину настоящую нежность, но сама не догадывалась об этом. Да она и не могла догадаться. Она спокойно прожила свои двадцать четыре года, ни разу не испытав даже легкого любовного увлечения, не умела разбираться в своих чувствах и, не имея понятия о согревающем пламени любви, не понимала, что это любовь согревает ее теперь.

Глава 11

Мартин снова принялся за своих «Ловцов жемчуга» и, вероятно, очень скоро бы кончил их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя было овладеть в короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе представляли достаточные сложности, но, помимо всего этого, было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. Это был неуловимый дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, вьющимся огненным туманом, который всегда разлетался при приближении к нему, и в лучшем случае удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в его мозгу как музыка или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Метр шествовал по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не

было, увы, ни огня, ни возвышенного вдохновения. Он никак не мог понять, отчего это происходит, и временами, приходя в отчаяние, возвращался к своему рассказу. Проза была более послушным инструментом.

Продолжая очерк о ловцах жемчуга, Мартин писал еще другие очерки – о морской службе, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем, в виде опыта, он попытался написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного сразу шесть и разослал их в различные журналы. Он писал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или посещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив, его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Все окружавшее его – запах прелых овощей и мыльной воды, жалкая фигура сестры и насмешливая физиономия мистера Хиггинботама, все это представлялось каким-то сном. Реальный мир существовал только в его мозгу и те рассказы, которые он писал, были осколками этого мира.

Дни казались слишком короткими, – уж очень много было областей знания, в которые ему хотелось проникнуть. Он сократил время сна до пяти часов и на-

шел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только четыре с половиной часа, но все же с сожалением должен был вернуться к пятичасовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям, неохотно прерывал писание, чтобы заняться учением, учение – чтобы пойти в библиотеку; медлил покинуть штурманскую рубку науки и с грустью отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех таинственных писателей, которые сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца; а уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы поскорее вернуться к книгам и потерять как можно меньше времени. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры пли физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такое короткое время казалось Мартину ужасным, и его утешало только сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только пять часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых девятнадцать часов работы.

Между тем время шло, деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока что не поступали. Через ме-

сяц он получил обратно рукопись, отправленную им в «Спутник юношества». Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с «Обозревателем Сан-Франциско». Прождав две недели, Мартин написал туда; еще через неделю – написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукопись была возвращена без всяких объяснении. Не было ни отказа, ни объяснительного письма – ничего. Так же были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные журналы Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в газеты восточных штатов, но не успел оглянуться, как получил их обратно, в сопровождении печатных отказов.

Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог уяснить себе причины столь решительных отказов, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял на-

прокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Он перепечатывал ежедневно все, что писал за день и постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло суровое выражение, челюсть больше выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам.

Наконец ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза и она сказала, с гордостью посмотрев на него:

– Это здорово, что ты пишешь такие штуки.

– Да, да, – отвечал он нетерпеливо. – Но ты скажи – тебе нравится?

– Господи помилуй! – воскликнула она. – Еще бы не нравилось. Меня так разобрало, что просто страсть!

Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение, он ждал.

– А скажи-ка, Март, – промолвила она после долгой паузы, – чем же это кончилось? Что ж этот парень, который так ловко чешет языком… что же – он женился на ней?

И после того как Мартин объяснил ей конец, казав-

шийся ему художественно оправданным, она промолвила:

– Ну да, вот и я так думала. Почему же ты прямо так не написал?

Прочтя Гертруде с десяток рассказов, он понял, что ей правятся только счастливые концы.

– Этот рассказ очень хороший, – объявила она, выпрямляясь над лоханью и со вздохом вытирая лоб красной, распаренной рукой, – только уж очень тяжело мне стало. Плакать захотелось. А кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и самой становится лучше. Вот если бы он женился на ней… Ты не сердишься на меня, Март? – спросила она с тревогой. – Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так рассказ – прелесть, ну просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?

– Это уж дело другое, – усмехнулся он.

– Но если б удалось его пристроить, сколько бы ты за него получил?

– О, сотню долларов. Самое меньшее.

– Ого! Хорошо бы тебе удалось его пристроить!

– Неплохие денежки, а? – И он прибавил с гордостью: – Заметь, я это накатал за два дня. Пятьдесят долларов в день!

Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отваживался. Он решил подождать,

пока что-нибудь будет напечатано, – но крайней мере тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям разума. Он купил учебники физики и химии и одновременно с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Лабораторные опыты ему приходилось принимать на веру, но его могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие на опытах. Сквозь страницы учебников Мартин начинал постепенно прозревать тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное, теперь он начал понимать его устройство, игру и соотношение сил, строение материи. Его ум постоянно стремился объяснять теперь давно знакомые вещи. Рычаги и блоки сразу привели ему на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и попятной. Он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не слишком ли рано написал он свой очерк о северо-восточном пассате. Во всяком случае он чувствовал, что теперь мог бы написать его луч-

ше. Однажды он отправился с Артуром в университет и, затаив дух, с чувством религиозного благоговения смотрел на производимые в лаборатории опыты и слушал профессора, читавшего студентам лекцию.

Но Мартин не забросил своих литературных занятий. Мелкие рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время писать стихи – вроде тех, которые печатались в журналах; потом вдруг закусил удила и в две недели написал трагедию белыми стихами, которую, к его изумлению, немедленно забраковали с полдюжины издателей. Однажды, начитавшись Гэнли, он написал целую серию стихов о море, по образцу «Поэм с больничной койки». Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. В серии было тридцать стихотворений; он писал по одному в день, по окончании своей дневной работы над прозой – работы, на которую иной модный писатель затратил бы целую неделю. Но для Мартина труд сам по себе ничего не значил. Он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы жили в нем безгласно, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком.

Мартин никому не показал своих «Песен моря» и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакто-

рам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно было исполнено для него такой красоты, что ему хотелось поделиться им с одной только Руфью, в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока, наконец, не выучил наизусть.

Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал жить даже во сне; его сознание, протестуя против вынужденного пятичасового бездействия, продолжало развивать все передуманное и пережитое за день, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног. Его свидания с Руфью становились все реже и реже: приближался июнь, в начале которого она должна была сдать экзамены и получить университетский диплом. Бакалавр искусств! Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее.

Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздничные дни. Вся атмосфера дома Морзов была

так не похожа на ту грязь, среди которой жил Мартин, а близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неуемный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он в конце концов трудился только ради любви. Он прежде всего был влюбленным и все остальное подчинял своей любви. Его любовные искания были для него важнее всяких духовных исканий. Мир казался ему удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, взаимодействовавших по каким-то таинственным законам, – мир казался ему удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, о каком он никогда раньше не знал, не мечтал и даже не догадывался.

Но Мартина все время приводило в отчаяние расстояние между ними. Она была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Прежде он обычно пользовался успехом у женщин и девушек своего класса. Но он никогда не любил их, а ее он полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее превыше всех классов. Она была особым существом, настолько особым, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, расширив свой кругозор и научившись правильно гово-

рить, он все же приблизился к ней, у них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплотной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отдаляла ее и делала недоступной. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал.

И вот, в один прекрасный день, через бездну, их разделявшую, на мгновение был перекинут мост, и после этого мгновения бездна уже не казалась такой широкой. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни, сок которых напоминал терпкое вино. И после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение ее божественность поколебалась. Она была телесным существом, ее тело было подчинено тем же законам, как и его тело, как тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина; женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, как удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел солнце, падающее с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества.

Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого от-

крытия, он почувствовал, как сердце заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, с губами, запятнанными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей, но разум его и сердце ликовали и убеждали его в его правоте. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, так как вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз к губам, где виднелись следы вишневого сока – небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки потянулись к ней, как часто тянулись к другим женщинам раньше, в дни беспутной жизни. Она как будто склонилась к нему и ждала, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться.

– Вы не слышали ни одного слова, – сказала она обиженно.

И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее ясные глаза и понял, что она не догадалась вовсе о том, что в нем происходило, и ему стало стыдно. В мыслях он посмел слишком далеко зайти! Он не знал ни одной женщины, которая бы не догадалась, – ни одной, кроме Руфи. А она не догадалась. Вот тут-то и заключалась разница! Она была совсем другая! Мартин был уничтожен мыслью

о своей грубости и ее невинности, и снова между ними разверзлась бездна. Мост был разрушен.

И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о нем не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так широка, как раньше. Он проделал путь куда больший, чем тот, что давал право на звание бакалавра искусств. Правда, она была чиста, так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире, она должна была есть, чтобы жить, и могла простуживаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а стало быть – могла чувствовать и любовь, любовь к мужчине. А он был мужчина! Почему бы в таком случае ему не стать этим человеком? «Я добьюсь счастья, – шептал он лихорадочно. – Я стану им! Сумею стать, Я добьюсь счастья!»

Глава 12

Однажды, вечером, когда Мартин мучился над сонетом, в который тщетно старался вложить туманные, но прекрасные образы, теснившиеся в его мозгу, его вызвали к телефону.

– Женский голос. Очень красивый голос, – сказал насмешливо мистер Хиггинботам, позвав его.

Мартин подошел к телефону, находившемуся в углу комнаты, и горячая волна пробежала по его телу, когда он услышал голос Руфи. Возясь со своим сонетом, он забыл о ее существовании, но при звуке знакомого голоса любовь охватила его с новой силой, сокрушительной, как удар молнии. Какой это был голос. «Нежный и мелодичный, словно далекая музыка, словно звон серебряных колокольчиков кристальной чистоты!» Нет! Не могла обыкновенная смертная женщина обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, что-то не от мира сего. Поддавшись наплыву чувств, он едва мог разобрать, что она ему говорила, хотя старался сохранить на лице спокойствие, зная, что мышиные глаза мистера Хиггинботама так и впиваются в него.

Руфь не сказала ничего особенного: она собиралась сегодня вечером на публичную лекцию с Норма-

ном, но у Нормана – такая досада! – началась мигрень, и так как билеты уже взяты, то не хочет ли Мартин пойти с нею, если он не занят.

Если он не занят! Мартин едва мог скрыть дрожь в голосе. Он не верил своим ушам! До сих пор он встречался с ней только у них дома и никогда не осмеливался пригласить ее куда-нибудь! Стоя с телефонной трубкой в руке, он вдруг почувствовал непреодолимое желание умереть за нее, и перед его мысленным взором возникли героические образы, сцены самопожертвования во имя любви. Он любил ее так сильно, так страшно, так безнадежно. Его охватила такая сумасшедшая радость при мысли, что она пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, что в этот миг ему ничего другого не пришло в голову, как только умереть за нее. Это было единственное, чем он мог доказать свое безграничное и бескорыстное чувство. Это был великий порыв самоотречения, знакомый каждому истинно влюбленному, и он захватил его, точно огненный вихрь, во время короткого разговора по телефону. Умереть ради нее, думал он, – это значит и жить и любить по-настоящему. А ему было всего двадцать один год, и это была его первая любовь!

Дрожащей рукой он повесил трубку, испытывая слабость после только что пережитого потрясения.

Глаза у него сияли, как у ангела, лицо преобразилось, точно он очистился от земной скверны и стал святым и безгрешным.

– Свидание на стороне, а? – ехидно прошипел зять. – А знаешь, чем это кончается? Как раз угодишь в полицейский суд, голубчик мой.

Но Мартин не мог сразу спуститься с высот. Даже эта грубая выходка не могла вернуть его на землю. Он был выше и гнева, и раздражения. Он еще весь был во власти прекрасного видения и, точно божество, не мог испытывать к подобным ничтожным созданиям ничего, кроме жалости. Он и не замечал мистера Хиггинботама, его глаза смотрели сквозь него, и, как во сне, он вышел из комнаты, чтобы переодеться, Только когда он уже завязывал галстук перед своим зеркальцем, до его сознания дошел какой-то раздражающий звук. Это было застрявшее у него в ушах глупое гоготание Бернарда Хиггинботама, которое он словно сейчас только услыхал.

Когда дверь дома Морзов закрылась за ними и Мартин понял, что он идет по улице рядом с Руфью, он вдруг почувствовал замешательство. Радость этой прогулки с ней омрачилась непредвиденными сомнениями. Он не знал, как держать себя. Он не раз видел, что люди ее круга, выходя на улицу, берут даму под руку. Но это бывало не всегда, и он не знал, при-

нято ли ходить под руку только по вечерам, или, быть может, так ходят лишь мужья с женами или братья с сестрами.

Спускаясь с Руфью со ступенек крыльца, он вспомнил Минни. Минни была большая модница, и когда он гулял с нею во второй раз, она сделала ему выговор за то, что он шел по внутренней стороне тротуара, тогда как истинный джентльмен, гуляя с леди, должен идти всегда с внешней стороны. И Минни завела обычай наступать ему на ноги, когда они переходили улицу, чтобы он не забывал держаться внешней стороны. Но он не знал, откуда она выкопала такое правило, в самом ли деле так принято в высшем обществе и нужно ли это правило соблюдать.

В конце концов Мартин решил, что беды от этого во всяком случае не будет, и, выйдя на улику, он пропустил Руфь вперед, а сам пошел рядом, с внешней стороны тротуара. Но тут возникла вторая проблема: нужно ли предложить ей руку? До сих пор он никогда не предлагал руку спутнице. Девушки, с которыми он гулял, не ходили с кавалерами под руку. В начале знакомства они обычно просто ходили рядом, а позже старались выбирать темные переулки и шли, положив голову на плечо спутника, который при этом обнимал их за талию. Но здесь дело обстояло иначе. Она была девушкой другого круга. И Мартин не знал, как ему

быть.

Ему пришло в голову слегка согнуть свою правую руку, как будто случайно, по привычке. И тут произошло чудо. Мартин почувствовал, как ее рука легла на его руку. Он почувствовал сладостную дрожь, и на несколько мгновений ему показалось, что ноги его отделились от земли, а за спиной выросли крылья. Но новое осложнение вернуло его к действительности. Они перешли улицу, и теперь он очутился не с внешней, а с внутренней стороны тротуара. Что же теперь делать? Выпустить ее руку и перейти на другую сторону? А что делать, когда им придется переходить улицу вторично? И в третий раз? Что-то было тут не совсем ясно, и Мартин решил пренебречь правилом, разыграв невежду. Но такое решение не вполне удовлетворяло его, и, очутившись с внутренней стороны, он начал быстро и с увлечением говорить, делая вид, что в пылу беседы забыл переменить место. Пусть она отнесет его промах на счет энтузиазма.

На Бродвее Мартина ожидало новое испытание. При свете уличных фонарей он вдруг увидел Лиззи Конолли и ее смешливую подругу. На одно, только одно мгновение он заколебался, но тотчас же снял шляпу и поклонился. Он не намерен был стыдиться своего класса, и его поклон относился не только к Лиззи Конолли. Девушка кивнула в ответ, задорно глянув на

него красивыми и насмешливыми глазами, так не похожими на крепкие и нежные глаза Руфи. Она также оглядела Руфь, и сразу, по-видимому, оценила ее наружность и платье и угадала общественное положение. Мартин заметил, что и Руфь скользнула по девушке мимолетным и ласковым взглядом и успела отметить и ее дешевый наряд и причудливую шляпу, какими любили щеголять девушки из рабочей среды.

– Какая красивая девушка, – сказала Руфь минуту спустя.

Мартин готов был благословить ее за эту фразу, но сказал только.

– Не знаю. Дело вкуса, должно быть; я не нахожу ее особенно красивой.

– Ну, что вы! Такие правильные черты встречаются один раз на тысячу. У нее лицо точно камея. И глаза чудесные!

– Вы находите? – равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая женщина, и она шла рядом с ним, опираясь на его руку.

– Если б эту девушку одеть как следует и научить ее держаться, уверяю вас, она покорила бы всех мужчин и вас в том числе, мистер Иден.

– Ей прежде всего нужно было бы научиться говорить, – отвечал он, – а то большинство мужчин и не

поняли бы ее. Я уверен, что вы не поймете и половины из того, что она вам скажет, если она будет говорить так, как привыкла.

– Глупости. Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите доказать что-нибудь.

– А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились первый раз? Сейчас я говорю совсем иначе. Я тогда говорил так же, как эта девушка. Но за это время я выучился вашему языку и могу утверждать понятными для вас словами, что вы ни за что не поймете ее языка. А знаете, почему она так держится? Я ведь теперь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили, – и я многое начинаю понимать.

– Почему же она так держится?

– Она уже несколько лет работает на фабрике. Молодое тело податливо, как воск, тяжелый труд формирует его; оно невольно привыкает к положению, удобному для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, встреченный мною на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому, что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы я был не матросом, а мясником, я бы не ходил вперевалку, но у меня были бы кривые ноги. Вот и с этой девушкой так. Вы заметили, какой у нее, если можно так выра-

зиться, жесткий взгляд? Ведь она никогда не жила под чьим-нибудь крылышком. Она все время сама должна думать о себе, а когда девушке приходится самой о себе думать и заботиться, у нее не может быть такого нежного, кроткого взгляда, как… как у вас, например.

– Вы, пожалуй, правы, – тихо сказала Руфь. – Как это ужасно! Она такая красивая…

Мартин, взглянув на все, увидел, что в ее глазах светится сострадание. И тут же он подумал о том, как он любит ее и какое необычайное счастье выпало ему идти с ней вдвоем под руку, направляясь на лекцию.

«Кто ты такой, Мартин Иден? – спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством. – Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место подле такой девушки, как Лиззи Конолли. Твое место среди толпы трудящихся людей, – там, где все вульгарно, низко и грубо. Твое место среди рабочего скота, в грязи и в навозе. Перед тобой свалка овощей. Гниет картофель. Нюхай же эту вонь, чёрт тебя побери, нюхай хорошенько! А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Конолли и любить девушку, которая на миллионы миль выше тебя и живет среди звезд! Кто ты такой? Что ты такое,

чёрт тебя возьми! Доведет ли все это тебя до добра?»

Он погрозил себе в зеркале кулаком и сел на край кровати, глядя перед собой широко открытыми, невидящими глазами. Потом немного спустя достал свою тетрадку, учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения. А часы летели, звезды меркли, и за окном серели уже предрассветные сумерки.

Глава 13

Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочего класса, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, случайно натолкнул Мартина на одно великое открытие. Раза два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к спорам, и всякий раз ему стоило труда оторваться от них. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морза. Спорщики не были важны и преисполнены достоинства. Они давали волю своему темпераменту и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раза два дело доходило до потасовки. И все же, не отдавая себе ясного отчета – почему, Мартин чувствовал какую-то живую основу во всех этих словопрениях; они сильнее действовали на него, чем спокойная уравновешенность и догматичность мистера Морза. Эти люди, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали, как помешанные, и с первобытной яростью нападали на своих идейных противников, – эти люди казались ему куда жизненнее мистера Морза и его друга мистера Батлера.

На сборищах в парке Мартин несколько раз слы-

шал имя Герберта Спенсера, но вот однажды появился там его ученик и последователь, жалкий бродяга в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос, среди потоков сплевываемой табачной жвачки, причем бродяга ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих-социалистов крикнул насмешливо: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его!» Мартин не мог уяснить себе, о чем идет спор, но он заинтересовался Гербертом Спенсером и, приехав в библиотеку, спросил «Основные начала», так как бродяга часто в разгаре спора упоминал это сочинение.

И это было начало великого открытия. Мартин уже однажды пытался читать Спенсера, но так как он выбрал «Основы психологии», то и потерпел фиаско, так же как и с госпожой Блаватской. Он ничего не мог понять в этой книге и вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики и долгой борьбы с сонетом, он лег в постель и раскрыл «Основные начала». Утро застало его еще за чтением. Заснуть он не мог. В этот день он даже не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока; тогда он слез с постели, улегся на голый пол и продолжал читать, держа книгу над головой или облокотясь на руку. Эту ночь он спал и утром уселся писать, но соблазн

был так велик, что вскоре он снова принялся за чтение, позабыв все на свете, даже то, что в этот вечер его ожидала Руфь. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггинботам распахнул дверь и спросил, не думает ли он, что они содержат ресторан.

Мартин Иден всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать и отчасти из-за этого увлекся профессией всесветного бродяги-моряка. Но теперь, читая Спенсера, он понял, что не знает ничего, что никогда ничего и не узнал бы, сколько бы ни странствовал по морям. Он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая разрозненные явления, накопляя отдельные факты, делая иногда небольшие частные обобщения, – все это без всякой попытки установить связь, привести в систему мир, который представлялся ему прихотливым сцеплением случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял над механизмом их полета; но он никогда не обобщал этого явления и не думал о механизме полета вообще и о том процессе развития, который привел к появлению живых летающих существ. Он даже и не подозревал о существовании такого процесса. Что птицы могли «стать», не приходило ему в голову. Они «были» – вот и все, уж так случилось.

И как обстояло дело с птицами, так обстояло и со всем остальным. Все его попытки философских умо-

заключений были обречены на неудачу из-за отсутствия знаний и навыка мысли. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных силах. Такую же неудачу он потерпел, начав изучать теорию эволюции по слишком специальной книге Ромсиса. Единственно, что он вынес из этого чтения, – это представление об эволюции как о беспочвенной теоретической выдумке сухих педантов, изъясняющихся тарабарским языком. А теперь он увидал, что это вовсе не голая теория, но общепризнанный закон развития; что если между учеными и возникают еще по этому поводу споры, то лишь по частным вопросам о формах эволюции.

И вот явился человек – Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взгляду Мартина этот конкретный и упорядоченный мир с такой наглядностью, что он напоминал ему маленькие модели кораблей, которые делают матросы и продают в стеклянных банках. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей. Во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала; подчиняясь тому же закону, бесформенная плазма стала двигаться, извиваться, у нее выросли крылья и лапки, – и появилась на свет птица.

Мартин в своей умственной жизни шел от одной

вершины к другой и теперь достиг самой высокой. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание тайн природы опьянило его. Ночью во сне он жил с богами, преследуемый величественными видениями. Днем бродил, как лунатик, видя перед своим блуждающим взором только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он не слышал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как его ум все время напряженно работал, вскрывая причинную связь во всем находящемся перед ним. В мясе, лежащем на тарелке, он прозревал солнечные лучи и прослеживал через все превращения их путь к первоисточнику, отстоящему на миллионы миль, или думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, и о мозге, посылающем приказание мускулам, пока в конечном счете не доходил снова до солнечной энергии. Мартин был так одержим своими мыслями, что не слышал, как Джим пробормотал: «Спятил», не замечал тревожных взглядов сестры и не обращал внимания на палец Бернарда Хигниботама, которым тот выразительно покрутил несколько раз около своего лба.

Больше всего поразила Мартина взаимосвязь между науками – всеми науками. Он всегда был жаден до знаний, и те знания, которые ему удавалось приобрести, откладывались у него как бы в отдельные клетки

памяти. Так, в одной клетке скопилось много отрывочных сведений о мореплавании. В другой – о женщинах. Но эти две клетки никак не сообщались между собой. Мысль, что можно установить связь между женской истерикой и качкой судна в бурю, показалась бы Мартину нелепой и невозможной. Но Герберт Спенсер доказал ему не только, что в этом нет ничего нелепого, но что, напротив, между этими двумя явлениями не может не быть связи. Все связано в мире, от самой далекой звезды в небесных просторах и до мельчайшей крупицы песка под ногой человека.

Для Мартина это было постоянным источником изумления, и он теперь все время был занят тем, что старался находить связь вещей и явлений на этой планете – да и на других тоже. Он составлял целые списки самых разнородных вещей и не мог успокоиться до тех пор, пока не устанавливал между ними связи. Так он установил связь между любовью, поэзией, землетрясениями, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродством, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, каннибализмом, красотой, убийством, любовниками, рычагами, точками опоры и табаком. Теперь вселенная предстала перед ним как единое целое, и он странствовал по ее закоулкам, тупикам и дебрям не как заблудившийся путник, сквозь таинственную чащу про-

дирающийся к неведомой цели, а как опытный путешественник-наблюдатель, старающийся ничего не упустить из виду и все заносящий на карту. И чем больше он узнавал, тем больше восхищался миром и своей собственной жизнью в этом мире.

– Эх ты, болван! – кричал он своему изображению в зеркале. – Ты хотел писать, и ты писал, а писать тебе было не о чем! Ну, что у тебя было? Детские понятия, недозрелые чувства, смутное представление о красоте, огромная черная масса невежества, сердце, готовое разорваться от любви, да самолюбие, такое же сильное, как твоя любовь, и такое же безнадежное, как твое невежество. И ты хотел писать? Но ведь только теперь у тебя начинает появляться о чем писать. Ты хотел создавать красоту, а сам ничего не знал о природе красоты. Ты хотел писать о жизни, а сам не имел понятия о ее сущности. Ты хотел писать о мире, а мир был для тебя китайской головоломкой; и что бы ты ни писал, ты бы только лишний раз расписался в своем невежестве. Но не падай духом, Мартин, мой мальчик! Ты еще будешь писать. Ты уже кое-что знаешь; правда, еще очень мало, но ты теперь держишь правильный курс и скоро будешь знать много. Если тебе повезет, то когда-нибудь ты узнаешь почти все, что можно узнать. И тогда ты будешь писать!

Он сообщил Руфи о своем великом открытии, ду-

мая поделиться с ней своей радостью и удивлением. Но она отнеслась к этому очень спокойно, так как, по-видимому, знала все это раньше. И его не удивило такое отношение, потому что он понимал, что для нее все это не новость, не то, что для него. Артур и Норман, как удалось ему выяснить, были сторонниками эволюционной теории и оба читали Герберта Спенсера, хотя на них он, по-видимому, не произвел такого ошеломляющего впечатления; а молодой человек в очках – Вилли Ольнэй – неприятно засмеялся при упоминании имени Спенсера и повторил уже слышанную Мартином остроту: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его».

Но Мартин простил ему эту насмешку, так как начал убеждаться, что Ольнэй вовсе не влюблен в Руфь. Впоследствии по разным мелким фактам он убедился, что Ольнэй не только не влюблен в Руфь, но относится к ней с явной неприязнью. Мартин не мог этого понять. Это был феномен, который он никак не мог связать с прочими явлениями вселенной. Ему даже стало жаль этого юношу, которому, очевидно, какой-то природный недостаток мешал оцепить прелесть и красоту Руфи. Они очень часто все вместе катались по воскресеньям на велосипедах, и Мартин убедился во время этих поездок, что Руфь и Ольнэй находятся в состоянии вооруженного мира.

Ольнэй больше дружил с Норманом, предоставляя Руфь, Артура и Мартина обществу друг друга, за что Мартин был ему очень благодарен.

Эти воскресенья были для Мартина праздниками вдвойне, потому что он имел возможность проводить их с Руфью, а кроме того, приучаться к обществу молодых людей ее класса. Хотя эти люди и получили систематическое образование, Мартин видел, что в умственном отношении он не уступает им; разговор с ними был для него, Мартина, прекрасной практикой устной речи. Он давно перестал читать руководства по правилам поведения, решив положиться на свою наблюдательность. За исключением тех случаев, когда он чем-нибудь увлекался, он всегда внимательно следил за всеми поступками своих спутников, стараясь запомнить разные мелочи в их обращении друг с другом.

То обстоятельство, что Спенсера вообще очень мало читали, изумляло Мартина. – «Герберт Спенсер, – сказал библиотекарь в справочном столе, – о, это великий ум». Но, по-видимому, сам библиотекарь очень мало знал о творениях этого великого ума. Однажды за обедом у Морзов, в присутствии мистера Батлера, Мартин завел разговор о Герберте Спенсере. Мистер Морз резко осудил агностицизм английского философа, причем сознался, однако, что не читал «Основ-

ных начал», а мистер Батлер объявил, что Спенсер нагоняет на него тоску, что он никогда не мог дочитать ни одной страницы из его сочинений и отлично обходится без этого. В голове Мартина возникли сомнения, и не будь он так резко самобытен, он, пожалуй, подчинился бы общему мнению и отказался от дальнейшего знакомства со Спенсером. Но так как взгляды Спенсера на мир казались ему непререкаемой истиной, то отказаться от них было для Мартина так же невозможно, как для мореплавателя выбросить за борт компас и карты. Поэтому Мартин продолжал изучать теорию эволюции, все более и более овладевая предметом и находя подтверждение взглядов Спенсера у тысячи других писателей. Чем дальше он шел в своих занятиях, тем больше открывалось перед ним неисследованных областей знания, и он все чаще сожалел, что в сутках всего двадцать четыре часа.

Однажды, принимая во внимание краткость дня, он решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он даже еще и не приступал. Потом он вычеркнул из своего расписания и химию, оставив лишь физику.

– Я же не специалист, – сказал он Руфи в свое оправдание, – и я не собираюсь стать специалистом. Ведь наук так много, что одному человеку не хватит жизни изучать их все. Я хочу получить общее образование. Когда мне понадобятся специальные знания, я

могу обратиться к книгам.

– Но это совсем не то, что самому обладать этими знаниями, – протестовала она.

– А зачем нужно ими обладать? Мы всегда пользуемся трудами специалистов. Для того они и существуют. Входя к вам, я видел, что у вас работают трубочисты. Они тоже специалисты, и когда они сделают свое дело, вы будете пользоваться вычищенными трубами, даже и не зная ничего о строении печей.

– Ну, это явная натяжка!

Она посмотрела на него неодобрительно, и он прочел упрек в ее взгляде и тоне. Но он был убежден в своей правоте.

– Все мыслители, задумывавшиеся над общими вопросами, все величайшие умы фактически всегда пользовались трудами специалистов. И Герберт Спенсер поступал точно так же. Он обобщал открытия многих тысяч исследователей. Ему надо было бы прожить тысячи жизней, чтобы дойти до всего самому. То же самое было с Дарвином. Он использовал то, что было изучено садовниками и скотоводами.

– Вы правы, Мартин, – сказал Ольнэй, – вы знаете, чего хотите, а Руфь не знает. Она не знает даже, что ей самой нужно. Да, да, – продолжал он, не давая Руфи времени возразить. – Я знаю, вы называете это общей культурой. Но если добиваться этой общей

культуры, то не все ли равно, что изучать? Вы можете изучать французский язык, можете изучать немецкий или эсперанто, – вы все равно приобретете так называемую «общую культуру» Или займитесь латынью и греческим, хотя эти два языка никогда вам не пригодятся. Но культурность вы приобретете. Изучала же Руфь два года назад англосаксонский язык, и даже очень успешно, а теперь ничего не помнит, кроме одной строчки: «как душистый апрель проливает свои дожди». Так, кажется? И это дало вам «общую культуру», – засмеялся он, опять не давая ей возможности возразить, – знаю, знаю. Мы ведь с вами были на одном курсе.

– Вы так говорите о культуре, как будто это средство, а не цель! – воскликнула Руфь. Глаза ее засверкали, а на щеках выступил румянец. – Культура самоценна!

– Но Мартину не это нужно.

– А вы откуда знаете?

– Что вам нужно, Мартин? – спросил Ольнэй, круто повернувшись к нему.

Мартин почувствовал себя крайне неловко и умоляюще поглядел на Руфь.

– Да, скажите, что вам нужно, – сказала Руфь. – Это разрешит наш спор.

– Конечно, мне нужна культура, – сказал Мартин

нерешительно. – Я люблю красоту, а культура дает мне возможность лучше понять и оцепить ее.

Руфь кивнула головой с торжествующим видом.

– Чепуха! И вы сами это прекрасно знаете, – объявил Ольнэй. – Мартин добивается карьеры, а не культуры. То, что в его случае карьера связана с культурой, – простое совпадение. Если бы он хотел стать химиком, культура была бы ему ни к чему. Мартин хочет стать писателем, но боится сказать это, чтобы вы не потерпели фиаско в нашем споре. А почему Мартин хочет стать писателем? – продолжал он. – Потому что он не обеспечен материально. Почему вы изучали саксонский язык и добивались «общей культуры»? Да потому, что вам не надо пробивать себе дороги. Об этом заботится ваш отец. Он вам покупает платья, он сделает для вас и все остальное. Что проку в том образовании, которое вы получили, да и я, и Артур, и Норман? Мы доверху набиты «общей культурой», а разорись завтра наши отцы, мы не выдержали бы экзамена на школьного учителя. Самое большее, на что Руфь могла бы тогда рассчитывать, – это стать сельской учительницей или преподавательницей музыки в женском пансионе.

– А вы бы что делали? – спросила Руфь.

– Ничего особенно хорошего. Мог бы зарабатывать доллара полтора в день физическим трудом или по-

ступить инструктором на ганлейскую соединительную ветку, говорю: «поступить», потому что через неделю меня бы, вероятно, выгнали за полной негодностью.

Мартин молча прислушивался к разговору, и, признавая правоту Ольнэя, он в то же время осуждал его за непочтительное отношение к Руфи. В его голове во время этого спора складывались новые взгляды на любовь. Разум не должен вмешиваться в любовные дела. Правильно рассуждает любимая женщина или неправильно – это безразлично. Любовь выше разума. В данном случае Руфь, очевидно, не понимала, как важна для него карьера, но от этого она, разумеется, не стала менее прелестной. Она была прелестна, и то, что она думала, не имело никакого отношения к ее прелести.

– Что вы сказали? – спросил он Ольнэя, который неожиданным вопросом прервал течение его мыслей.

– Я говорю, что вы, наверное, не станете изучать латынь.

– Латынь не только дает культуру, – прервала Руфь, – это тренировка ума.

– Ну, так как же, Мартин, вы будете изучать латынь? – упорствовал Ольнэй.

Мартин находился в крайне затруднительном положении. Он видел, что Руфь с нетерпением ждет его ответа.

– Я боюсь, что у меня не хватит времени, – ответил он наконец. – Я бы стал изучать, но у меня не хватит времени.

– Видите, Мартину вовсе не нужна ваша «общая культура»! – торжествовал Ольнэй. – Он знает, что ему нужно, и знает, как этого добиться.

– Да, но ведь это же тренировка ума, это дисциплина! Латынь дисциплинирует ум! – При этих словах Руфь посмотрела на Мартина, словно прося его переменить свое суждение. – Вы видели, как футболисты тренируются перед игрой? То же самое латынь для мыслителей. Это тренировка.

– Какой вздор! Это нам в детстве вбивали в голову! Но есть одна истина, которую забыли вам внушить своевременно. – Ольнэй сделал паузу для вящего эффекта и сказал торжественно: – Джентльмену следует изучать латынь, но джентльмену не следует ее знать.

– Это нечестно! – вскричала Руфь. – Я так и знала, что вы сведете весь разговор к шутке.

– Но согласитесь, что шутка остроумна! – воскликнул он. – И к тому же это верно. Единственные люди, которые знают латынь, – это аптекари, адвокаты и преподаватели латыни. Если Мартин хочет стать одним из них, я умолкаю. Но причем тут вообще Герберт Спенсер? Мартин только что открыл Спенсера и пришел от него в дикий восторг. Почему? Потому что

Спенсер ему дал нечто. Вам Спенсер ничего не может дать и мне тоже. Потому что нам ничего и не нужно. Вы в один прекрасный день выйдете замуж, а мне вообще нечего будет делать, так как все за меня будут делать разные агенты, которые позаботятся о моем капитале, когда я получу его от отца.

Ольнэй направился было к двери, но, остановившись, выпустил свой последний заряд:

– Оставьте Мартина в покое, Руфь. Он сам прекрасно знает, что ему нужно. Посмотрите, чего он уже сумел добиться. Иногда он заставляет меня краснеть и стыдиться самого себя. Он и сейчас знает о мире и жизни и о назначении человека куда больше, чем Артур, Норман, я или вы, несмотря на всю нашу латынь, французский и англо-саксонский, несмотря на всю нашу так называемую культуру.

– Но Руфь моя учительница, – рыцарски возразил Мартин, – если я и знаю что-нибудь, то только благодаря ей.

– Чепуха! – Ольнэй посмотрел на Руфь с каким-то недоброжелательством. – Вы еще скажете мне, что вы стали читать Спенсера по ее совету. А ведь она знает о Дарвине и об эволюции столько же, сколько я знаю об алмазных россыпях царя Соломона. Помните, несколько дней тому назад вы огорошили нас своим толкованием одного места у Спенсера –

относительно неопределенного, неуловимого и однородного. Попробуйте растолковать ей это и посмотрите, поймет она вас или нет? Это, видите ли, не «культура»! Ого-го! Слушайте, Мартин, если вы начнете зубрить латынь, я просто потеряю к вам уважение.

С интересом прислушиваясь к этому разговору, Мартин в то же время чувствовал какой-то неприятный осадок. Речь шла об учении и уроках, об основах знания, и общий школьнический тон спора не соответствовал тем большим вопросам, которые волновали Мартина, заставляли его цепко ухватывать все жизненные явления и трепетать каким-то космическим трепетом от сознания своей пробуждающейся силы. Он мысленно сравнивал себя с поэтом, выброшенным на берег неведомой страны, который потрясен окружающей красотой и тщетно старается воспеть ее на чуждом ему языке диких туземцев. Так было и с ним. Он чувствовал в себе мучительное стремление познать великие мировые истины, – а вместо этого должен был слушать детские пререкания о том, нужно изучать латынь или не нужно.

– На кой дьявол нужна эта латынь! – говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом. – Пусть мертвецы остаются мертвецами. Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они – прах мертвецов.

Он тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему он теряет эту способность в присутствии Руфи. В ее присутствии он превращался в школьника и говорил языком школьника.

– Дайте мне время, – сказал он вслух. – Дайте мне только время.

Время! Время! Время! Это была его вечная мольба.

Глава 14

Несмотря на свою любовь к Руфи, Мартин не стал изучать латынь. Советы Ольнэя были тут ни при чем. Время было для него все равно что деньги, а многие науки, куда важнее латыни, повелительно требовали его внимания. К тому же, он должен был писать. Ему нужно было зарабатывать деньги. Но, увы, его нигде не печатали. Рукописи грустно странствовали по редакциям. Почему же печатали других писателей? Он проводил долгие часы в читальне, читая чужие произведения, изучая их внимательно и критически, сравнивая со своими собственными и тщетно стараясь раскрыть секрет, помогавший этим писателям пристраивать свои творения.

Он удивлялся безжизненности большей части того, что попадало на страницы печати. Ни света, ни красок не было в этих рассказах.

От них совсем не веяло дыханием жизни, а между тем они оплачивались по два цента за слово, по двадцати долларов за тысячу слов, – так было сказано в газетном объявлении. С недоумением он читал и перечитывал бесчисленные рассказы, написанные (он не мог не признать этого) легко и остроумно, но без всякой жизненной правды. Ведь жизнь са-

ма по себе так удивительна, так чудесна, как много в ней нерешенных задач, грез, героических усилий, а эти рассказы касались всегда только житейской обыденщины. Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее жар и трепет, ее мятежный дух, – вот о чем стоило писать! Ему хотелось воспеть смельчаков, устремляющихся навстречу опасности, юношей, одержимых любовью, гигантов, борющихся среди ужасов и страданий, заставляющих жизнь трещать под их могучим напором. А между тем в напечатанных рассказах прославлялись всевозможные мистеры Батлеры, жалкие охотники за долларами, изображались мелкие любовные треволнения ничтожных людишек. «Быть может, это потому, что сами редакторы – мелкие, ничтожные людишки? – спрашивал он себя. – Или же все эти редакторы, писатели и читатели просто-напросто боятся жизни?»

Больше всего его смущало то, что он не был знаком ни с редакторами, ни с писателями. Он не только не знал ни одного писателя, но даже не знал никого, кто бы когда-нибудь пытался писать. Некому было поговорить с ним, направить его, дать ему хороший совет. Он даже начал сомневаться в том, что редакторы – живые люди. Они стали представляться ему колесами машины. Да, да, именно так. В рассказах, очерках и поэмах он изливал свою душу, и эти излияния отда-

вал на суд машине. Он запечатывал свою рукопись в большой конверт, вкладывал в него марку для ответного письма и опускал в почтовый ящик. Пространствовав известное число дней по континенту, рукопись возвращалась к нему, причем была уже запечатана в другой конверт, а марка, вложенная им внутрь, была наклеена снаружи. По всей вероятности, никакого редактора вовсе не существовало, а был просто хитро устроенный механизм, который перекладывал рукопись из одного конверта в другой и наклеивал марку. Нечто вроде тех автоматов, в которые опускают монетку – и оттуда тотчас выскакивает кусок жевательной резины или плитка шоколада. Опустить монетку в одно отверстие – получишь резину, опустишь в другое – получишь шоколад. Так же и с редакторской машиной. Из одного отверстия выскакивают гонорарные чеки, из другого – письма с отказом. До сих пор он все время попадал во второе отверстие.

Пресловутые письма дополняли сходство с машиной. Это были стандартные печатные бланки, на которых проставлялись только имена и названия. Мартин их получил уже сотни, по крайней мере дюжину на каждую рукопись. Если бы он получил хоть одну живую строчку, написанную от руки, обращенную лично к нему, – он был бы счастлив. Но ни один редактор не подал и признака жизни. И Мартин в конце концов

пришел к заключению, что никаких редакторов на свете не бывает, а есть только хорошо смазанные и великолепно слаженные автоматы.

Мартин был смелым и выносливым, и у него хватило бы упорства в течение долгих лет питать эти бездушные машины. Но он истекал кровью, и не годы, а недели должны были решить дело. Еженедельная плата за содержание приближала миг банкротства, а почтовые расходы еще больше способствовали этому. Он уже не мог покупать книги и решил экономить на мелочах, чтобы только отдалить роковой конец; но он не умел экономить и на целую неделю ускорил развязку, подарив своей сестре Мэриен пять долларов на платье.

Мартин боролся во мраке, без совета, без поощрения; все кругом словно сговорились подтачивать его мужество. Даже Гертруда стала коситься на него; сначала она, как добрая сестра, смотрела сквозь пальцы на то, что ей казалось ребяческой дурью; но потом, опять-таки как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей казалось, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин замечал ее тревожные взгляды и страдал от них еще больше, чем от явных и бесцеремонных насмешек мистера Хиггинботама. Он верил в себя, но он был одинок в своей вере. Даже Руфь не разделяла ее. Ей хотелось, чтобы он занимался толь-

ко самообразованием, и хотя она никогда открыто не осуждала его литературных увлечений, но никогда и не поощряла их.

Мартин ни разу не показал ей то, что писал. Какая-то особая щепетильность удерживала его; кроме того, зная, как она занята в университете, он стеснялся отнимать у нее время. Но, сдав экзамены и получив степень, Руфь сама попросила показать ей что-нибудь из его произведении. Мартин и обрадовался и оробел. Руфь была настоящим судьей. Она была бакалавром изящных искусств. Она изучала литературу под руководством профессоров. Может быть, и редакторы опытные судьи, но она по-другому отнесется к его произведениям, Она не вручит ему печатного бланка с отказом, не сообщит, что при всех своих достоинствах его рассказы, к сожалению, не подходят для напечатания в данном издании. Она отнесется к нему, как живое существо с чуткой душой, и, что всего важнее, она узнает, наконец, подлинного Мартина Идена. В своих творениях он излил свою душу и сердце, и она поймет хоть немного, хоть чуть-чуть, о чем он мечтает, и почувствует таящуюся в нем силу.

Мартин отобрал несколько коротких рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, «Песни моря». В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город, к своим любимым

холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овеваемые морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко, всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.

– Она сделала свое дело, – сказал Мартин, когда они уселись на холме – Руфь на его куртке, а он сам прямо на горячей земле.

Вдыхая сладкий, дурманящий аромат, он тотчас, по привычке, начал размышлять, переходя от частного к мировым проблемам.

– Она исполнила свое жизненное назначение, – продолжал он, гладя сухую траву, – питалась влагой зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и кормила насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, совершив свой долг перед миром…

– Почему вы смотрите на все с какой-то практической точки зрения? – прервала его Руфь.

– Вероятно потому, что я изучаю теорию эволюции. Впрочем, говоря по правде, я только недавно начал видеть все в настоящем свете.

– Но мне кажется, что вы перестаете понимать кра-

соту из-за этого практического подхода. Вы разрушаете красоту, как мальчик уничтожает бабочек, стирая пыльцу с их красивых крылышек.

Он отрицательно покачал головой:

– У красоты есть свое значение, но я до сих пор не ощущал этого значения. Мне нравилось красивое просто потому, что оно красиво, вот и все. Я не понимал сущности красоты. А теперь понимаю, или, вернее, начинаю понимать. Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая, знаю все то химическое действие солнца, дождей и земли, которое понадобилось, чтобы на этом холме выросла трава. Есть много романтического в истории каждой травинки; она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре сил и материи, обо всей великой жизненной борьбе, я чувствую, что я мог бы написать про эту траву целую поэму, и не одну.

– Как хорошо вы говорите, – сказала Руфь рассеянно, но Мартин заметил, что она при этом пытливо посмотрела на него.

Мартин на секунду почувствовал смущение, и румянец залил его щеки.

– Я рад, что выучился, наконец, говорить, – произнес он, – мне столько хочется сказать. Но все это так велико, что я не могу найти подходящих слов. Иногда

мне кажется, что весь мир, вся жизнь, каждая травинка взывают ко мне и требуют, чтобы я говорил за них. Я это чувствую – ну как мне выразить это? – я чувствую величие всего, но, когда я начинаю говорить, получается детский лепет. Это огромная задача – суметь воплотить свои мысли и чувства в слова, написанные или сказанные так, чтобы слушатель или читатель понял их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и в те же чувства. Это божественная задача. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь это я вдохнул запах вселенной. Я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу, смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру! Но как мне сделать это? Язык мой скован. Я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, когда вдыхал аромат травы. И ничего у меня не вышло. Получились бледные, неуклюжие намеки. Какой-то бессвязный набор слов… а между тем мне так хочется говорить… О… – он с отчаянием заломил руки, – это невозможно! Нельзя рассказать! Нельзя передать!

– Но вы отлично говорите, – утверждала Руфь, – просто удивительно, как вы научились говорить за это короткое время. Мистер Батлер – всеми признанный

оратор. Комитет штата всегда приглашает его выступать с речами во время предвыборной кампании. А тогда, за обедом, вы говорили не хуже его. У него только больше выдержки. Вы слишком горячитесь; но это постепенно пройдет. Из вас может выработаться отличный оратор. Вы далеко пойдете… если захотите. В вас есть сила. Вы способны вести людей за собой, я уверена в этом. Вы можете одолеть любые трудности на пути, так же как вы одолели грамматику. Можете стать известным адвокатом. Или политическим деятелем. Ничто не мешает вам добиться такого же успеха, как мистер Батлер… И притом без катара, – прибавила она с улыбкой.

Они продолжали беседовать; Руфь, по своему обыкновению, ласково, но настойчиво говорила о необходимости учиться, указывала на латынь, как на необходимую основу всякой карьеры. Она начертала ему свой идеал человека и мужчины, который был целиком списан с ее отца и дополнен кое-какими черточками, явно заимствованными у мистера Батлера. Мартин слушал ее, лежа на спине и наслаждаясь каждым движением ее губ, но то, что она говорила, не находило в нем отклика. Нарисованные ею перспективы не влекли его, и он чувствовал глухую горечь разочарования, соединенную с острым томлением любви. Она ни одним словом не упомянула о его литератур-

ной работе, и рукописи, которые он захватил с собой, лежали на земле в полном пренебрежении.

Наконец, во время одной паузы, он взглянул на солнце, измерил его высоту над горизонтом и стал собирать свои рукописи, тем самым напомнив о них.

– Ах, я и забыла, – живо сказала Руфь, – а мне так хочется послушать!

Мартин прочел ей рассказ, казавшийся ему самым лучшим. Он назвал его «Вино жизни»; и вино, которое опьяняло Мартина, когда он писал этот рассказ, снова бросилось ему в голову теперь, во время чтения. Было своеобразное очарование в оригинальном замысле рассказа, и он постарался усилить его яркими словами и оборотами. Вдохновенный огонь, горевший в нем во время писания, охватил его снова, и он читал с огромным увлечением, не замечая никаких недостатков. Но не то было с Руфью. Ее изощренное ухо сразу заметило все слабые стороны, все преувеличения, чрезмерный пафос новичка, частые нарушения ритмического строя фразы. Она вообще не улавливала ритма в его рассказе, за исключением тех мест, которые звучали претенциозно-размеренно, и это неприятно поразило ее, как дурной дилетантизм. «Дилетантизм» – таков был ее окончательный приговор, но она не произнесла его. Напротив, она сделала всего несколько мелких замечаний, сказав, что в общем

рассказ ей очень нравится.

Но Мартин был разочарован. Ее критика была справедлива, он не мог не признать этого, но ведь не для школьных поправок он читал ей свое произведение. Дело не в деталях. Это все поправимо. Рано или поздно он, конечно, сам научился бы замечать мелкие погрешности или даже вовсе избегать их. Но ведь в этот рассказ он постарался вместить кусок большой, живой жизни. Этот кусок жизни он хотел показать ей, а вовсе не ряд фраз, разделенных точками и запятыми. Он хотел, чтобы она почувствовала то большое и важное, что он видел своими глазами, охватил своим разумом и своими руками вложил вот в эти короткие строки. Очевидно, это не удалось, подумал он. Может быть, редакторы и правы в конце концов. Он видел большое и важное, но не умел выразить это в словах. И, скрыв свое разочарование, Мартин так легко согласился с ее критикой, что ей и в голову не пришло, какую бурю протеста она в нем подняла.

– Вот эту вещицу я назвал «Котел», – сказал он, развертывая другую рукопись. – Ее отвергли четыре или пять журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Конечно, самому судить трудно, но, по-моему, в нем кое-что есть. Может быть, вас это не захватит так, как захватило меня, но рассказ коротенький. Всего две тысячи слов.

– Какой ужас! – вскричала она, когда он кончил читать. – Это ужас! Просто ужасно!

Мартин с тайным удовлетворением взглянул на ее бледное лицо, блестящие глаза и сжатые руки Он достиг своей цели. Он сумел передать ей чувства и мысли, владевшие им. Все равно, понравился ей рассказ или нет, – важно, что он произвел на нее впечатление, заставил ее слушать внимательно, так что она даже не заметила мелочей.

– Это жизнь, – возразил он, – а жизнь не всегда прекрасна. Может быть, я очень странно устроен, но я и здесь нахожу красоту. Наоборот, она мне кажется еще в десять раз более ценной в таком…

– Но почему же эта несчастная женщина не могла… – прервала его Руфь и тотчас же снова воскликнула с возмущением: – О! Это безобразно! Это гадко! Это грязно!

На мгновение ему показалось, что сердце в нем замерло. Грязно! Он никогда не думал об этом, никогда не предполагал. Весь рассказ горел перед ним огненными буквами, и, ослепленный сиянием, он не замечал в нем никакой грязи. Но вот сердце снова забилось у него в груди, совесть его была спокойна.

– Почему вы не взяли более красивого сюжета? – говорила она. – Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит…

Руфь продолжала говорить что-то, охваченная негодованием, но он ее не слушал. Он смотрел на ее девичье личико, такое невинное, такое трогательно невинное, что, казалось, чистота его проникала до самого сердца Мартина, очищая и омывая его эфирным сиянием, прохладным и нежным, как сияние звезд. «Мы знаем, что в мире много грязи». Он подумал о том, что она могла «знать», и улыбнулся про себя радостно, словно она шутила с ним. В мгновенной вспышке перед ним возникло видение бесконечного океана житейской грязи, который он так хорошо знал, по которому столько раз плавал, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Мартин поблагодарил бога за то, что она родилась и выросла в стороне от всего этого. Но он – он знал жизнь, знал ее низость так же хорошо, как и ее величие, знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывающую, и – чёрт побери! – он скажет об этом свое слово миру. Не удивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. Тут нет заслуги. Но святые в грязи – вот это чудо! И ради этого чуда стоит жить! Видеть моральное величие, поднимающееся над грязными клоаками несправедливости; расти самому и глазами, еще залепленными грязью, ловить первые проблески красоты; видеть, как из слабости, порочности и ничтожества расцветает сила и правда

и благородство духа.

До слуха Мартина вдруг донесся голос Руфи:

– Весь тон какой-то низменный! А есть так много прекрасного и высокого: вспомните: «In Memoriam». (In memoriam (лат.) – памяти, в память.)

Он хотел сказать ей: «А Локсли Холл?», и сказал бы, если бы снова его не отвлекли видения. Он глядел на нее и думал, какими сложными путями, взбираясь в течение сотен тысяч веков по лестнице жизни, достигла, наконец, женщина воплощенного в Руфи совершенного образца творенья, чистого и прекрасного, одаренного божественной силой, и сумела вдохнуть в него любовь и стремление к чистоте и желание изведать эту божественную силу в него, Мартина Идена, который тоже непостижимым образом поднялся из глубин первобытной жизни, из хаоса бесчисленных ошибок и неудач вечного процесса созидания. Вот где и романтика, и красота, и чудо! Вот о чем надо писать; только бы найти слова. Святые на небесах пусть остаются святыми. А он – человек.

– В вас очень много силы, – услышал он голос Руфи, – но эта сила какая-то необузданная.

– Похож на бегемота в посудной лавке, – пошутил он и был награжден улыбкой.

– Вы должны научиться разбираться в темах. Вы должны выработать в себе вкус, изящество, стиль.

– Я, должно быть, слишком много на себя беру, – пробормотал он.

Руфь ответила ему ободряющей улыбкой и приготовилась слушать следующий рассказ.

– Не знаю, как вам понравится, – сказал Мартин, словно оправдываясь. – Это странный рассказ! Может быть, я тут слишком размахнулся, но, право, замысел у меня был хороший. Постарайтесь не обращать внимания на мелочи. Главное, чтобы вам удалось уловить основную мысль. Это важная мысль и верная, не знаю только, сумел ли я сделать ее понятной.

Он начал читать; читая, поглядывал на Руфь. Наконец ему показалось, что рассказ захватил ее. Она сидела неподвижно, не сводя с него глаз, затаив дыхание, видимо зачарованная созданными им образами. Он назвал рассказ «Приключение», и это был, в самом деле, апофеоз приключения – не книжного, а настоящего, приключения с большой буквы, грозного повелителя, одинаково щедрого на взыскания и награды, прихотливого и вероломного, требующего рабской покорности и неустанного труда, который то выводит на ослепительные солнечные просторы, то обрекает мукам жажды, голода, томительного долгого пути или жестокой лихорадки, несущей смерть, и через пот, кровь, укусы ядовитых насекомых, через

длинную цепь мелких и неприглядных событий приводит к великолепному, победному финалу.

Все это и еще многое другое изобразил Мартин в своем рассказе; все это, казалось ему, заставляло Руфь слушать его с горящими глазами; щеки ее разрумянились, и к концу чтения ему казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Она действительно была взволнована, но не рассказом, а им самим. Дело было не в рассказе; ее снова захватила та знакомая уже ей сила, которая исходила от Мартина и заставляла ее трепетать. Но странным образом сам рассказ был насыщен этой силой, и сейчас это был тот единственный канал, по которому волны ее устремлялись к Руфи. Она ощущала лишь эту силу, почти не замечая того, что служило посредником; и хотя ее как будто захватил только что прочитанный рассказ, – на самом деле она была потрясена совсем посторонней, страшной, невероятной мыслью, внезапно возникшей в ее мозгу. Она вдруг задумалась о браке, и прихотливая настойчивость этой мысли испугала ее. Это было нескромно. Это было до сих пор так чуждо ей. Ее еще никогда не мучила пробуждающаяся женственность, и до сих пор она жила в мире снов, навеянных поэзией Теннисона, оставаясь глухой даже к тем деликатным намекам, которыми поэт касался истинных взаимоотношений рыцарей и королев. Она спала до сих пор, и вдруг

жизнь властно постучалась у ее двери. Объятая ужасом, она хотела было запереться на все запоры, но пробуждающийся инстинкт требовал, чтобы она широко распахнула дверь перед странным и прекрасным гостем.

Мартин ждал ее приговора с чувством самоудовлетворения. Он не сомневался в том, каков будет этот приговор, и был ошеломлен, когда Руфь сказала только.

– Это красиво!

После маленькой паузы она с жаром повторила:

– Это красиво!

Конечно, это было красиво; но в рассказе было нечто большее, нечто такое, чему красота лишь служила орудием. Он лежал, растянувшись на земле, и зловещая туча сомнения надвигалась на него… Опять не удалось. Он не владеет словом. Он видит величайшие чудеса мира, но не в силах описать их.

– А что вы скажете о… – он помедлил, не решаясь произнести чужое слово, – о сюжете?

– Он несколько запутан, – отвечала она, – таково мое общее впечатление. Я старалась следить за основной линией, но это трудно. Вы слишком многословны. Вы затемняете действие введением совершенно постороннего материала.

– Но основное содержание? – быстро спросил он и

объяснил: – космическая и мировая идея. Я хотел насытить ею весь рассказ. Он для нее только внешняя оболочка. Я шел по верному пути, но я плохо справился с задачей. Мне не удалось, очевидно, высказать то, что я хотел. Может быть, я научусь со временем.

Руфь не слушала его. Его мысли были непонятны ей, хотя она и была бакалавром изящных искусств. Она не понимала их и свое непонимание приписывала его неумению выражаться.

– Вы слишком многословны, – повторила она, – но местами это прекрасно.

Ее голос доносился до Мартина как будто издалека, ибо он в это время раздумывал, читать ли ей «Песни моря». Он лежал в мрачном отчаянии, а она смотрела на него, и в голове ее носились все те же незваные и упорные мысли о браке.

– Вы хотите стать знаменитым? – вдруг спросила она.

– Да, пожалуй, – согласился он, – но это не главное. Меня занимает не столько слава, сколько путь к ней. А кроме того, слава мне нужна для другого. Есть причина, ради которой я очень хочу стать знаменитым.

Он хотел прибавить: «ради вас», – и, вероятно, прибавил бы, если бы Руфь более горячо отнеслась к его произведениям.

Но она слишком была занята в этот миг мыслями

о его будущности и потому не спросила даже, на что он намекает. Что литературной карьеры он не сделает, в этом Руфь была твердо уверена. Он только что доказал это своими дилетантскими, наивными сочинениями. Он хорошо говорил, но совершенно не владел литературным слогом. Она сравнила его с Теннисоном, Броунингом и с любимейшими своими прозаическими писателями – и сравнение оказывалось для него более чем невыгодным. Но Руфь не сказала Мартину всего, что думала. Странный интерес, который он возбуждал в ней, заставлял ее быть не слишком взыскательной. В конце концов его склонность к писательству была маленькой слабостью, которая со временем, вероятно, исчезнет. Тогда он, несомненно, попробует свои силы на каком-нибудь другом, более серьезном жизненном поприще и добьется успеха. В этом Руфь была уверена. Он так силен, что, наверное, добьется всего… лишь бы он скорей бросил писать.

– Я хочу, чтобы вы прочли мне все, что написали, мистер Иден, – сказала она.

Он вспыхнул от радости. Она заинтересовалась, это несомненно. В конце концов, она ведь не забраковала его произведений. Она даже нашла отдельные места прекрасными, от нее первой он услыхал ободряющие слова.

– Хорошо, – пылко сказал он, – и вот вам мое слово, мисс Морз, я стану хорошим писателем. Я пришел издалека, я знаю это, и мне еще предстоит долгий путь, но я пройду его, хотя бы мне пришлось ползти на четвереньках. – Он протянул ей связку рукописей: – Вот это «Песни моря». Я вам дам их домой, а вы прочитаете, когда будет время. Но только потом скажите откровенно свое мнение. Мне так нужна критика! Пожалуйста, скажите мне всю правду!

– Я ничего не утаю, – обещала она, чувствуя в глубине души, что на этот раз она не была с ним откровенна, и не зная, сможет ли быть откровенной и впоследствии.

Глава 15

– Первая схватка состоялась, – говорил Мартин, глядя в зеркало дней десять спустя, – но будет вторая, третья, и так до тех пор, пока…

Не докончив фразы, он оглядел свою жалкую комнатенку, и взгляд его с грустью остановился на рукописях в длинных конвертах, валявшихся в углу. Все они были ему возвращены. Мартину не на что было купить марок для отправки их по новым адресам, и вот за неделю набралась целая груда. Они будут приходить и завтра, и послезавтра, пока все не вернутся к своему владельцу. И он уже не в состоянии рассылать их дальше. Он целый месяц не платил за прокат машинки, – и не мог заплатить, потому что у него едва хватило денег для недельной платы за содержание и взноса в посредническую контору.

Он сел и задумчиво посмотрел на свой стол. На нем виднелись чернильные пятна, и Мартин вдруг почувствовал к нему нежность.

– Милый, старый стол, – сказал он, – много счастливых часов я провел за тобой, и ты был всегда верным другом. Ты никогда не отталкивал меня, никогда не обижал незаслуженными отказами, никогда не сетовал на тяжесть работы.

Он облокотился на стол и закрыл лицо руками. Слезы подступили к его горлу. Ему вспомнилась его первая драка, когда он, еще шестилетний мальчик, обливаясь слезами, отбивался от другого мальчика, на два года старше, который бил его кулаками до потери сил. Он видел тесный круг мальчишек, поднявших дикий вой, когда он, наконец, упал, глотая кровь, которая текла из носа, смешиваясь со слезами, струившимися из подбитых глаз.

– Бедный малыш, – бормотал он, – и теперь тебя снова побили! Побили так, что не встать.

Но воспоминание об этой первой битве не исчезало, и все драки, которые последовали за ней, постепенно прошли перед Мартином. Полгода спустя Масляная Рожа (так звали мальчишку) опять напал на него. Но на этот раз и Мартин посадил ему синяк под глазом. Это чего-нибудь да стоило! Он вспомнил все битвы, одну за другой. Масляная Рожа всегда побеждал. Но Мартин ни разу не обратился в бегство. Он почувствовал гордость при мысли об этом. Он всегда стойко держался до конца, хоть потом ему и приходилось залечивать раны. Масляная Рожа был подлым противником и не давал никогда пощады. Но Мартин держался. Он всегда держался до конца!

Потом Мартин увидал узкий переулок между рядами ветхих каркасных домов. В конце переулка находи-

лось одноэтажное кирпичное здание, из которого доносился глухой ритмический шум машин, печатающих дневной выпуск газеты «Вестник». Мартину было тогда одиннадцать лет, а Масляной Роже тринадцать; оба они разносили газеты. Потому-то они и стояли в ожидании у ворот типографии. Масляная Рожа, разумеется, тотчас придрался к Мартину, и завязался бой, исход которого остался нерешенным, так как без четверти четыре распахнулись ворота типографии и вся толпа мальчишек устремилась за газетами.

– Я тебя вздую завтра, – пообещал ему Масляная Рожа, и Мартин дрожащим от слез голосом заявил, что завтра будет на месте.

И он прибежал на следующий день, удрав из школы и явившись на место битвы за две минуты до Масляной Рожи. Другие мальчики хвалили Мартина и давали ему советы, следуя которым он непременно должен был побить противника. Но те же мальчики давали такие же советы и Масляной Роже. Как наслаждались эти бесплатные зрители! Мартин задержался на этом воспоминании и даже позавидовал им при мысли о том, сколько удовольствия они тогда получили. Битва началась и продолжалась целых полчаса, пока не открылись ворота типографии.

Снова и снова Мартин видел себя мальчишкой, каждый день торопящимся из школы к воротам типо-

графии. Он не мог быстро бегать. Он горбился, он прихрамывал от постоянных драк. Руки у него были сплошь в синяках, тело все покрыто ссадинами, и некоторые раны начинали гноиться. У него ныли ноги и руки, ныла спина, ныло все тело; в голове, точно налитой свинцом, был туман. В школе он уже не мог играть, забросил ученье. Для него было мукой сидеть целый день за партой. Казалось, целые века прошли с тех пор, как начались эти ежедневные драки, и время тянулось, как кошмар, в непрестанном ожидании новой стычки. «Почему нельзя побить Масляную Рожу?» – думал Мартин. Это сразу избавило бы его от всех мучений. Но никогда ему не приходило в голову сдаться и признать, что Масляная Рожа сильнее его.

И так он день за днем таскался к воротам типографии, истерзанный душой и телом, учась великой науке, именуемой терпением и упорством, – и там встречал своего вечного врага – Масляную Рожу, который был истерзан так же, как и он, и охотно бы прекратил эти побоища, если бы не подстрекательства мальчишек-газетчиков, перед которыми он не хотел осрамиться. Однажды, после двадцатиминутной отчаянной схватки с соблюдением всех условий борьбы (не хватать друг друга ниже пояса и не бить лежачего), Масляная Рожа предложил кончить дело вничью. Мартин и теперь вздрогнул от сладости этого воспо-

минания: задыхаясь и давясь кровью, текшей из его разбитых губ, он кинулся к Масляной Роже, выплюнул кровь, мешавшую ему говорить, и крикнул, что на ничью он не согласен, и если Масляная Рожа выдохся, пусть сдается. Но Масляная Рожа сдаться не захотел, и драка продолжалась.

На следующий день драка возобновилась, и возобновлялась по-прежнему изо дня в день. Каждый раз в начале побоища Мартин сильно страдал от боли, но потом боль притуплялась, и он дрался, ослепленный яростью, как во сне, видя перед собой лишь широкие скулы Масляной Рожи, и его горящие, как у зверя, глаза. Он сосредоточил все свое внимание на этой роже, все остальное перестало существовать. В мире не было ничего, кроме этой рожи, и Мартин знал, что успокоится он лишь тогда, когда превратит ее в кровавое месиво или когда его собственная физиономия превратится в кровавое месиво. Тогда можно будет прекратить состязание. Но согласиться на ничью – ему, Мартину, согласиться на ничью – это было невозможно!

Случилось раз, что, придя к воротам типографии в обычное время, Мартин не нашел Масляной Рожи. Он так и не пришел. Мальчики поздравляли Мартина, утверждая, что Масляная Рожа сдался. Но Мартин не был удовлетворен таким исходом. Он не по-

бедил Масляной Рожи, и Масляная Рожа не победил его. Спор не был решен. Впоследствии выяснилось, что в тот самый день у Масляной Рожи внезапно умер отец.

Мартин мысленно перескочил через несколько лет и увидел себя сидящим на галерке в театре. Ему было семнадцать лет, и он только что вернулся из плавания. Среди зрителей вспыхнула ссора. Кто-то кого-то толкнул. Мартин вмешался и встретился со сверкающими глазами своего старинного врага – Масляной Рожи.

– После спектакля я тебе всыплю, – шепнул Мартину его враг.

Мартин кивнул головой. К месту скандала спешил блюститель порядка в райке.

– Встретимся у выхода после конца, – прошептал Мартин, продолжая смотреть на сцену.

Блюститель порядка посмотрел на них и отошел.

– Ты с компанией? – спросил Мартин Масляную Рожу по окончании действия.

– Конечно!

– Я тоже позову кое-кого, – объявил Мартин.

Во время антракта он навербовал себе партию: трех приятелей с гвоздильного завода, одного пожарного, полдюжины матросов и столько же молодцов из знаменитой шайки с базарной площади.

По окончании спектакля обе партии пошли по разным сторонам улицы. Дойдя до глухой части города, они сошлись и устроили военный совет.

– Самое подходящее место – это мост Восьмой улицы, – сказал рыжий парень из шайки Масляной Рожи, – драться будете посередке, под электрическим фонарем, а мы будем смотреть, не идут ли фараоны. Если с одной стороны покажутся, мы удерем в другую сторону.

– Ладно. Идет, – сказал Мартин, посоветовавшись со своими.

Мост Восьмой улицы, перекинутый через рукав устья Сан-Антонио, по длине равен трем кварталам. Посредине моста и на обоих концах его горели электрические фонари. Ни один полицейский не мог подойти незамеченным. Перед глазами Мартина теперь возникло во всех подробностях это удобное для боя место. Он увидел обе шайки, хмурые и враждебные, стоявшие друг против друга, каждая возле своего бойца. Мартин и Масляная Рожа разделись до пояса. Дозорные заняли свои наблюдательные посты на концах моста. Один из матросов взял у Мартина куртку, рубашку и кепи, чтобы в случае появления полиции удрать с ними в безопасное место. Мартин ясно увидел самого себя – как он выходит на середину поля битвы, смотрит прямо в глаза Масляной Роже и гово-

рит, подняв кулак:

– Это тебе не игрушки! Понял? Будем драться до конца! Понял? Без увертоk. У нас с тобой старые счеты, и надо свести их вчистую! Понял?

Масляная Рожа заколебался, Мартин заметил это, – но Масляная Рожа был самолюбив и не хотел ударить лицом в грязь перед столькими зрителями.

– Ну, что ж, выходи, – крикнул он, – чего разболтался! До конца, так до конца.

И тут, сжав кулаки, они бросились друг на друга со всем пылом юности, как два молодых бычка, охваченные желанием бить, ломать, калечить. Все, что было достигнуто человечеством на его долгом и трудном пути, рухнуло в один миг. Только электрический фонарь стоял, как забытая веха прогресса. Мартин и Масляная Рожа были дикарями каменного века, жителями пещер и древесных убежищ. Они все глубже и глубже погружались в трясину первобытного существования, сталкивались слепо, как сталкиваются атомы, вечно притягивающие и вечно отталкивающие друг друга.

– Боже! Что за скоты мы были! Что за дикие звери! – простонал Мартин, вспоминая подробности этого боя. Благодаря необычайной силе своего воображения он видел все так живо, словно сидел в кинематографе. Он был одновременно и участником и зрите-

лем. Культура и знания, приобретенные за долгие месяцы, заставляли его содрогаться при воспоминании об этом; но вскоре прошлое вытеснило настоящее из его сознания, и он снова стал былым Мартином Иденом и, только что вернувшись из плавания, дрался с Масляной Рожей посреди моста Восьмой улицы. Он страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки его попадали в цель.

Казалось, то были не люди, а два буйных вихря, налетевшие друг на друга. Время шло, и обе партии стояли, присмирев и затаив дыхание. Подобной ярости они не видели, и она внушала им страх. Перед ними боролись два зверя, более свирепые, чем они сами.

Когда остыл первый порыв, противники стали драться осторожнее и обдуманнее. Ни один не брал верх.

– Ничья будет, – долетели до Мартина слова.

Он сделал нечаянно какое-то неудачное движение и в тот же миг получил страшный удар в щеку, пробивший ее до кости. Голый кулак не мог нанести такой рапы. Мартин услыхал возгласы изумления и почувствовал, что кровь хлещет у него из щеки. Но он не подал и виду. Он тотчас же насторожился, так как хорошо знал, с кем имел дело, и мог ожидать всякой низости. Он стал внимательно следить за противником и, уловив блеск металла, сделал ловкий маневр

и поймал его за руку.

– Покажи руку! – гаркнул он. – Ты меня хватил кастетом!

Обе партии с ревом и руганью бросились друг на друга; еще секунда, и произошло бы общее побоище и Мартин не утолил бы своей жажды мести. Он был вне себя.

– А ну назад! – загремел он. – Все назад! Понятно? – Они расступились. Они были звери, но он был сверхзверь, и ужас, внушенный им, заставил их подчиниться.

– Это мое дело, и никто пусть не мешается. Эй ты! Давай сюда кастет.

Масляная Рожа повиновался, немного испуганный, и отдал предательское оружие.

– Это ты ему дал кастет, рыжая сволочь, – продолжал Мартин, швырнув кастет в воду, – я видел, как ты тут терся, и никак не мог понять, что тебе нужно. Если ты еще раз сунешься, я изобью тебя до смерти. Понял?

Бой возобновился, и хотя оба противника дошли до предела изнеможения, они все же продолжали осыпать друг друга ударами, пока, наконец, окружавшая их звериная стая, насытив свою жажду крови, не почувствовала страха и не начала уговаривать их прекратить драку. Масляная Рожа, едва державшийся на

ногах, страшное чудовище, потерявшее человеческий облик, остановился в нерешительности, но Мартин кинулся на него, снова и снова осыпая ударами.

Казалось, они боролись уже целую вечность, и Масляная Рожа заметно стал сдавать, как вдруг послышался громкий хруст, и правая рука Мартина беспомощно повисла. Кость была сломана. Все это слышали, и все это поняли. Масляная Рожа, как тигр, набросился на другую руку, колотя изо всех сил. Партия Мартина бросилась на выручку. Отбиваясь от ударов здоровой рукой, Мартин крикнул, чтобы они не вмешивались, не переставая изрыгать проклятия вперемежку со стонами злобы и отчаяния, и все бил одной левой рукой, ничего не сознавая, колотил и колотил. Словно издалека доносились до него испуганные перешептывания, потом он услышал, как кто-то сказал дрожащим голосом: «Ребята, это не драка! Это убийство! Надо растащить их!»

Но ни один не решился подступиться, а он все бил и бил своей левой рукой, попадая каждый раз во что-то мягкое, кровавое, ужасное и не имеющее ничего общего с человеческим лицом, и это что-то все не поддавалось и продолжало шевелиться перед его помутившимся взором. И он все бил и бил, все тише и тише, постепенно теряя последние остатки жизненной энергии, бил, казалось, целые века, целые тысячеле-

тия, пока, наконец, бесформенная кровавая масса не рухнула на доски моста. И тогда он встал над ней, шатаясь, как пьяный, ища опоры в воздухе и продолжая спрашивать изменившимся голосом.

– Еще хочешь? Говори… Еще хочешь?

Он все спрашивал, настойчиво требуя ответа, и вдруг почувствовал, что товарищи хватают его, тащат, пытаются надеть на него рубашку. И тут внезапно сознание покинуло его.

Будильник на столе зазвонил, но Мартин не слыхал его и продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он ничего не слышал. Он ни о чем не думал. Так живо он пережил все опять, что вновь потерял сознание, как в ту ночь, на мосту Восьмой улицы. Мрак и пустота окутывали его в течение нескольких минут. Потом, точно оживший мертвец, он вскочил, сверкая глазами, с волосами, прилипшими ко лбу.

– Я все-таки побил тебя, Масляная Рожа! – вскричал он. – Мне понадобилось для этого шесть лет, но я побил тебя!

Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель. Он все еще был во власти прошлого. Он недоуменно озирался по сторонам, словно не понимая, где он находится, пока, наконец, не увидел груду рукописей в углу. Тогда колеса его памяти завертелись быстрее, промчали его

через четырехлетний промежуток, и он вспомнил книги, вспомнил мир, который они открыли ему, вспомнил свои гордые мечты и свою любовь к бледной девушке, впечатлительной и нежной, которая умерла бы от ужаса, если бы хоть на миг стала свидетельницей того, что он только что заново пережил, хоть на миг увидала бы ту грязь жизни, через которую он прошел!

Он поднялся и поглядел на себя в зеркало.

– Теперь ты вылез из этой грязи, Мартин, – торжественно сказал он себе, – в глазах у тебя прояснилось, ты касаешься звезд плечами, живешь полной жизнью и отвоевываешь ценнейшее наследие веков у тех, кто им владеет.

Мартин внимательно поглядел на себя и рассмеялся.

– Немножко истерики и мелодрамы? Ну, что ж! Это не имеет значения. Ты когда-то одолел Масляную Рожу, – так же ты одолеешь и издателей, хотя бы тебе для этого пришлось потратить в три раза больше времени! Только не вздумай останавливаться. Иди вперед. Бороться – так бороться до конца!

Глава 16

Будильник разбудил Мартина так внезапно, что у человека с менее крепкой организацией такой быстрый переход от сна к бодрствованию вызвал бы, наверное, головную боль. Хотя он спал очень крепко, но проснулся мгновенно, как кошка, радуясь, что миновали пять часов забытья. Он ненавидел сон. Так много нужно было сделать, так много пережить! Он жалел о каждом миге, похищенном у него сном; и не успел еще будильник кончить трескотню, как он уже погрузил голову в таз, подрагивая от холодной воды.

Но день он начал не по обычной своей программе. Не было начатого рассказа, который ждал бы окончания, не было нового замысла, который просился бы на бумагу. Он очень поздно кончил заниматься накануне, и теперь время уже приближалось к завтраку. Он пробовал прочитать главу из Фиска, но голова его плохо работала и ему пришлось отложить книгу. Сегодня ему предстояла новая схватка с жизнью, и на некоторое время он решил прервать свое писание. Ему было грустно, как бывает грустно человеку при расставании с семьей и с родным домом. Он поглядел на рукописи в углу. Да, он должен покинуть своих бедных, опозоренных детей, которым никто не хотел дать при-

юта. Он наклонился и начал разбирать рукописи, перечитывая свои любимые места. «Котел» и «Приключение» он удостоил даже чтения вслух. Особенно он остался доволен рассказом «Радость», написанным накануне и брошенным в угол за отсутствием марки.

– Не понимаю, – бормотал он, – или, может быть, редакторы не понимают. Чего им еще нужно? Они печатают вещи куда хуже. Да все, что они печатают, гораздо хуже этого… почти все.

После завтрака он уложил в футляр пишущую машинку и отнес ее в Окленд.

– Я задолжал за месяц, – сказал он приказчику. – Скажите хозяину, что я уезжаю на работу и расплачусь по возвращении. Через месяц или около того.

Он отправился в Сан-Франциско, в посредническую контору.

– Любую работу, все равно какую, – начал он, но его прервал приход нового посетителя, одетого с тем дешевым шиком, с каким одеваются рабочие, имеющие склонность к «изящной жизни».

Агент безнадежно покачал головой.

– Неужели никого? – спросил вновь пришедший. – Но мне до зарезу необходимо найти кого-нибудь сегодня.

Он повернулся и посмотрел на Мартина, а Мартин посмотрел на него и увидел довольно красивое лицо,

но бледное и помятое, как будто этот субъект прокурил всю ночь напролет.

– Ищешь работы? – спросил он Мартина. – Что умеешь делать?

– Любую тяжелую работу, знаю морское дело, пишу на машинке, стенографии не знаю; могу ездить верхом, – вообще могу делать все что угодно.

Тот кивнул головой.

– Ну, что ж, все это подходяще. Меня зовут Даусон, Джо Даусон, и я ищу помощника себе в прачечную.

– В прачечную? – Мысль, что он будет гладить тонкое женское белье, показалась Мартину забавной. Но наниматель чем-то понравился ему, и потому он прибавил: – Стирать я вообще умею. Научился в плавании.

Джо Даусон на минуту призадумался.

– Слушай, мы, пожалуй, можем столковаться. Хочешь узнать, о чем речь идет?

Мартин утвердительно кивнул головой.

– Есть такая маленькая прачечная при гостинице в курортном местечке «Горячие Ключи». Для работы нужны двое: старший и помощник. Я – старший. Каждый делает свое дело, но ты мне подчиняешься. Как, подходит?

Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев работы – и у него появится опять

время для занятий, А он умел на совесть работать и на совесть учиться.

– Хорошие харчи и отдельная комната, – сказал Джо.

Это решило вопрос. Отдельная комната, где никто не будет мешать жечь лампу по ночам.

– Но работа адова, – прибавил Джо.

Мартин погладил свои мускулы, вздувшиеся под рукавом.

– Мне к работе не привыкать.

– Так по рукам! – Джо пощупал лоб.

– Фу, чёрт. До сих пор в глазах круги идут. Уж больно я вчера перехватил… во всем. Да, так условия такие: на двоих полагается сотня долларов и квартира. Я получаю шестьдесят, а помощник – сорок. Но тот парень знал дело, а ты новичок. На первых порах мне придется много работать за тебя. Положим, ты начнешь с тридцати и постепенно дойдешь до сорока. Я не надую. Как только ты приладишься и начнешь работать по-настоящему – станешь получать свои сорок.

– Согласен, – заявил Мартин и протянул руку, которую тот пожал. – Только хорошо бы задаток. На дорогу и другие расходы.

– Все просадил, – грустно отвечал Джо, снова потирая лоб, – только и осталось, что обратный билет.

– А я все до последнего цента должен отдать за

квартиру.

– А ты плюнь, – посоветовал Джо.

– Не могу. Родной сестре должен.

Джо издал продолжительный свист, знаменующий сочувствие и огорчение, принял глубокомысленный вид.

– У меня на полбутылки наберется. Пойдем. Может, что и придумаем.

Мартин отклонил это предложение.

– Не употребляешь? – спросил Джо.

Мартин качнул головой, после чего Джо произнес с унынием:

– Завидую. У меня вот не выходит. Поработаешь целую неделю, как чёрт, поневоле пойдешь в кабак. Если бы я не напивался, я бы давно перерезал себе глотку или подпалил заведение. Но я рад, что ты из непьющих. Продолжай в том же духе.

Мартин видел, какая огромная пропасть лежит между ним и этим человеком, – пропасть, созданная книгами; но ему нетрудно было перешагнуть через нее. Всю жизнь он прожил среди людей рабочего класса, и чувство трудового товарищества стало его второй натурой. Мартин быстро разрешил вопрос о переезде – задачу, непосильную для одурманенной головы Джо. Он пошлет свой чемодан багажом по билету Джо, а сам приедет в «Горячие Ключи» на вело-

сипеде. Расстояние в семьдесят миль он вполне мог осилить за воскресенье, чтобы уже с понедельника стать на работу. А теперь он пойдет домой и уложит вещи. Прощаться ему было не с кем. Руфь и вся ее семья уехали на лето в Сиерру, к озеру Тэхо.

Мартин явился в «Горячие Ключи» в воскресенье вечером, усталый и весь в пыли. Джо восторженно встретил его. Голова его была обвязана мокрым полотенцем, так как он проработал целый день.

– Часть белья оставалась еще с прошлой недели, – пояснил он, – когда я ездил нанимать тебя. Твой багаж прибыл в сохранности. Он у тебя в комнате. Ну, скажу я тебе, и тяжесть же. Что там напихано? Слитки золота?

Пока Мартин распаковывал чемодан, Джо присел на его кровать. Это был, собственно говоря, не чемодан, а просто ящик из-под консервов, за который мистер Хиггинботам взял с Мартина полдоллара. Приколотив к ящику две веревочные рукоятки, Мартин преобразил его в нечто похожее на чемодан. Джо с изумлением увидал, как после нескольких смен белья из ящика начали появляться книги, книги и книги.

– Как! До самого дна все книги? – спросил он Мартин утвердительно кивнул и продолжал выкладывать их на кухонный стол, заменявший умывальник.

– Ну, ну!

Джо помолчал, и в его мозгу начала, по-видимому, складываться какая-то мысль. Наконец он сумел ее сформулировать.

– Скажи, ты как насчет девочек? Очень? – спросил он.

– Нет, – ответил Мартин, – раньше случалось, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.

– Ну, здесь у тебя не будет времени и на книги – только работать и спать.

Мартин вспомнил о своем пятичасовом сне и улыбнулся. Его комната была расположена над прачечной, и в этом же здании помещался мотор, который качал воду, подавал свет и приводил в движение машины в прачечной. Монтер, занимавший соседнюю комнату, решил завязать дружеские отношения и помог Мартину приспособить электрическую лампочку на длинном проводе, так что ее можно было переносить от стола к постели.

На следующее утро Мартин встал в четверть седьмого, – ему сказали, что завтрак подается без четверти семь. В доме оказалась ванная для служащих, и Мартин, к великому изумлению Джо, принял холодную ванну.

– Ну, ну, вот молодчина! – воскликнул Джо, когда они уселись завтракать на кухне.

С ними завтракали монтер, садовник, помощник са-

довника и два или три конюха. Все они ели мрачно и торопливо, изредка перекидываясь отдельными словами, и Мартин, прислушиваясь к их беседе, понял, как далеко он ушел от этих людей. Их умственное убожество было невыносимо для него, и он с нетерпением ждал момента, когда сможет остаться один. Поэтому так же торопливо, как и они, проглотил свою порцию жидкой, безвкусной каши и вздохнул свободно, лишь выйдя за кухонную дверь.

Маленькая прачечная была превосходно оборудована новейшими машинами, которые делали все, что могли делать машины. Получив краткие наставления, Мартин начал разбирать огромную груду грязного белья, а Джо тем временем пускал в ход машины и разводил жидкое мыло, состоявшее из едких химических веществ, так что он принужден был закутать полотенцем глаза и нос и стал похож на мумию. Покончив с разборкой, Мартин приступил к выжиманию уже выстиранного белья. Выжимание производилось особой вращающейся машиной, делавшей несколько тысяч оборотов в секунду и удалявшей из белья влагу с помощью центробежной силы. Потом Мартин все время переходил от сушилки к выжималке, а в промежутках еще отбирал чулки и носки. После обеда, пока нагревались утюги, они занялись катаньем носков и чулок. Потом гладили нижнее белье до шести часов, но тут

Джо с сомнением покачал головой.

– Ни черта не выйдет, – сказал он, – придется работать и после ужина.

И после ужина они работали до десяти часов, при ослепительном электрическом свете, пока последняя пара нижнего белья не была выглажена и приготовлена к выдаче. Была знойная калифорнийская ночь, и, несмотря на распахнутые настежь окна, в комнате, от раскаленной плиты и утюгов, стояла невыносимая жара. Мартин и Джо, раздетые по пояс, обливались потом и задыхались.

– Точно на погрузке в тропическом порту! – сказал Мартин, когда они поднимались по лестнице.

– У тебя дело пойдет, – говорил Джо. – Ты работаешь молодцом. Если и дальше так будет, ты только первый месяц просидишь на тридцати долларах. В следующий месяц получишь уже все сорок. Но не может быть, чтобы ты раньше никогда не гладил. Меня не проведешь.

– Ей-богу, не выгладил за всю свою жизнь ни одной тряпки.

Мартин чувствовал сильную усталость и удивлялся этому, позабыв, что проработал подряд четырнадцать часов. Он поставил будильник на шесть и, отсчитав пять часов, решил читать до часу. Сняв башмаки, чтобы дать отдохнуть ногам, он сел за стол и обложился

книгами. Он раскрыл Фиска на том самом месте, на котором прервал чтение два дня назад. Но голова работала плохо, и ему пришлось два раза прочесть один и тот же абзац. Потом он вдруг проснулся от боли в затекших мышцах и от холодного ветра, который подул с гор в открытое окно. Он поглядел на часы. Они показывали два. Он спал уже четыре часа! Тогда он разделся, лег в постель и заснул, едва коснувшись головой подушки.

Вторник прошел в такой же напряженной работе. Быстрота, с которой работал Джо, приводила в восторг Мартина. Джо работал как дюжина дьяволов. Он не терял ни одного мгновения в течение всего долгого дня, сосредоточивал на работе все свое внимание и то и дело указывал Мартину, где вместо пяти движений можно сделать три и вместо трех – два.

Мартин смотрел и старался подражать ему. Он и сам был прекрасным работником, ловким, сообразительным и всегда гордился тем, что никто не мог превзойти его в работе. Теперь он тоже решил сосредоточить на работе все внимание и следовать всем наставлениям Джо. Он так ловко растирал крахмал на воротничках и манжетах, чтобы на них не образовались пузыри во время глажения, что сам Джо похвалил его.

В работе не было никаких перерывов. Кончив одно

дело, Джо тотчас же переходил к другому, ничего не дожидаясь, ничего не откладывая. Они накрахмалили двести белых сорочек, правой рукой погружая в горячий крахмал воротничок, грудь и манжеты, а левой придерживая рубашку, чтобы другие части ее не касались крахмала – такого горячего, что, отжимая его, им каждый раз приходилось опускать руку в холодную воду. И в этот вечер они работали до половины одиннадцатого, подкрахмаливая оборки на тонком женском белье.

– В тропиках и то легче, – со смехом сказал Мартин.

– Только не для меня, – серьезно возразил Джо, – я не знаю никакого другого ремесла, кроме этого.

– Но это ты зато знаешь здорово.

– Еще бы. Я начал работать одиннадцати лет, в Окленде. Стоял у парового катка. С тех пор прошло восемнадцать лет, и все время я ничем другим не занимался. Но такой каторжной работы, как тут, мне еще не попадалось. Сюда надо бы, по крайней мере, троих. Завтра придется работать и ночью. По средам всегда приходится работать ночью: воротнички и манжеты.

Мартин опять завел будильник, сел за стол и раскрыл Фиска. Но он не мог прочитать и одного абзаца. Строчки плясали перед его глазами, и он клевал носом. Он начал ходить взад и вперед, колотя себя

кулаками по голове, чтобы разогнать сон, но все было напрасно. Потом он положил книгу перед собой и попробовал читать, придерживая веки пальцами, но тотчас же заснул с раскрытыми глазами.

Тогда, не в силах больше бороться с усталостью, он разделся, едва сознавая, что делает, и бросился на кровать. Он проспал семь часов тяжелым животным сном и проснулся от звона будильника с ощущением, что все еще не выспался.

– Много прочитал? – спросил его Джо. Мартин отрицательно качнул головой.

– Ничего! – утешил его Джо. – Мы сегодня ночью пустим каток, зато завтра кончим в шесть. У тебя будет тогда время для чтения.

Мартин в этот день полоскал шерстяные вещи в большой лохани, наполненной раствором едкого мыла, причем полоскание производилось с помощью особого приспособления, на которое Джо указал с гордостью:

– Мое изобретение. Заменяет и валек и руки и сберегает к тому же по крайней мере пятнадцать минут в неделю! А ты знаешь, чего стоит каждая минута в этом чёртовом пекле!

Пропускание через каток воротничков и манжет было тоже его выдумкой, и когда наступил вечер и зажгли электричество, Джо объяснил в чем дело:

– В других прачечных еще не додумались до этого. Я благодаря этому получаю возможность в субботу кончать работу в три часа. Только надо умело это делать – вот и все. Нужна особая температура, особое давление, и пропускать надо три раза. Посмотри-ка.

Он взял манжету.

– Так и вручную не сделаешь, верно?

В четверг Джо пришел в ярость: был прислан целый узел тонкого крахмального белья сверх нормы.

– К чёрту, – заорал он, – к дьяволу! Не хочу больше. Я работал, как скотина, целую неделю, чтобы выкроить себе свободную минуту и вдруг, извольте радоваться, – узел крахмального белья сверх нормы! Я живу в свободной стране, и я скажу этому жирному чёрту все, что я о нем думаю! И я буду с ним говорить не по-французски. Есть еще на языке Соединенных Штатов подходящие для него словечки. Целый узел сверх нормы! Экая скотина!

– Придется опять работать всю ночь, – сказал он через минуту, забыв свою вспышку и покоряясь судьбе.

И в эту ночь Мартину опять не пришлось читать. Целую неделю он не видал газеты и, к собственному удивлению, не чувствовал охоты ее увидеть. Новости его не интересовали. Он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в

субботу съездить в Окленд на велосипеде. Семьдесят миль туда и семьдесят миль обратно – это значило, что ему не придется вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше съездить по железной дороге, но это обошлось бы в два с половиной доллара, а Мартин твердо решил копить деньги.

Глава 17

Мартин приобрел много новых знаний. На первой неделе был один день, когда они с Джо пропустили двести белых рубашек. Джо двигал рычаг машины, к перекладине которой был привешен утюг на стальной пружине, регулирующей давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашки, потом кидал ее Мартину, и тот на доске доглаживал все остальное.

Это была тяжелая изнурительная работа, продолжавшаяся к тому же беспрерывно, час за часом. На открытой веранде гостиницы мужчины и дамы в белых платьях прогуливались для моциона или сидели за столиками и пили прохладительные напитки. Но в прачечной стояла нестерпимая духота. Раскаленная докрасна плита полыхала жаром, а из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, клубился пар. Утюги нагревались гораздо сильнее, чем они обычно нагреваются домашними хозяйками. Утюг, который пробуют, послюнив палец, показался бы Мартину и Джо совершенно холодным. Они определяли степень нагретости утюга, просто поднося его к щеке и угадывая температуру каким-то особым чутьем, которое казалось Мартину совершенно необъяснимым. Если утюг был слишком горячим, его погружали в холодную во-

ду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было продержать утюг в воде одну лишнюю секунду, чтобы остудить его больше, чем нужно; и Мартин сам изумлялся своей точности – автоматической точности, с которой он выполнял этот трудный маневр.

Впрочем, и изумляться ему было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. Не останавливаясь, работал он головой и руками, как живая машина, и работа поглощала все, что в нем было человеческого. В голове у него не оставалось места для размышлений о мире и его загадках. Все широкие, просторные помещения в его мозгу были заперты и опечатаны. Сознание его поселилось в тесной комнатке, в штурманской рубке, из которой оно давало приказания его рукам и пальцам – как браться за утюг, как разглаживать бесконечные рукава, спины, полы, бока, не уклоняясь ни на один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не измяв ее. И только его голова переставала заботиться об одной рубашке, он должен был уже думать о другой. И так шли долгие часы, пока снаружи все не замирало под жарким солнцем Калифорнии. Но в прачечной работа не прерывалась. Элегантным жильцам гостиницы постоянно требовалось чистое белье.

Пот градом катился с Мартина. Он пил неимовер-

ное количество воды, но зной был так велик, что влага не задерживалась в теле и выступала из всех пор. Во время плаваний самая тяжкая работа не мешала ему отдаваться своим мыслям. Владелец судна на котором плавал Мартин, был господином только его времени; а здесь хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей. Он не мог думать ни о чем, кроме труда, равно изнурительного и для ума и для тела. Других мыслей у него не было. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, потому что измученной душе Мартина было не до воспоминаний, и только вечером, когда он ложился в постель, или утром, за завтраком, она мелькала перед ним туманным видением. – Хуже, чем в аду, верно? – спросил однажды Джо.

Мартин кивнул, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Это было ясно и без напоминаний. Они обычно никогда не разговаривали во время работы. Разговор выбивал из ритма, и теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал два лишних движения.

В пятницу утром пустили в ход стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать белье гостиницы: скатерти, салфетки, простыни наволочки. Покончив со всем этим, они принимались за тонкое белье. Это была работа чрезвычайно кропотливая и утомительная, выполнять ее нужно было с большой осто-

рожностью, и у Мартина дело шло медленнее; к тому же он боялся промахов, в данном случае пагубных.

– Видишь эту штуку? – сказал Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать в кулаке. – Спали его – и с тебя вычтут двадцать долларов.

Но Мартин ничего не спалил: он сумел ослабить напряжение мускулов за счет еще большего напряжения нервов и, работая, с удовольствием слушал ругань, которой Джо осыпал дам, носящих тонкое белье, – конечно, только потому, что им не приходится самим стирать его. Тонкое белье было проклятием Мартина, да и Джо тоже. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возились с ним целый день. В семь часов они прервали стирку, чтобы прокатать простыни, скатерти и салфетки, а в десять, когда все в гостинице уже спали, снова взялись за тонкое белье и потели над ним до полуночи, до часу, до двух! Они кончили в половине третьего.

В субботу с утра опять было тонкое белье и всякие мелочи, и, наконец, в три часа недельная работа была кончена.

– На этот раз, надеюсь, ты не поедешь в Окленд? – спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и с наслаждением закурили.

– Нет, поеду, – ответил Мартин.

– За каким чёртом ты туда таскаешься? К девчонке, что ли?

– Нет, мне нужно обменять книги в библиотеке. Чтобы сэкономить два с половиной доллара, я езжу на велосипеде.

– Пошли книги по почте. Это обойдется в четверть доллара.

Мартин задумался.

– Ты лучше отдохни завтра, – продолжал Джо, – тебе это необходимо. Я по себе сужу. Я совсем разбит.

Это было видно. Неутомимый ловец секунд и минут, враг промедлений и сокрушитель препятствий, неиссякаемый источник энергии, человеческий мотор предельной мощности, дьявол, а не человек, – теперь, покончив с недельной работой, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюм и измучен и красивое лицо его осунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его звучал тускло и монотонно. Не было уже в нем ни былого огня, ни энергии, и даже заслуженный отдых не радовал его.

– А с понедельника опять все сначала, – сказал он со злобой, – и на кой чёрт это в конце концов! А? Иногда я, право, завидую бродягам. Они не работают, а ведь как-то живут. Ох, ох! Я бы с удовольствием выпил стаканчик пива, но тогда надо тащиться в деревню. А ты дурака не ломай. Пошли свои книги по почте,

а сам оставайся здесь.

– А что я буду делать тут целый день? – спросил Мартин.

– Отдыхать. Ты сам не понимаешь, как ты устал, Я, например, так устаю к воскресенью, что даже газету прочесть не могу. Я однажды тифом болел. Пролежал в больнице два с половиной месяца – и ни черта не делал все это время. Вот здорово было!

– Да, это было здорово! – повторил он мечтательно минуту спустя.

Мартин пошел принимать ванну, а по возвращении обнаружил, что Джо куда-то исчез. Мартин решил, что он, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его, у Мартина не хватило духу. Он улегся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полузабытьи, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джо и тут не явился. На вопрос Мартина садовник заметил, что Джо, наверное, врос в землю у стойки. После ужина Мартин тотчас лег спать и проснулся на другое утро вполне отдохнувшим, как ему показалось. Джо все еще не было. Мартин, развернув воскресную газету, лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Никто ему не мешал, он не спал и, тем не менее, не мог дочитать га-

зеты. После обеда он снова было принялся за чтение, но очень скоро, так и заснул над газетой.

Так прошло воскресенье, а в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и пускал в ход стиральную машину.

– Ничего не могу поделать, – объяснил он, – когда наступает суббота, я должен напиться.

Прошла еще неделя беспрерывного труда, причем опять работали и по ночам, при ярком электрическом свете, а в субботу, в три часа дня, Джо, без всякого энтузиазма встретив долгожданный отдых, опять отправился в деревню, чтобы забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предшествующее. Он лежал в тени деревьев, скользя взором по столбцам газеты, лежал так целый день, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и уже начинал чувствовать отвращение к самому себе, как будто совершил что-то постыдное и непоправимое. Все повышенное было в нем подавлено, честолюбие его притупилось, а жизненная сила настолько ослабела, что он уже не чувствовал никаких стремлений. Он был мертв. Его душа была мертва. Он стал просто скотиной, рабочей скотиной. Он уже не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, пронизывавшем зеленую листву, и глубина небесной лазури уже не вол-

новала его и не вызывала мыслей о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать. Жизнь была тупа и бессмысленна, и от нее оставался дурной вкус во рту. Черное покрывало было накинуто на экран его воображения, а фантазия томилась, загнанная в темную каморку, в которую не проникал ни один луч света.

Мартин начал уже завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу и в пьяной одури забывал о предстоящей неделе мучительного труда.

Потянулась третья неделя, и Мартин проклинал себя и всю жизнь. Его угнетала мысль о поражении. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам смеялся над своими недавними мечтаниями. Руфь по почте вернула ему «Песни моря». Он равнодушно прочел ее письмо. Она, по-видимому, приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами. Но Руфь не умела лгать, а скрыть правду от самой себя ей тоже было трудно. Стихи ей не понравились, и это сквозило в каждой строчке ее письма. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи; он утратил всякое чувство красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые обороты речи теперь показались ему смешными, сравне-

ния чудовищными и нелепыми, все вместе взятое было глупо и неправдоподобно. Он бы охотно тотчас же сжег «Песни моря», но для этого надо было разводить огонь, а сойти в машинное отделение у него не хватило силы: вся она ушла на стирку чужого белья, и для своих личных дел ее уже не осталось.

Мартин решил в воскресенье собраться с духом и написать Руфи письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал непреодолимое желание забыться. «Пойду посмотрю, как там Джо развлекается», – сказал он себе и тотчас понял, что лжет, но у него не хватило энергии задуматься над этим, – да если бы и хватило, он не стал бы изобличать себя во лжи, потому что больше всего ему хотелось именно забыться. Не спеша, как бы прогуливаясь, он направился в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги.

– А я думал, ты водицу употребляешь! – встретил его Джо.

Мартин не удостоил его объяснением, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо.

– Только пошевеливайся, – грубо сказал он.

Но так как Джо мешкал, Мартин не стал его дожидаться, залпом выпил стакан и налил второй.

– Теперь я могу подождать, – угрюмо произнес он, –

но ты, все-таки поживее.

Джо не заставил себя уговаривать, и они выпили вместе.

– Доконало-таки? – сказал Джо.

Но Мартин не пожелал вступить в обсуждение этого вопроса.

– Я же тебе говорил, что это ад, а не работа, – продолжал Джо. – Мне, по правде сказать, не нравится, что ты сдал позиции, Март. А в общем, к чёрту! Выпьем.

Мартин пил молча, отрывисто заказывал все новые и новые бутылки и приводил в трепет бармена – деревенского паренька, похожего на девушку, с голубыми глазами и волосами, расчесанными на прямой ряд.

– Это прямо свинство, так загонять людей на работе, – говорил Джо, – если бы я не напивался, я уже давно подпалил бы это заведение. Их счастье, что я пью, ей-богу.

Но Мартин ничего не ответил. Еще два-три стакана, и пьяный угар начал обволакивать его мозг. Ах! Он почувствовал дыхание жизни – впервые за эти недели. Его мечты вернулись к нему. Фантазия вырвалась из темной каморки и взлетела на сверкающие высоты. Экран его воображения стал вновь светлым и серебристым, и яркие видения замелькали, обгоняя друг друга. Прекрасное и необычайное шло с ним рука об

руку, он снова все знал и все мог. Он хотел объяснить все это Джо, но у Джо были свои мечты – о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином большой паровой прачечной.

– Да, Март, дети не будут у меня работать, это уж вы мне поверьте. Ни под каким видом. И после шести часов вечера – ни живой души во всей прачечной. Слышишь? Машин будет много, и рабочих рук будет тоже много, чтобы все кончалось в свое время. А тебя, Март, я сделаю своим помощником. План у меня вот какой. Бросаю пить, начинаю копить деньги и через два года…

Но Мартин не слушал, предоставив Джо излагать свои мечты бармену, пока того не отозвали новые посетители – два местных фермера. Мартин с королевской щедростью угостил их и всех, кто был в трактире, – нескольких батраков, помощника садовника и конюха из гостиницы, самого бармена и еще какого-то бродягу, который проскользнул в кабачок как тень, и маячил у дальнего конца стойки.

Глава 18

В понедельник утром Джо с руганью бросил первую партию белья в стиральную машину.

– Вот я и говорю… – начал он.

– Отстань! – зарычал на него Мартин.

– Прости, Джо, – сказал он, когда они сели обедать.

У Джо слезы навернулись на глаза.

– Ладно, старина, – отвечал он, – мы живем в аду, так мудрено ли иной раз окрыситься. А только я тебя за это время полюбил, ей-богу. Оттого-то мне и было немножко обидно. Я как-то сразу привязался к тебе.

Мартин пожал ему руку.

– Бросим все к чёрту, – предложил Джо, – пойдем бродяжничать. Я никогда не пробовал, но это, должно быть, здорово. Подумай только: ничего не делать! Я раз в тифу провалялся в больнице, так даже вспомнить приятно. Хоть бы опять заболеть.

Шли недели. Гостиница была полна, и тонкого белья поступало все больше и больше. Они проявляли чудеса мужества, работали до полуночи, при электрическом свете, сократили время еды, начинали работать еще до завтрака. Мартин больше не принимал холодных ванн: не хватало времени. Джо заботливо распоряжался минутами, никогда не терял ни одной,

считал их, как скряга считает золото; работал яростно, неистово, как машина, в постоянном контакте с другой машиной, которая была некогда человеком по имени Мартин Иден.

Мартину редко приходилось думать. Обитель мысли была заперта, окна заколочены, а сам он был лишь сторожем-призраком у ворот этой обители. Да, он стал призраком. Джо был прав. Они оба были призраками в царстве нескончаемого труда. А может быть, все это был только сон? Иногда, водя тяжелыми утюгами по белоснежной ткани, в клубах горячего пара, Мартин убеждал себя, что все это на самом деле только сон. Быть может, очень скоро, а быть может, через тысячу лет он проснется снова в своей маленькой комнатке за столом, запачканным чернилами и возобновит прерванную накануне работу. А может быть, и то было сном, и он проснется, чтобы сменить вахту, и, соскочив со своей койки, выйдет на палубу и встанет к штурвалу под усеянным звездами тропическим небом, и свежее дыханье пассата будет холодить ему кожу.

Опять наступила суббота, и в три часа работа была кончена.

– Не пойти ли выпить стаканчик пива? – спросил Джо равнодушным голосом, потому что им уже овладело праздничное безразличие.

Но Мартин как будто проснулся. Он привел в порядок велосипед, смазал колеса, проверил руль и вычистил передачу. Джо сидел в трактире, когда Мартин промчался мимо, низко пригнувшись к рулю, ритмически нажимая ногами на педали, глядя вперед, на пыльную дорогу, по которой предстояло ему проехать семьдесят миль. Он переночевал в Окленде, а в воскресенье приехал обратно и принялся в понедельник за работу, усталый, но зато с приятным сознанием, что на этот раз не был пьян.

Прошла пятая неделя, за нею шестая, а он все жил и работал, как машина, и только в глубине его души сохранялась какая-то маленькая искорка, заставлявшая его в конце каждой недели совершать на велосипеде стосорокамильный путь. Но это не было отдыхом. Это было тем же напряжением машины, и, в конце концов, в душе Мартина погасла даже та последняя искорка, которая оставалась от его былой жизни. В конце седьмой недели, не пытаясь даже сопротивляться, он отправился в деревню вместе с Джо и опять «вкусил жизни» и жил до понедельника.

Однако в следующую субботу он снова проехал семьдесят миль, прогоняя оцепенение, вызванное усталостью, другим оцепенением, вызванным еще большей усталостью. И только в конце третьего месяца он в третий раз отправился в деревню вместе с

Джо. Забывшись, он снова начал жить, а начав жить, как при внезапной вспышке молнии увидал, каким он стал животным, – не потому, что пил, а потому, что так работал. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно следовало за работой с такой же закономерностью, с какою ночь следует за днем. Став вьючным животным, никогда не достигнешь светлых высот; виски внушило ему эту мысль, и он согласился с нею. Виски проявило великую мудрость. Оно открыло ему важную истину.

Мартин велел подать себе бумагу и карандаш, заказал виски для всей компании, и, пока все пили за его здоровье, он, прислонясь к стойке, написал что-то на бумаге.

– Телеграмма, Джо, – сказал он, – прочти-ка. – Джо стал читать с глупой, пьяной усмешкой. Но то, что он прочел, вдруг отрезвило его. Он с упреком посмотрел на Мартина, и слезы заблестели у него на глазах.

– Ты меня бросаешь, Март? – спросил он печально. Мартин утвердительно кивнул головой и, подозвав какого-то мальчишку, велел ему сбегать на телеграф.

– Стой! – заплетающимся языком выговорил Джо. – Я хочу обмозговать кое-что.

Он ухватился за стойку, чтобы не упасть, а Мартин обнял его рукой и поддерживал, пока тот не собрался с мыслями.

– Напиши, что оба работника уходят, – внезапно выпалил Джо. – Пиши.

– Но почему же ты-то уходишь? – спросил Мартин.

– Потому же, почему и ты.

– Я отправляюсь в плавание, а ты не можешь.

– Верно, – отвечал Джо, – но я стану бродягой. Это очень даже отлично.

Мартин с минуту испытующе смотрел на него и, наконец, воскликнул:

– Ей-богу, ты прав! Лучше быть бродягой, чем вьючным животным. По крайней мере будешь жить. А до сих пор у тебя жизни не было.

– Была, – поправил его Джо, – я раз лежал в больнице.

Пока Мартин изменял текст телеграммы, Джо продолжал:

– Когда я лежал в больнице, мне совсем не хотелось пить. Чудно, а? Но, когда я всю неделю работаю, как лошадь, я должен напиться под конец. Все знают, что повара пьют, как черти… и пекари тоже… Работа такая. Стой! Я плачу половину за телеграмму.

– Ладно, сочтемся, – сказал Мартин.

– Эй, все сюда, я угощаю! – крикнул Джо, высыпая на стойку деньги.

В понедельник утром Джо был охвачен волнением. Он не обращал внимания на головную боль и не ин-

тересовался работой. Немало было потеряно драгоценных минут, дока он сидел и беспечно глазел в окна, любуясь солнцем и деревьями.

– Посмотрите! – кричал он. – Ведь это все мое. Это свобода! Я могу лежать под деревьями и проспать хоть тысячу лет, если захочу. Пошли, Март. Плюнем на все. Ну их к чёрту! Чего нам ждать! Впереди страна безделья, и туда я теперь возьму билет, – только не обратный.

Несколько минут спустя, наполняя стиральную машину бельем, Джо увидел рубашку хозяина гостиницы, он знал его метку. И в упоении вновь обретенной свободы кинул рубашку на пол и начал топтать ее ногами.

– Я бы хотел, чтобы это была твоя морда, жирный чёрт! – кричал он. – На тебе! Получай! Вот! Вот! Вот тебе! Пусть-ка кто-нибудь удержит меня тут. Пусть попробует!..

Мартин, смеясь, пытался его образумить. Во вторник вечером явились два новых работника, и до конца недели Джо и Мартин были заняты тем, что приучали их ко всем порядкам. Джо сидел и давал наставления, но сам ничего не делал.

– Дудки! – объявил он. – Я и пальцем не пошевелю. Пускай увольняют раньше срока, а я все-таки не пошевелю пальцем. Я работать кончил. Буду разъез-

жать в товарных вагонах и спать под деревьями. Эй вы, работнички! Нажимайте! Потейте! Потейте, чёрт вас возьми! А когда вы околеете, то сгниете так же, как и я сгнию; – и не все ли равно, как вы жили? А? Ну, скажите мне на милость, не все ли равно в конце концов?

В субботу они получили расчет и вместе пошли до перекрестка.

– Ты, конечно, со мной не пойдешь, не стоит и уговаривать? – спросил Джо с видом полной безнадежности.

Мартин отрицательно покачал головой. Он приготовился уже сесть на велосипед. Они пожали друг другу руки, и Джо, удержав на мгновение руку Мартина, сказал:

– Мы с тобой еще увидимся на этом свете, Март. Такое у меня предчувствие. Прощай, Март, будь счастлив. Я тебя люблю, ей богу люблю!

Он беспомощно стоял посреди дороги, глядя вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом.

– Славный малый, – пробормотал он, – очень славный.

Потом он побрел вдоль дороги к водоему, где под откосом лежало полдюжины бродяг, ожидая товарного поезда.

Глава 19

Руфь со всей своей семьей уже вернулась в Окленд, и Мартин снова стал встречаться с нею. Получив ученую степень, она перестала учиться, а он, израсходовав на работе всю жизненную энергию души и тела, перестал писать. Это давало им возможность чаще видеться, и они еще больше сблизились.

Сначала Мартин только отдыхал и ничего не делал. Он много спал, много думал, вообще жил как человек, постепенно приходящий в себя после сильного потрясения. Первым признаком пробуждения был интерес к газете, который стал понемногу обнаруживаться в нем. Потом он начал снова читать, сначала стихи и беллетристику, но прошло еще несколько дней, и он с головой погрузился в давно забытого Фикса. Его изумительное здоровье помогло ему восстановить утраченную было жизненную силу, и он вновь обрел весь пыл и задор молодости.

Руфь была крайне огорчена, когда Мартин сообщил ей, что отправится в плавание, как только вполне отдохнет.

– Зачем? – спросила она.

– Деньги нужны, – отвечал он, – мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги и терпение –

лучшее оружие в этой борьбе.

– Но если вам нужны только деньги, почему же вы не остались в прачечной?

– Потому что прачечная превращала меня в животное. Такая работа ведет к пьянству.

Она посмотрела на него с ужасом.

– Вы хотите сказать… – начала она.

Он мог бы легко скрыть от нее правду, но его натура не терпела лжи, да к тому же ему вспомнилось его давнее решение всегда говорить правду, к чему бы это ни вело.

– Да, – отвечал он, – несколько раз случалось. – Руфь вздрогнула и отодвинулась от него.

– Ни с кем из моих знакомых этого не случается.

– Вероятно, никто из них не работал в прачечной «Горячих Ключей», – возразил он с горьким смехом. – Трудиться подобает всем и каждому, труд полезен человеку – это говорят проповедники; и, видит бог, я никогда не ленился работать. Но все хорошо в меру. А в прачечной этой меры не было. Потому-то я и решил отправиться в плавание. Это будет мой последний рейс. А вернувшись, я сумею одолеть издателей. Я уверен в этом.

Руфь молчала, грустная и недовольная, и Мартин чувствовал, что ей не понять всего, что он пережил.

– Когда-нибудь я опишу все это в книге, которая бу-

дет называться «Унижение труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или что-нибудь в этом роде.

Никогда еще, если не считать первых дней знакомства, они не были так далеки друг от друга. Его откровенная исповедь, за которой таился дух возмущения, оттолкнула Руфь. Но самое это отдаление поразило ее куда больше, чем причина, его вызвавшая. Руфь только теперь почувствовала, как близки они были до сих пор друг другу, и ей захотелось еще большей близости. В душе ее возникали невинные мечты – об исправлении Мартина. Она хотела спасти этого юношу, сбившегося с дороги, спасти от окружающей среды, спасти от него самого, хотя бы против его воли. Ей казалось, что ею руководят отвлеченные и благородные побуждения, и она не подозревала, что за всем этим таится лишь ревность и желание любви.

В ясные осенние дни они часто уезжали на велосипедах далеко за город и там, на своих любимых холмах, читали друг другу благородные, возвышенные поэтические произведения, располагавшие к возвышенным мыслям. Самопожертвование, терпение, трудолюбие – вот принципы, которые косвенным образом старалась внушить ему Руфь, оглядываясь на пример своего отца, мистера Батлера и Эндрю Карнеги, который из бедного мальчика-иммигранта превра-

тился в «короля книг», снабжающего весь мир.

Все эти старания Руфи были оценены Мартином. Он теперь гораздо лучше понимал ее мысли, и ее душа не была уже для него запечатана семью печатями. Они беседовали и делились мыслями, как равный с равным. Но возникавшие при этом разногласия не влияли на любовь Мартина. Его любовь была сильнее, чем когда бы то ни было, потому что он любил Руфь такой, какой она была, и даже ее физическая хрупкость придавала ей в его глазах особое очарование. Он читал о болезненной Елизавете Баррет, которая много лет не касалась ногами земли, пока, наконец, не наступил тот памятный день, когда она бежала с Броунингом и твердо встала на землю под открытым небом. Мартин решил, что он может сделать для Руфи то, что Браунинг сделал для своей возлюбленной. Но прежде всего Руфь должна его полюбить. Все остальное уже просто. Он даст ей здоровье и силу. Он часто мечтал о их будущей совместной жизни. Он видел себя и Руфь среди комфорта и благосостояния, созданного трудом. Они читают и говорят о поэзии. Она полулежит среди множества пестрых подушек и читает ему вслух.

Всегда ему рисовалась одна и та же картина-символ всей их жизни. Иногда не она, а он читал, обняв ее за талию, причем ее головка покоилась у него на

плече; иногда они сидели, прижавшись друг к другу, и молча читали одну и ту же книгу. Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина позволяло ему менять декорацию, на фоне которой происходила эта излюбленная им сцепа. То они читали, сидя в долине, окруженной высокими отвесными скалами, то это была зеленая горная лужайка или же серые песчаные дюны, близ которых рокочут морские полны; порою он видел себя вместе с него где-нибудь на вулканическом острове, под тропиками, где с грохотом низвергаются водопады и брызги их долетают до моря, подхваченные порывами ветра. И всегда на фоне этих красот природы неизменно появлялись Мартин и Руфь, склоненные над книгой, а сама природа была оттенена вторым фоном, нежным и туманным, – картиной труда и успеха и материальной обеспеченности, позволявшей им наслаждаться всеми сокровищами мира.

– Я бы посоветовала моей девочке быть поосторожней, – сказала однажды мать Руфи предостерегающим тоном.

– Я знаю, о чем ты говоришь, но это невозможно. Он не…

Руфь смутилась и покраснела: это было смущение девушки, впервые заговорившей о священных тайнах жизни с матерью, которая для нее так же священна.

– Он не ровня тебе, – докончила мать ее фразу. Руфь кивнула головой.

– Я не хотела этого сказать, но это так. Он очень груб, неотесан, силен… он слишком силен. Он жил не…

Она смутилась и не могла продолжать. Слишком ново было для нее говорить с матерью о подобных вещах. И снова мать договорила за нее:

– Он жил не вполне добродетельной жизнью. Ты это хотела сказать?

Руфь опять кивнула, и румянец залил ее щеки.

– Да, я как раз это хотела сказать. Это, конечно, не его вина, но он часто вел себя…

– Нехорошо?

– Да. И он пугает меня. Мне иногда просто страшно слышать, как он спокойно говорит о своих самых безобразных поступках. Как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь так нельзя. Правда?

Они сидели обнявшись, и когда Руфь умолкла, мать ласково погладила ее руку, ожидая, чтобы дочь снова заговорила.

– Но он меня очень интересует, – продолжала Руфь, – во-первых, он в некотором роде мой подопечный. А потом… у меня никогда не было друзей среди молодых людей, – хотя он не совсем друг. Он и друг и подопечный одновременно. Иногда, когда он пугает

меня, мне кажется, что я словно играю с бульдогом, большим таким бульдогом, который рычит и скалит зубы и вот-вот готов сорваться с цепи.

Опять Руфь умолкла, а мать ждала.

– У меня и интерес к нему, как… как к бульдогу. Но в нем очень много хорошего, а много и такого, что мне мешало бы… ну, относиться к нему иначе. Ты видишь, я думала обо всем этом. Он ругается, курит, пьет, он дерется на кулаках, – он сам рассказывал мне об этом и даже говорил, что любит драться. Это совсем не такой человек, какого я бы хотела иметь… – Ее голос осекся, и она докончила тихо: – своим мужем. А кроме того, он уж очень силен. Мой возлюбленный должен быть тонок, строен, изящен, волосы у него должны быть черные. Нет, не бойся, я не влюблюсь в Мартина Идена, это было бы для меня самым большим несчастьем.

– Я не об этом говорю, – уклончиво сказала мать, – но думала ли ты о нем? Такой человек во всех отношениях для тебя не подходит… что, если он полюбит тебя?

– Но он… он давно меня любит! – вскричала Руфь.

– Этого надо было ожидать, – ласково сказала миссис Морз. – Разве тот, кто тебя знает, может не полюбить тебя?

– Вот Ольнэй меня ненавидит! – пылко воскликну-

ла она. – И я ненавижу Ольнэя. Когда он подходит ко мне, я становлюсь, как кошка, мне хочется царапаться; я сознаю, что противна ему, – во всяком случае он противен мне. А с Мартином Иденом мне хорошо. Меня еще никто не любил – «так» не любил. А ведь приятно быть любимой «так». Ты понимаешь, милая мама, что я хочу сказать? Приятно чувствовать себя настоящей женщиной… – Руфь спрятала лицо на груди у матери. – Я знаю, я ужасно дурная, но я по крайней мере откровенно говорю то, что чувствую.

Миссис Морз была и огорчена и обрадована. Дочь – бакалавр изящных искусств исчезла; перед ней сидела дочь – женщина. Опыт удался. Странный пробел в характере Руфи был заполнен, и заполнен безопасно и безболезненно. Этот неуклюжий матрос выполнил свою функцию, и хотя Руфь не любила его, он все же пробудил в ней женщину.

– У него руки дрожат, – говорила Руфь, стыдливо пряча лицо, – это смешно и нелепо, но мне жаль его. А когда руки его дрожат слишком сильно, а глаза сверкают слишком ярко, я читаю ему наставления и указываю на все его ошибки. Он боготворит меня, я знаю. Его руки и глаза не лгут. А меня это как будто делает взрослой – даже самая мысль об этом. Я начинаю чувствовать, что у меня есть что-то, принадлежащее мне по праву, и я становлюсь похожей на других деву-

шек… и… и… молодых женщин. Я знаю, что раньше я не была на них похожа, я это тревожило тебя. То есть ты не показывала мне своей тревоги, но я замечала… и я хотела, как говорит Мартин Иден, «стать лучше».

Это были святые минуты и для матери и для дочери, и глаза их были влажны в вечерних сумерках. Руфь – невинная, откровенная и неопытная; мать – любящая, понимающая и поучающая.

– Он на четыре года моложе тебя, – сказала она, – у него нет положения в свете. Он нигде не служит и не получает жалованья. Он очень непрактичен. Если он тебя любит, он должен был бы подумать о том, что дало бы ему возможность и право жениться на тебе, а не забавляться какими-то рассказами и детскими мечтами. Боюсь, он никогда и не сделается взрослым. У него нет стремления, занять свое настоящее место в жизни, подобающее мужчине, – как было у твоего отца, у мистера Батлера, и вообще у всех людей нашего круга. Мартин Иден, мне кажется, никогда не будет зарабатывать деньги. А мир так устроен, что деньги необходимы: без них не бывает счастья – о, я не говорю о каком-нибудь огромном состоянии, но просто о твердом доходе, дающем возможность прилично существовать. Он никогда не говорил о своих чувствах?

– Ни одного слова. Он даже не пытался; да я бы и не дала ему говорить. Ведь я его вовсе не люблю.

– Я рада этому. Я бы не хотела, чтобы моя дочь, моя чистая девочка, полюбила такого человека. Ведь есть на свете много людей благородных, порядочных и чистых. Подожди немного. В один прекрасный день ты встретишь такого человека и полюбишь его, и он полюбит тебя. Ты будешь счастлива с ним так, как я была счастлива с твоим отцом. Об одном ты должна всегда помнить…

– Да, мама?

Голос миссис Морз сделался тихим и нежным:

– О детях.

– Я думала об этом, – призналась Руфь, вспомнив непрошенные мечты, овладевавшие ею подчас, и снова покраснела от стыда.

– Мистер Иден не может быть твоим мужем именно из-за детей, – многозначительно произнесла миссис Морз. – Они должны унаследовать чистую кровь, а это он едва ли сможет передать им. Твой отец рассказывал мне о жизни матросов, и… и ты понимаешь?

Руфь с волнением сжала руку матери, чувствуя, что все понимает, хотя то страшное и смутное, что ей представлялось, никак не могло принять форму четкой и определенной мысли.

– Ты знаешь, мама, я ничего не сделаю, не поговорив с тобой, – начала она, – только иногда ты должна сама спрашивать меня – ну, вот так, как сегодня. Я

давно уже хотела сказать тебе об этом, а как начать – не знала. Это, конечно, ложный стыд, но тебе ведь так легко помочь мне! Иногда ты должна спрашивать меня, давать мне возможность высказаться. Ты тоже ведь женщина, мама! – вскричала вдруг Руфь, схватив мать за руки и радостно ощущая это новое, еще неосознанное равенство между ними. – Я бы никогда не думала так, если б ты не начала этого разговора. Нужно было мне сперва почувствовать себя женщиной, чтобы понять, что и ты женщина тоже.

– Мы обе женщины, – сказала мать, обнимая и целуя ее. – Мы обе женщины, – повторила она, когда они выходили из комнаты, обнявшись, взволнованные вновь возникшим ощущением товарищеской близости.

– Наша маленькая девочка стала, наконец, женщиной, – час спустя с гордостью объявила миссис Морз своему мужу.

– То есть ты хочешь сказать, что она влюблена? – спросил тот, вопросительно посмотрев на жену.

– Нет, я хочу сказать, что она любима, – отвечала та с улыбкой. – Опыт удался. В ней проснулась женщина.

– Тогда надо отвадить Идена, – кратко, деловым тоном заключил мистер Морз.

Но его жена покачала головой:

– Нет надобности: через несколько дней он отправляется в плавание. А когда он вернется, Руфи здесь не будет. Мы пошлем ее к тете Кларе. Ей будет очень полезно провести год на востоке, повидать других людей, другую жизнь, переменить климат, обстановку.

Глава 20

Желание писать снова охватило Мартина. Идеи рассказов, стихотворений беспрестанно рождались в его мозгу, и он делал беглые наброски, чтобы когда-нибудь, в будущем, использовать их. Но писать не писал. Это были его каникулы, и он решил посвятить их любви и отдыху, – что удалось вполне. Жизненная энергия вернулась к нему, и каждый раз при встрече с ним Руфь вновь поддавалась могучему действию его здоровья и силы.

– Будь осторожна, – предостерегающе сказала ей однажды мать, – не слишком ли ты часто видишься с Мартином Иденом?

Но Руфь лишь улыбнулась в ответ. Она была слишком уверена в себе, да к тому же через несколько дней он должен был уйти в плавание. А когда он вернется, она будет уже далеко на востоке. И все-таки в силе и здоровье Мартина таилось необычайное очарование.

Мартин знал о ее предполагаемой поездке на восток и понимал, что надо торопиться. Но он совершенно не представлял себе, как подойти к девушке, подобной Руфи. Весь его прежний опыт только затруднял положение. Женщины и девушки, с которыми он привык иметь дело, были совсем другие. У них были

ясные представления о любви, ухаживании, флирте, а Руфь ничего этого не знала. Ее необычайная невинность ошеломляла его, лишала дара речи, невольно внушала мысль о том, что он ее недостоин. Было и еще одно обстоятельство, немало его смущавшее. Он сам еще ни разу не любил до сих пор. Бывало, что женщины нравились ему, иными он даже увлекался, но все это отнюдь нельзя было назвать любовью. Просто ему стоило небрежно, по-хозяйски, свистнуть – и они сдавались. Это было для него минутной забавой, случайностью, элементом сложной игры, из которой состоит жизнь мужчины, – и притом второстепенным элементом. А теперь, в первый раз, он был робок, смущен, застенчив. Он не знал, как приступить, что говорить, теряясь перед безмятежной чистотой своей возлюбленной.

В своих скитаниях по пестрому, без конца изменяющемуся миру Мартин научился одному мудрому правилу: играя в незнакомую игру, никогда не делать первого хода. Это правило тысячу раз оправдало себя на деле; к тому же оно развивало наблюдательность. Мартин научился ориентироваться, соразмерять свои силы, выжидать, пока обнаружится слабое место противника. Так и в кулачном бою он всегда старался нащупать у противника слабое место. А тогда уже опыт помогал ему бить по этому месту, и бить наверняка.

И теперь, с Руфью, он тоже выжидал, желая и не решаясь заговорить о своей любви. Он боялся оскорбить ее и не был уверен в себе. Но он выбрал правильный путь, сам того не подозревая. Любовь явилась в мир раньше членораздельной речи, и в своей ранней юности она усвоила приемы и способы, которых никогда уже не забывала. Именно этими первобытными способами Мартин добивался благосклонности Руфи. Сначала он делал это бессознательно и лишь впоследствии осознал свои поступки и понял истину. Прикосновение его руки к ее руке было красноречивее любых слов, непосредственное ощущение его силы действовало сильнее, чем строчки и рифмы, сильнее, чем пламенные излияния сотен поколений влюбленных. Словесные объяснения затронули бы прежде всего разум Руфи, тогда как прикосновение руки, мимолетная близость действовали непосредственно на таившийся в ней инстинкт женщины. Разум ее был юным, как она сама. Но инстинкт ее был стар, как человечество, и даже еще старше. Он родился в те давние времена, когда родилась сама любовь, и силе его древней мудрости уступали все тонкости и ухищрения позднейших веков. И потому разум Руфи молчал. Она не обращалась к нему сама, не отдавая себе отчета в том магическом воздействии, которое Мартин оказывал на ее душу, истомившуюся по

любви. Что Мартин любит ее, было ясно, как день, и Руфь наслаждалась проявлениями его любви – блеском глаз, дрожанием рук, краской, то и дело заливающей его щеки. Иногда Руфь даже как будто разжигала Мартина, но делала это так робко и так наивно, что ни он, ни она сама не замечали этого. Она трепетала от радостного сознания своей женской силы и, подобно Еве, наслаждалась, играя с ним и дразня его.

А Мартин молчал, потому что не знал, как заговорить, и потому, что чувства, переполнявшие его, были слишком сильны, – молчал и продолжал искать выход в несмелых и безыскусных попытках сближения. Прикосновение его руки доставляло ей удовольствие, и даже нечто большее, чем простое удовольствие. Мартин не знал этого, но он чувствовал, что не противен ей. Правда, они пожимали друг другу руки, только здороваясь и прощаясь, но очень часто пальцы их сталкивались, когда они брались за велосипеды, передавали друг другу книжку или вместе листали ее. Случалось не раз, что ее волосы касались его щеки или что она на миг прижималась к нему плечом, склоняясь над понравившимся местом в книге. Руфь мысленно смеялась над теми странными чувствами, которые при этом охватывали ее: иногда, например, ей хотелось потрепать его волосы; а он, в свою очередь, страстно желал, устав от чтения, положить голо-

ву ей на колени и с закрытыми глазами мечтать о будущем. Сколько раз, бывало, во время воскресных пикников Мартин клал свою голову на колени какой-нибудь девушке и спокойно засыпал, предоставляя ей защищать его от солнца и влюбленно глядеть на него, удивляясь его величественному равнодушию к любви. Положить голову девушке на колени всегда представлялось Мартину самым простым делом в мире, а теперь, глядя на Руфь, он понимал, что это невозможно и немыслимо. Но именно сознание этой невозможности и сдержанность, им обусловленная, незаметно для самого Мартина, вели его к цели. Благодаря этой сдержанности он ни разу не возбудил в Руфи тревоги. Неопытная и застенчивая, она не замечала, какое опасное направление начинают принимать их встречи. Ее бессознательно влекло к нему, а он, чувствуя растущую близость, хотел и не мог решиться.

Но однажды Мартин решился. Придя к Руфи, он застал ее в комнате со спущенными шторами; она пожаловалась на сильную головную боль.

– Ничего не помогает, – сказала она в ответ на его расспросы. – А порошки мне запретил принимать доктор Холл.

– Я вас вылечу без всякого лекарства, – отвечал Мартин, – я не уверен, конечно, но если хотите, можно попробовать. Это самый простой массаж. Меня на-

учили ему в Японии. Ведь японцы – первоклассные массажисты. А потом я видел, как то же самое, только с некоторыми изменениями, делают и гавайцы. Они называют этот массаж «ломи-ломи». Он иногда действует гораздо лучше всякого лекарства.

Едва его руки коснулись ее лба, Руфь уже сказала со вздохом:

– Как хорошо.

Через полчаса она спросила его:

– А вы не устали?

Вопрос был излишен, ибо она знала, какой последует ответ. И Руфь, впав в полудремотное состояние, подчинилась ему. Целительная сила истекала из его пальцев, отгоняя боль, – так по крайней мере ей казалось. Наконец боль настолько утихла, что Руфь спокойно уснула, а Мартин удалился.

Вечером она позвонила ему по телефону.

– Я проспала до вечера, – сказала она, – вы меня совершенно вылечили, мистер Иден; не знаю, как и благодарить вас.

Мартин от радости и смущения едва находил слова для ответа, а в его мозгу все время плясало воспоминание о Броунинге и Елизавете Баррет. Что сделал Броунинг для своей возлюбленной, может сделать и он – Мартин Иден – для Руфи Морз. Вернувшись в свою комнату, он лег на постель и принялся за спен-

серовскую «Социологию». Но чтение не шло ему на ум. Любовь всецело завладела его мыслями, и вскоре, сам не заметив как, он очутился у своего столика, забрызганного чернилами. И сонет, написанный им в этот вечер, был первым из цикла пятидесяти «Сонетов о любви», написанных в течение двух следующих месяцев. Он писал при самых благоприятных обстоятельствах для создания великого произведения, – писал, вдохновляемый любовью.

Те часы, в которые он не виделся с Руфью, Мартин посвящал «Сонетам о любви» и чтению у себя дома или в библиотеке, где он внимательно изучал текущие номера журналов, стараясь проникнуть в тайну издательского выбора. Те часы, которые Мартин проводил с Руфью, были одинаково полны надежд и неопределенности. Через неделю после того как Мартин излечил Руфь от головной боли, Норман предложил прокатиться в лунную ночь на лодке по озеру Меррит, а Артур и Ольнэй охотно поддержали этот план. Никто, кроме Мартина, не мог управлять лодкой, а потому его и попросили взять на себя обязанности капитана. Руфь села рядом с ним на корме, а трое молодых людей, разместившись на средних скамьях, завели нескончаемый спор о каких-то своих делах.

Луна еще не взошла, и Руфь, глядя на звездное небо и не обмениваясь ни одним словом с Мартином,

вдруг почувствовала одиночество. Она взглянула на него. Порыв ветра слегка накренил лодку, и он, держа одной рукой румпель, а другой гроташкот, слегка изменил направление, стараясь обогнуть выступающий берег. Мартин не замечал ее взгляда, и она внимательно смотрела на него, размышляя о странной прихоти, которая побуждает его, юношу незаурядных способностей, тратить время на писание рассказов и стихов, не возвышающихся над уровнем посредственности.

Ее взгляд скользнул по его могучей шее, смутно обрисовавшейся при свете звезд, по его красиво посаженной голове, и знакомое желание – обвить руками его шею – снова овладело ею. Та самая сила, которая казалась ей неприятной, в то же время влекла ее. Чувство одиночества усилилось, и Руфь ощутила усталость. Качание лодки раздражало ее, и она вспомнила, как он вылечил ее от головной боли одним своим прикосновением. Мартин сидел рядом с нею, совсем рядом, и лодка, накреняясь, как бы толкала ее к нему. И Руфи вдруг захотелось прильнуть к мощной груди Мартина, найти в нем опору – и, прежде чем она осознала это желание, она уже клонилась, подчиняясь ему. Может быть, это случилось из-за качки? Руфь не знала этого. Она и не узнала никогда. Она знала лишь, что прижалась к нему, что ей теперь хо-

рошо и спокойно. Даже если во всем была виновата качка, Руфь все же не хотела отодвинуться от Мартина. Она прижалась к нему и продолжала прижиматься даже тогда, когда он переменил позу, чтобы ей было удобнее сидеть.

Это было безумием с ее стороны, но ей не хотелось в это вдумываться. Она уже не была прежней Руфью, она была женщиной, и женская потребность опоры говорила в ней; правда, она только слегка прижалась к Мартину, но потребность была удовлетворена. Ее усталости как не бывало. Мартин молчал. Он боялся рассеять чары. Его сдержанность и робость помогали ему молчать, но голова у него кружилась и мысли путались. Он никак не мог понять, что случилось. Это было слишком чудесно, это не могло случиться наяву. Он с трудом преодолевал желание выпустить шкот и румпель и сжать ее в объятиях. Но он инстинктивно чувствовал, что это испортило бы все дело, и мысленно благодарил судьбу за то, что у него заняты руки. Однако он сознательно замедлил ход лодки, без зазрения совести отпуская парус, чтобы подольше затянуть галс. Он знал, что при перемене галса ему придется пересесть, и их близость будет нарушена. Все это он проделывал опытной рукой, не возбуждая в спорщиках ни малейшего подозрения. Он благословлял всю свою трудную матросскую жизнь за то,

что она дала ему это уменье подчинять своей воле море, лодку и ветер и теперь позволяла продлить эту близость с любимой в чудесную лунную ночь.

Когда первый луч луны озарил их жемчужным сиянием, Руфь отодвинулась от Мартина и, отодвигаясь, почувствовала, что и он сделал то же. Им обоим хотелось скрыть все от других. Это должно было остаться их тайной. Руфь сидела теперь в стороне, с пылающими щеками, с ужасом думая о том, что произошло. Она сделала что-то такое, в чем не могла бы признаться ни братьям, ни Ольнэю. Как могла она решиться? Никогда еще этого с ней не было, хотя она много раз каталась в лунные ночи на лодке с молодыми людьми. У нее даже желаний таких не появлялось. Ей было стыдно и страшно этой пробуждающейся женственности. Она поглядела украдкой на Мартина, который в этот момент был занят поворотом лодки, и готова была возненавидеть его за то, что он побудил ее совершить такой необдуманный к бесстыдный поступок, именно он – Мартин Иден! Быть может, ее мать в самом деле права, и они слишком часто видятся. Руфь тут же твердо решила, что это никогда более не повторится, а в дальнейшем она постарается реже встречаться с ним. У нее даже явилась нелепая мысль солгать ему, вскользь сказать как-нибудь при случае, что ей сделалось дурно в лодке перед восхо-

дом луны. Но тут она вспомнила, как они отодвинулись друг от друга перед лицом обличительницы-луны, и поняла, что Мартин ей не поверит.

Все последующие дни Руфь была сама не своя; она перестала анализировать свои чувства, перестала думать о том, что с ней происходит и что ее ждет, точно в лихорадке она прислушивалась к тайному зову природы, то страшному, то чарующему. Но у нее было одно твердое решение, которое придавало ей уверенности: не дать Мартину заговорить о любви. Пока он молчит, все обстоит благополучно. Через несколько дней он уйдет в море. А впрочем, если он и заговорит, все равно ничего не случится. Ведь она-то не любит его. Конечно, на какие-нибудь полчаса это доставит немало мучений ему и немало затруднений ей, так как ей впервые придется выслушать объяснение в любви. От одной этой мысли сердце ее сладко забилось. Она стала настоящей женщиной, и мужчина добивается ее руки. Все женское в ней готово было откликнуться на зов. Трепет охватил все ее существо, одна и та же мысль назойливо кружилась в голове, как мотылек над огнем, Руфь зашла так далеко, что уже представляла себе, как Мартин делает ей формальное предложение: она вкладывала слова в его уста, а сама по нескольку раз повторяла свой отказ, стараясь по возможности смягчить его,

призывая на помощь присущее Мартину благородное мужество. Прежде всего он должен бросить курить. На этом она будет особенно настаивать. Но нет, нет, она совсем не разрешит ему говорить о любви. Это в ее власти, и она обещала это своей матери. Краснея и вся дрожа, Руфь с сожалением отгоняла недозволенные мечты. Придется отложить ее первое любовное объяснение до более подходящего времени и до встречи с более достойным претендентом.

Глава 21

Наступили чудесные дни, теплые и полные неги, какие часто бывают в Калифорнии в пору бабьего лета, когда солнце словно окутано дымкой и слабый ветерок едва колеблет задумчивый воздух. Легкий пурпуровый туман, словно сотканный из цветных нитей, лежал у подножья холмов, а на их вершинах дымным пятном раскинулся город Сан-Франциско. Посредине блестел залив, словно полоса расплавленного металла, и на нем кое-где белели паруса судов, то неподвижных, то медленно скользящих по течению. Вдалеке, в серебристом тумане, высился Тамалпайс, Золотые Ворота узкой тропкой протянулись в лучах заходящего солнца, а за ними синел Великий океан, туманный и безмерный, окаймленный на горизонте густыми белыми облаками – предвестниками надвигающейся зимы.

Лету пора было уходить. Но оно все еще медлило здесь, среди холмов, сгущая багряные краски долин, и под дымчатым саваном усталости и пресыщения умирало спокойно и тихо, радуясь, что жило, и что жизнь его была плодотворна. И среди этих осенних холмов сидели Мартин и Руфь, совсем рядом, склонив головы над страницами книги; он читал вслух, а

она слушала стихи любви, написанные женщиной, которая любила Броунинга так, как умеют любить лишь немногие женщины.

Но чтение подвигалось медленно. Слишком сильны были чары угасающей красоты в природе. Золотая пора года умирала так, как жила, – прекрасной и нераскаявшейся грешницей, и казалось, самый воздух вокруг был напоен истомой сладких воспоминаний. Эта истома проникала в кровь Мартина и Руфи, лишала их воли, обволакивала радужным туманом рассудок и нравственные принципы. Мартин поддавался пьянящей слабости, и по временам огонь пробегал по его жилам. Их головы совсем сблизились, и когда от случайного порыва ветра волосы Руфи касались его щеки, печатные строчки начинали расплываться у него перед глазами.

– По-моему, вы не слышите того, что читаете, – сказала Руфь, когда он вдруг сбился, потеряв место, которое читал.

Мартин поглядел на нее горящими глазами, но, не выдав себя, ответил:

– И вы тоже не слушаете. О чем говорилось в последнем сонете?

– Не знаю, – засмеялась она. – Я уже забыла. Не стоит больше читать. Уж очень хорош день.

– Нам сегодня долго не придется гулять, – сказал он

серьезно, – вон там, на горизонте, собирается буря.

Книга выскользнула из его рук и они молча сидели, глядя на дремлющий залив мечтательными, невидящими глазами. Руфь мельком взглянула на шею Мартина. Какая-то сила, более властная, чем закон тяготения, могучая, как судьба, вдруг повлекла ее. Всего на один дюйм ей надо было склониться, чтобы коснуться плечом его плеча, и это случилось помимо ее воли. Она коснулась его так легко, как бабочка касается цветка, и тут же почувствовала ответное прикосновение, такое же легкое, почувствовала, как его плечо прижалось к ней и как дрожь прошла по всему его телу. Ей надо было отодвинуться в эту минуту. Но она уже не повиновалась себе. Все, что она делала, делалось автоматически, без участия ее воли, да она и не заботилась уже ни о чем, охваченная радостным безумием.

Рука Мартина нерешительно протянулась и обняла ее стан. Она ждала с мучительным наслаждением, ждала, сама не зная чего; губы ее горели, сердце стучало, кровь обращалась все быстрей. Объятие Мартина стало крепче, он медленно и нежно привлекал ее к себе. Она не могла больше ждать. Она судорожно вздохнула и безотчетным движением уронила голову к нему на грудь Мартин быстро наклонился, и губы их встретились.

Это, должно быть, любовь, подумала Руфь, когда на один миг к ней вернулось сознание. Если это не любовь, это слишком постыдно. Конечно, это могла быть только любовь. Она любила этого человека, руки которого обнимали ее, а губы прижимались к ее губам. Она прильнула к нему еще крепче, инстинктивным, прилаживающимся движением, и вдруг, почти вырвавшись из его объятий, решительно и самозабвенно обхватила руками загорелую шею Мартина Идена. И так сильна, так остра была радость удовлетворенного желания, что в следующее мгновение с тихим стоном она разжала руки и почти без чувств поникла в его объятиях.

Еще долго не было сказано ни одного слова. Дважды он наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу, и тело инстинктивно искало уютной, покойной позы. Она была не в силах оторваться от него, и Мартин молча сидел, держа ее в объятиях и устремив невидящий взгляд на огромный город по ту сторону залива. На этот раз никакие видения не возникали перед ним. Он видел только краски и яркие лучи, жаркие, как этот чудесный день, горячие, как его любовь. Он склонился к ней; она заговорила.

– Когда вы полюбили меня? – спросила она шепотом.

– С первого дня, с самого первого раза, как только

я вас увидел. Еще тогда полюбил, и с тех пор с каждым днем любил все сильнее. А теперь еще сильнее люблю, дорогая. Я совсем сошел с ума. У меня голова кружится от счастья.

– Мартин… дорогой. Как я рада, что я женщина, – сказала она, глубоко вздохнув.

Он снова крепко сжал ее в объятиях, потом тихо спросил:

– А вы, когда вы поняли впервые?

– О, я поняла это давно, почти сразу!

– Значит, я был слеп, как летучая мышь! – вскричал Мартин, и в его голосе прозвучала досада. – Я догадался об этом только теперь, когда поцеловал вас.

– Я не то хотела сказать.

Она слегка отодвинулась и взглянула на него.

– Я поняла уже давно, что вы меня любите.

– А вы? – спросил он.

– Мне это открылось как-то вдруг. – Она говорила очень тихо, глаза ее затуманились, щеки порозовели. – Я не понимала до тех пор, пока вы не обняли меня. И я никогда не думала, что могу выйти за вас замуж, Мартин. Чем вы приворожили меня?

– Не знаю, – улыбнулся он. – Разве только своей любовью. Моя любовь могла бы растопить камень, а не то что сердце живой женщины.

– Это так все не похоже на любовь, как я ее себе

представляла, – задумчиво произнесла она.

– Как же вы себе ее представляли?

– Я не думала, что она такая.

Она секунду смотрела в его глаза и потом сказала, потупившись:

– Я совсем ничего не понимала.

Ему снова захотелось привлечь Руфь к себе, но он медлил, боясь испугать ее, и только рука, обнимавшая ее, невольно чуть дрогнула. Тогда она сама потянулась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе.

– Но что скажут мои родители? – спросила она вдруг с внезапной тревогой.

– Не знаю. Но это нетрудно узнать, как только мы пожелаем.

– А если мама не согласится? Я ни за что не решусь сказать ей об этом.

– Давайте я скажу, – храбро предложил он. – Мне почему-то кажется, что ваша мать меня не любит, но это ничего, я сумею покорить ее. Тот, кто покорил вас, может покорить кого угодно. А если это не удастся…

– Что тогда?

– Мы все равно не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит.

– Я боюсь разбить ее сердце, – задумчиво сказала

Руфь.

Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так-то легко разбиваются, но вместо этого произнес:

– Ведь любовь самое великое, что есть в мире!

– Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя! Я еще никого не любила!

– И я тоже. Мы оба дети. И мы очень счастливы. Ведь наша первая любовь оказалась взаимной!

– Но этого не может быть, – вскричала она вдруг, высвобождаясь из его рук быстрым, порывистым движением, – не может быть, чтобы вы… Ведь вы были матросом, а матросы, я знаю…

Ее голос осекся.

– Привыкли иметь жен в каждом порту, – закончил он за нее, – вы это хотели сказать?

– Да, – тихо отвечала она.

– Но ведь это же не любовь, – возразил он авторитетным тоном. – Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали.

– Как забрали?

– Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян.

Я был и в самом деле пьян… от любви!

– Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети, а я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.

– Но я же вам ответил, что никого раньше не любил, – возразил он, – вы моя первая, моя самая первая любовь.

– А все-таки вы были матросом, – настаивала она.

– И тем не менее полюбил я вас первую.

– Да, но ведь были женщины… другие женщины…

О! – и, к великому удивлению Мартина, она вдруг залилась слезами, так что понадобилось немало поцелуев, чтобы успокоить ее.

Мартину невольно пришли на память слова Киплинга: «Но, знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны».

Он подумал, что в сущности это верно, хотя романы, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим романам он составил себе представление, что в высшем обществе единственный путь к женщине – формальное предложение. В том кругу, из которого он вышел, для девушек и юношей объятия и ласки были обыкновенным делом. Но среди утонченных представителей высшего класса подобные способы выражения любви казались ему невозможными. Значит, романы лгали. Он только что получил этому дока-

зательство. Одни и те же безмолвные ласки производят одинаковое впечатление и на бедных работниц и на девушек высшего общества. Несмотря на внешнее несходство, они «во всем остальном равны». Он мог бы и сам додуматься до этого, если бы вспомнил Герберта Спенсера. И, утешая Руфь ласками и поцелуями, Мартин с удовольствием останавливался на мысли о том, что знатная леди и Джуди О'Греди в сущности равны во всем. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее. Ее прекрасное тело было все же тело, как и всякое другое. Ничего невозможного не было в их браке. Классовое различие оставалось единственным различием между ними, но и оно было, в конце концов, чисто внешним. Им можно было пренебречь. Читал же Мартин об одном римском рабе, который возвысился до пурпурной тоги. Раз это было, почему же и ему не возвыситься до Руфи? Под оболочкой чистоты, непорочности, культуры и душевного изящества в ней скрывалась обыкновенная женская природа, такая же, как у Лиззи Конолли и у всех Лиззи Конолли на свете. Все, что было возможно для них, было возможно и для нее. Она могла любить, ненавидеть; с нею, вероятно, случались истерики; наконец она могла ревновать, уже ревновала, думая о его недавних портовых любовницах.

– А кроме того, я старше вас, – вдруг сказала она,

взглянув ему в глаза, – я старше вас на четыре года.

– И все-таки вы дитя. А по житейскому опыту я старше вас на двадцать четыре года, – возразил Мартин.

В действительности оба они были детьми во всем, что касалось любви; и по-детски, неумело и наивно, выражали свои чувства, – несмотря на ее университетский диплом и ученую степень и несмотря на его философские познания и суровый жизненный опыт.

Они сидели, озаренные сиянием меркнущего дня, разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные; дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела их, и твердо верили, что любят так, как никто еще никогда не любил на свете. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь воскресить свои впечатления друг о друге, стараясь точно восстановить, что они тогда подумали и почувствовали.

Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете, и Руфь запела: «Прощай, счастливый день». Она пела, положив голову ему на плечо, и ее руки были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.

Глава 22

Даже если бы миссис Морз не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, как только взглянула на Руфь. Красноречивее всяких слов, был румянец, заливавший ее щеки, и блестящие глаза, отражавшие радость и победное ликование.

– Что случилось? – спросила миссис Морз, дождавшись, пока Руфь легла в постель.

– Ты догадалась? – спросила в свою очередь Руфь дрожащим голосом.

Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам.

– Он ничего не сказал! – воскликнула Руфь. – Я совсем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не позволила ему говорить, – но он ничего не сказал.

– Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло случиться.

– И все-таки случилось.

– Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь! – произнесла миссис Морз. – В чем дело? Что такое случилось?

Руфь с изумлением посмотрела на мать.

– Я думала, что ты уже догадалась, – сказала она. –

Мы с Мартином жених и невеста.

Миссис Морз разразилась смехом, в котором слышались недоверие и досада.

– Но он ничего не сказал, – продолжала Руфь. – Он просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова. Он просто обнял меня, и я… я совсем потеряла голову. Он поцеловал меня, и я его поцеловала… Я не могла иначе. Я должна была его поцеловать. И тут, я поняла, что люблю его.

Руфь умолкла, ожидая, что мать ее поцелует, но миссис Морз хранила зловещее молчание.

– Конечно, это ужасно, я понимаю, – начала Руфь упавшим голосом. – Я не знаю, сможешь ли ты простить меня. Но я не могла иначе. Я до той минуты не подозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом отцу.

– А может быть, лучше ничего не говорить отцу? Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова.

– Нет, нет! – вскричала Руфь с живостью. – Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так хорошо. Я выйду за него замуж, – конечно, если вы мне позволите.

– У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь милая… нет, нет, нет, ты не думай, что мы те-

бе кого-нибудь навязываем. Но просто мы хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, всеми уважаемого, которого ты сама выберешь, когда полюбишь.

– Но ведь я уже люблю Мартина, – жалобно возражала Руфь.

– Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор; но ты наша дочь, и мы не можем спокойно позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Он не может даже обеспечить тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене; и наша дочь должна выйти замуж за человека с будущим, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает кого еще. К тому же он необыкновенно легкомысленный человек, и у него нет никакого чувства ответственности.

Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду.

– Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высокообразованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу. А у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала – и я знаю, ты согласишься со мной, – что у него нет

чувства ответственности. Да и откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить не считая, и это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дела. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распущенной, – она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак?

Руфь вздрогнула и прижалась к матери.

– Я думала… – Руфь надолго замолчала, подыскивая слова. – Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я сознаю, что моя любовь – большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собой. Могла ты не полюбить папу? И со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне – и до сегодняшнего дня я не понимала этого, – но что-то есть, что заставляет меня любить его. Я никак не думала, что полюблю его, а вот – полюбила, – заключила она с оттенком торжества в голосе.

Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и, в конце концов, они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая.

С этим решением согласился час спустя и мистер Морз, после того как жена призналась ему в неожиданном результате, к которому привела ее хитрость.

– Иначе и быть не могло, – заявил мистер Морз, –

ведь, кроме этого грубого матроса, она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый… Ясно, что она немедленно влюбилась в него, или по крайней мере, вбила себе это в голову, что, в конце концов, одно и то же.

Миссис Морз сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не мог и думать о женитьбе.

– Пусть себе видится с ним сколько хочет, – решил мистер Морз. – Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете. А потом, в конце концов, – он просто мальчишка. Ведь ему всего двадцать один год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность, и со временем она пройдет.

На том и порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне надеялись, что это и не понадобит-

ся. Само собою разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу; ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидных занятий.

– Не знаю, одобрите ли вы мои начинания, – сказал Мартин Руфи несколько дней спустя. – Я решил, что жить у сестры мне не по карману, и хочу устроиться самостоятельно. Я уже снял комнату в Северном Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку – буду сам себе готовить.

Руфь пришла в восторг. Особенно, ей понравилась керосинка.

– Вот и мистер Батлер с этого начал, – сказала она. Мартин слегка нахмурился при упоминании имени достопочтенного джентльмена и продолжал:

– Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня примусь за работу.

– Вы поступили на службу! – вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку. – Что же вы мне ничего не сказали! Что это за служба?

Но Мартин отрицательно качнул головой.

– Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать. – Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжал: – Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание, и я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал, а если и писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это, впрочем, тоже относится к моим размышлениям, – читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которое я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне, – вернее, к моим писаниям, а также и к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого – размышлений, чтения и любви к вам: я решил сделаться литературным ремесленником. На время забуду о шедеврах, и буду писать всякий вздор: фе-

льетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику, – вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же литературные агентства, которые поставляют материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц четыреста, а то и пятьсот долларов. Я не собираюсь уподобляться им; но во всяком случае я заработаю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения – чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я продвинулся. Когда я в первый раз попробовал писать, я просто описывал разные происшествия, но никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я бы мог мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и увеличил свой словесный запас, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего я раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи: я написал «Приключение», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде, и даже гораздо лучше, но

я буду заниматься этим лишь в свободное время. Я теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером, специально чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников, а когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать себя на шуточных куплетах, и в какой-нибудь час я написал целых четыре штуки. Можно получить по доллару за штуку. Заработать четыре доллара между делом, ложась спать, – право, это не так уж и плохо. Конечно, работа эта сама по себе не имеет никакой ценности. Она скучна и однообразна, но не скучнее ведения конторских книг и складывания бесконечных цифр за шестьдесят долларов в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи.

– Но какой смысл писать эти *настоящие вещи*, эти шедевры? – спросила Руфь. – Ведь вы же не можете продать их?

– Не скажите… – начал он. Она перебила его:

– Из всего того, что вы перечислили и что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает.

– Ну, так мы поженимся в расчете на куплеты, кото-

рые будут покупать все, – упрямо сказал он и обнял ее. Но Руфь на этот раз не была расположена к ласкам.

– Вот, послушайте, – намеренно весело сказал он, – это не искусство, но это доллар:

Меня не было дома,
Когда мой знакомый
За свечкой ко мне зашел
Меня не было дома.

И мой знакомый
Был на меня очень зол
Теперь я дома.
Но мой знакомый
Уже ушел.

Веселый, приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно.

– Может быть, за это и дадут доллар, – сказала она, – но это доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас. Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора.

– Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Батлера? – спросил Мартин.

– Я знаю, – сказала она, – что мистер Батлер вам не по душе.

– Мистер Батлер прекрасный человек, – перебил он. – В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем стучать на машинке или потеть над конторскими книгами? И то и другое лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал с корпенья над книгами и, в конце концов, сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом. А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем.

– Тут есть разница, – настаивала Руфь.

– В чем же?

– Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего.

– Дайте мне время, дорогая, – сказал Мартин умоляюще. – Эта работа – только паллиатив. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и все мои произведения пойдут нарасхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя и прекрасно знаю, на что я способен. Я знаю, что такое литература, и знаю, какой дрянью

ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду идти по широкой дороге к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне скучным, мелочным, тупым делом. Во всяком случае, я к ней не подхожу. Мне никогда не пойти дальше простого клерка, а разве мы можем быть счастливы, живя на ничтожное конторское жалованье? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете, и добьюсь во что бы то ни стало. Добьюсь! Знаменитый писатель своими заработками даст десять очков вперед всякому мистеру Батлеру. Знаете ли вы, что книга, которая «пошла», может дать автору пятьдесят тысяч долларов, а то и все сто. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше, но в среднем около этого.

Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения.

– Плохо ли? – спросил он.

– У меня были совсем другие надежды и планы. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше всего было бы научиться стенографии – писать на машинке вы умеете – и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.

Глава 23

Мартин не стал меньше любить и уважать Руфь после того, как она проявила такое недоверие к его писательскому дару. За время своих «каникул» Мартин очень много думал о себе и анализировал свои чувства. Он окончательно убедился, что красота была для него дороже славы и что прославиться ему хотелось лишь для Руфи. Ради нее он так настойчиво стремился к славе. Он мечтал возвеличиться в глазах мира, чтобы любимая женщина могла гордиться им и счесть его достойным.

А сам Мартин настолько любил красоту, что находил достаточное удовлетворение в служении ей. Но Руфь он любил еще больше. Любовь казалась ему прекраснее всего в мире. Не она ли произвела в его душе этот великий переворот, сразу превратив его из неотесанного матроса в мыслителя и художника? Что ж удивительного, что любовь представлялась ему выше и наук и искусств. Мартин начинал уже сознавать, что в области мысли он сильней Руфи, сильней ее братьев, сильней ее отца. Несмотря на все преимущества университетского образования, несмотря на свое звание бакалавра изящных искусств, Руфь не могла и мечтать о таком понимании мира, искусства,

жизни, каким обладал Мартин после одного года занятий самоучкой.

Все это он знал, но это отнюдь не влияло ни на его любовь к ней, ни на ее любовь к нему. Любовь была слишком прекрасным, слишком благородным чувством, и Мартин, как истый влюбленный, считал невозможным оскорблять его критикой. Какое дело любви до взглядов Руфи на искусство, на французскую революцию или на всеобщее голосование? Все это относится к рассудку, а любовь выше рассудка. Мартин не мог унижать любовь, потому что он боготворил ее. Любовь для него обитала на недосягаемых горных вершинах, высоко над долинами разума. Она была квинтэссенцией существования, высшей точкой напряжения жизни и не всякому выпадала на долю. Благодаря учению любимых им философов Мартин знал биологическое значение любви, но, продолжая развивать для себя их основное положение, он пришел к выводу, что именно в любви человеческий организм вполне оправдывает свое назначение, а потому любовь должна приниматься без всяких оговорок, как высшее – нет, высочайшее благо жизни. Влюбленный представлялся Мартину каким-то высшим существом, отмеченным благодатью, и ему приятен был образ «юноши, одержимого любовью», для которого уже не имеют цены все земные блага – богатство, зна-

ния, успех, – не имеет цены сама жизнь, ибо он «в поцелуе умереть готов».

Мысли подобного рода приходили Мартину в голову и раньше, до многого же он додумался лишь теперь. Но все это время он не переставал работать, ведя спартанский образ жизни и позволяя себе отвлекаться от занятий лишь для того, чтобы повидаться с Руфью. За комнату, которую он снимал у португалки по имени Мария Сильва, он платил в месяц два с половиной доллара. Португалка, особа довольно сварливого нрава, была вдовой и неустанно трудилась, чтобы прокормить многочисленных детишек, заливая подчас свое горе бутылкой кислого вина, покупаемого в соседнем погребке за пятнадцать центов. Сначала Мартин возненавидел ее, в особенности его раздражал ее язык, но потом он начал восхищаться упорством, с каким она вела тяжкую борьбу за существование. В домике было всего четыре маленькие комнатки, и одну из них занял Мартин. Другая комната служила гостиной, ей придавал веселый вид пестрый половик, покрывавший пол, но фотография одного из умерших малюток в гробу вносила скорбную ноту. Гостиная предназначалась только для гостей, ставни в ней всегда были затворены, и босоногая команда допускалась туда лишь в особо торжественных случаях. Португалка стряпала на кухне, там же все семей-

ство ело, и там же она стирала, гладила, трудилась не покладая рук изо дня в день, кроме воскресенья. Она стирала на соседей, и это служило главным источником ее дохода. Спальня была так же мала, как и комната, занимаемая Мартином, и в ней ютилась она сама и семеро ребятишек. Мартину казалось совершенно необъяснимым, как они там все размещались, по вечерам он слышал за тонкой перегородкой их возню, визг и писк, напоминавший чириканье птенцов. Другим источником дохода Марии были две коровы, которых она доила утром и вечером и которые паслись на пустыре или контрабандой пощипывали травку, растущую по обочинам дороги. Два оборванных мальчугана, дети хозяйки, пасли коров, – иными словами, зорко смотрели, чтобы они не попались на глаза полицейским.

В своей тесной каморке Мартин спал, учился, писал, думал, занимался хозяйством. Перед единственным окном, выходящим на крыльцо, стоял кухонный стол, который служил и письменным столом, и библиотекой, и подставкой для пишущей машинки. Кровать, поставленная у задней стены, занимала две трети комнаты. Рядом со столом стояла шифоньерка, которую, видно, изготовляли, заботясь больше о прибыли, чем об удобствах потребителя; покрывающий ее тонкий слой фанеры весь покоробился. Ши-

фоньерка эта стояла в одном углу, а в другом была кухня – ящик из-под мыла, на котором стояла керосинка, а внутри хранилась посуда и кухонные принадлежности, на стене полка для провизии, и рядом ведро с водой; в комнате не было водопроводного крана, и Мартину приходилось ходить за водой на кухню. Над кроватью Мартин повесил велосипед. Сначала он попытался оставлять его внизу, но ребятишки тотчас испортили шины, и велосипед пришлось для сохранности перетащить в комнатку и подвесить к потолку.

В маленьком стенном шкафу висела одежда и лежали книги, которые не помещались уже ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин имел обыкновение делать заметки, и их накопилось так много, что пришлось протянуть через всю комнату веревки и развесить на них тетрадки, наподобие сохнущего белья. Вследствие этого передвигаться по комнате стало довольно затруднительно. Он не мог отворить двери, не затворив предварительно дверцу шкафа, и наоборот. Пройти через комнату по прямой линии нельзя было нигде. Чтобы от двери дойти до кровати, надо было совершить сложный зигзагообразный путь, и в темноте Мартин всегда на что-нибудь натыкался. Благополучно миновав входную дверь и дверцу шкафа, приходилось круто забрать вправо, чтобы не наткнуться на кухонный ящик; потом повернуть влево,

огибая кровать, причем малейшее отклонение от курса грозило столкновением со столом. Закончив этот маневр, можно было войти в канал, одним берегом которого являлся стол, а другим кровать. Но когда единственный стул стоял на своем месте, перед столом, этот канал становился непроходимым. Когда стул не был в употреблении, он стоял на кровати; впрочем, Мартин нередко стряпал сидя, так как, пока кипела вода или жарилось мясо, он успевал прочесть две-три страницы. Угол, занимаемый кухней, был так мал, что Мартин мог, не вставая со стула, достать все необходимое. Стряпать сидя было даже удобнее; стоя, Мартин все время сам себе загораживал свет.

Мартин знал очень много блюд, питательных и дешевых в одно и то же время, а его могучий желудок переваривал все что угодно. Основой его питания был гороховый суп, картофель и крупные коричневые бобы, приготовленные по мексиканскому способу. Рис, сваренный так, как не сумела бы сварить ни одна американская хозяйка, появлялся на столе непременно хоть раз в день. Вместо масла Мартин ел с хлебом сушеные фрукты, которые были в два раза дешевле свежих. Иногда он разнообразил стол куском мяса или супом из костей. Два раза в день он пил кофе без сливок или молока, а вечером пил чай; но и тот и другой напиток были приготовлены артистически.

Мартину приходилось поневоле быть расчетливым. Его каникулы поглотили почти все, что он заработал в прачечной, а свои «хлебные» произведения он отправил так далеко, что ответ мог прийти лишь через несколько недель. Он жил затворником и нарушал свое уединение лишь для того, чтобы навестить сестру или повидаться с Руфью. Работал он за троих. Спал по-прежнему всего пять часов, и только его железное здоровье давало ему возможность выносить ежедневное девятнадцатичасовое напряжение труда. Мартин не терял ни одной минуты. На зеркале он вывесил листочки с объяснениями некоторых слов и с обозначением их произношения: когда он брился или причесывался, он повторял эти слова. Такие же листочки висели над керосинкой, и он заучивал их, когда стряпал или мыл посуду. Одни листки все время сменялись другими. Встретив при чтении непонятное слово, он немедленно лез в словарь и выписывал слово на листочек, который вывешивал на стене или на зеркальце. Листочки со словами Мартин носил и в кармане и заглядывал в них на улице или дожидаясь своей очереди в лавке.

В этой работе Мартин не остановился на полпути. Читая произведения авторов достигнувших успеха, он отмечал все особенности их стиля, изложения, освещения событий, характерные выражения, срав-

нения, эпиграммы – одним словом, все, что могло способствовать их успеху. И все это он выписывал и изучал. Он не стремился к механическому подражанию. Он только искал каких-то общих принципов. Он составлял длинные списки искусственных литературных приемов, подмеченных у разных писателей, что позволяло ему делать общие выводы о природе литературного приема, и, отталкиваясь от них, он вырабатывал собственные, новые и оригинальные приемы, и учился применять их с тактом и мерой. Точно так же он собирал и записывал удачные и красочные выражения из обыденной речи, – выражения, которые жгли, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, яркими пятнами выделяясь среди унылой пустыни обывательской болтовни. Мартин всегда и везде искал принципов, лежащих в основе явления. Он старался понять, как явление создается, чтобы иметь возможность самому создавать его. Он не довольствовался созерцанием дивного лика красоты; в своей тесной каморке, наполненной кухонным чадом и криками хозяйских ребятишек, он, как химик в лаборатории, старался разложить красоту на составные части, понять ее строение. Это должно было помочь ему творить красоту.

По своей природе Мартин мог работать только сознательно. Он не мог работать, как слепой во мраке,

не зная, что выходит из-под его рук, полагаясь только на случай и на звезду своего таланта. Случайные удачи не удовлетворяли его. Он хотел знать «как» и «почему». У него был ясный, логический ум, и, приступая к рассказу или стихотворению, Мартин уже ясно представлял себе конец и держал в голове план всего произведения. Без этого его попытки были обречены на неудачу. С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и комбинациям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин преклонялся с восхищением, понимая, что они созданы некоей высшей творческой силой, лежащей вне пределов человеческого разумения. И, исследуя красоту и стараясь доискаться до основ, ее составляющих, Мартин помнил, что есть в ней что-то сокровенное, куда не проникал еще ни один человек, как бы велик он ни был. Он знал, хотя бы из сочинений Спенсера, что конечной сущности вещей человек не в силах постигнуть и тайна красоты столь же недостижима, как и тайна жизни, – может быть, даже еще непостижимее; что красота и жизнь удивительным образом сплетаются между собою, а сам человек – частица этого сплетения солнечных лучей, звездной пыли и еще чего-то

неведомого.

Под влиянием этих мыслей Мартин написал однажды статью, озаглавленную «Звездная пыль», в которой он нападал не на принципы критики вообще, а на приемы различных критиков. Это было блестящее, глубокомысленное произведение, исполненное изящества и юмора. Впрочем, и оно было отклонено журналами так же быстро, как было написано. Но Мартин, освободившись от беспокоивших его мыслей, продолжал идти своей дорогой. Он давно уже приучил себя прежде всего всесторонне, хорошенько обдумать идею произведения и только после этого садиться за машинку. Его не слишком огорчало, что ни одна его строчка до сих пор не была напечатана. Писание было для него заключительным звеном сложного умственного процесса, последним узлом, которым связывались отдельные разрозненные мысли, подытоживанием накопившихся фактов и положений. Написав статью, он освобождал в своем мозгу место для новых идей и проблем. В конце концов, это было нечто вроде присущей многим привычки периодически «облегчать свою душу словами» – привычки, которая помогает иногда людям переносить и забывать подлинные или вымышленные страдания.

Глава 24

Шли недели. У Мартина подходили к концу последние деньги, а издательских чеков все не было. Большие рассказы возвращались обратно, не лучше обстояло дело и с произведениями «доходными». Разнообразные кушанья уже не готовились на маленькой кухне, так как у Мартина оставалось всего с полмешка рису и сушеные абрикосы, которыми он и питался в течение пяти дней. Потом он решил прибегнуть к кредиту. Лавочник-португалец перестал отпускать провизию, как только долг Мартина достиг внушительной суммы в три доллара и восемьдесят пять центов.

– Потому что, – сказал лавочник, – у вас нет работа. Как вы мне будэт заплатить?

Мартин ничего не мог на это возразить. Рассуждения лавочника были вполне логичны. Разве можно было открывать кредит молодому здоровому малому из рабочих, «по лени» не желающему искать работы.

– Достанэт монэт – будет обэд, – говорил лавочник, – нэт монэт, нэт обэд. Такая дела…

И чтобы доказать Мартину, что тут нет личного предубеждения, португалец прибавил:

– Давай выпэй. Одна стакана. Я угощай. Ты друг, я друг.

И Мартин выпил стаканчик в подтверждение дружбы и лег спать, не поужинав.

Овощи Мартин покупал в другой лавке, и хозяин, американец, будучи менее тверд в своих коммерческих принципах, довел кредит Мартина до пяти долларов, после чего тоже прекратил отпуск товара в долг. Булочник остановился на двух долларах, а мясник – на четырех. Сложив все свои долги, Мартин исчислил свой кредит в четырнадцать долларов и восемьдесят пять пенсов. Подошел уже срок платежа и за пишущую машинку, но Мартин решил, что два месяца вполне сможет пользоваться ею в долг, что составит еще восемь долларов. Когда пройдет и этот срок, все кредитные возможности будут исчерпаны.

Последним его приобретением в овощной лавке был мешок картофеля, и целую неделю Мартин ел один картофель по три раза в день. Время от времени он обедал у Морзов и этим поддерживал немного свои силы, хотя, глядя на множество расставленных на столе яств и из вежливости отказываясь от лишнего куска, он испытывал танталовы муки. Иногда, поборов стыд, Мартин отправлялся в обеденное время к своей сестре и там ел столько, сколько осмеливался, – впрочем, все-таки больше, чем у Морзов.

День за днем продолжал он все так же упорно работать, и день за днем почтальон приносил ему от-

вергнутые рукописи. У него уже не было больше денег на марки, и возвращенные рукописи грудой валялись под столом. Наступил такой день, когда у него сорок часов не было куска во рту. На обед у Морзов он не мог рассчитывать, так как Руфь на две недели уехала гостить в Сан-Рафаэль, а пойти к сестре ему мешал стыд. В довершение бед почтальон принес ему пять рукописей сразу. Тогда Мартин взял свое пальто, дошел в Окленд и через некоторое время вернулся домой уже без пальто, но с пятью долларами в кармане. Каждому из лавочников он уплатил по доллару, и в его кухне опять зашипело поджариваемое с луком мясо, закипел кофе и появился большой горшок сушеных слив. Пообедав, Мартин сел за стол, и в полночь у него была уже готова новая статья, под названием «Сила ростовщичества». Кончив писать, он швырнул рукопись под стол, потому что от пяти долларов уже ничего не оставалось: купить марок было не на что.

Мартин заложил часы, а через несколько дней спустя заложил велосипед; сэкономив на провизии, он накупил марок и снова разослал все свои рукописи, «Доходные» произведения обманули ожидания Мартина. Никто не покупал их. Сравнивая их с тем, что печаталось в ежедневных и еженедельных изданиях, он по-прежнему находил, что сам пишет гораздо лучше. А все-таки он не мог продать ни одной строчки.

Решив заняться так называемой «хроникой», он отправил несколько заметок в одну ассоциацию, поставлявшую в газеты подобный материал, но получил его обратно вместе с печатным бланком, в котором говорилось, что ассоциация организует материал силами штатных сотрудников.

В одном журнале для юношества он увидел целые столбцы анекдотов и маленьких рассказиков. Вот еще способ заработать деньги! Но и тут он потерпел полную неудачу, все ему было, по обыкновению, возвращено. Впоследствии, когда Мартин уже не нуждался в этом, он узнал, что обычно сотрудники редакции сами поставляют такой материал, чтобы увеличить свой заработок. Юмористические еженедельники возвращали все его шутки и стишки; не находили сбыта и стихотворные фельетоны, которые Мартин посылал в крупные журналы. Оставался еще газетный фельетон. Мартин прекрасно знал, что может написать гораздо лучше, чем то, что печатается, и, узнав адрес двух литературных агентов, завалил их маленькими рассказиками. Но, написав двадцать и не пристроив ни одного, Мартин перестал писать. И тем не менее, изо дня в день, он читал десятки рассказов и фельетонов, которые не выдерживали никакого сравнения с его попытками в этом жанре. Доведенный до отчаяния, он решил, наконец, что, загипнотизированный

своими произведениями, потерял всякое критическое чутье и способность здраво судить о своем творчестве.

Бесчеловечная «издательская машина» продолжала свою работу. Мартин наклеивал марки на пакеты с рукописями, опускал их в почтовый ящик, а недели три-четыре спустя почтальон звонил у дверей и возвращал ему рукописи. Очевидно, и в самом деле никаких живых людей по указанным адресам не было. Были просто хорошо слаженные, смазанные маслом автоматы. Впав в полное отчаяние, Мартин начал вообще сомневаться в существовании редакторов. Ни один еще не подал признака жизни, а то обстоятельство, что все им написанное неизменно отвергалось без объяснений, как будто подтверждало ту мысль, что редактор – миф, созданный и поддерживаемый усилиями наборщиков, метранпажей и газетчиков.

Часы, которые Мартин проводил у Руфи, были единственными счастливыми часами в его жизни, да и то не всегда. Тревога, постоянно владевшая им, стала еще мучительнее после того, как Руфь открыла ему свою любовь, потому что сама Руфь оставалась такой же недостижимой, как и прежде. Мартин просил ее подождать два года, но время шло, а он ничего еще не добился, и, кроме того, Руфь, видимо, не одобряла его занятий. Она, правда, не говорила этого прямо,

зато косвенно старалась дать почувствовать достаточно определенно. Она не возмущалась, она именно не одобряла, хотя женщина менее кроткого нрава, наверняка, возмутилась бы тем, что ей доставляло только одно огорчение. Ее огорчало, что человек, которого она решила перевоспитать, не поддается перевоспитанию. Вначале он показался ей довольно податливым материалом, но потом вдруг заупрямился и не пожелал походить ни на мистера Морза, ни на мистера Батлера.

Самого достойного и значительного в Мартине она не замечала или, что еще хуже, не понимала. Этого человека, настолько гибкого, что он мог приспособляться к любым формам человеческого существования, Руфь считала просто упрямым и своенравным, потому что не могла перекроить его по своей мерке – единственной, которую знала. Она не могла следовать за полетом его мысли, и, когда он достигал высот, ей недоступных, она просто считала, что он заблуждается. Мысли ее отца, матери, братьев и даже Ольнэя ей всегда были понятны; и потому, не понимая Мартина, она считала, что в этом его вина. Повторялась исконная трагедия одиночки, пытающегося внушить истину миру.

– Вы привыкли благоговеть перед всем, что признано достойным поклонения, – сказал однажды Мартин,

поспорив с Руфью о Прапсе и Вандеруотере. – Я согласен, что это надежные и устойчивые авторитеты, их считают лучшими литературными критиками Соединенных Штатов. Каждый школьный учитель смотрит на Вандеруотера как на вождя американской критики. Но я его прочел, и мне он показался прекрасным образцом блестящего пустословия. И Прапс не лучше. «Хемлок Моссес», конечно, написан превосходно. Ни одной запятой нельзя выкинуть, а общий тон – ах, какой торжественный тон! Зато ему лучше всех и платят. Но, да простит мне господь эту дерзость, он, собственно, вообще не критик. В Англии лучше умеют критиковать. Все дело в том, что наши критики все время играют на популярных мотивах, и они звучат у них и благородно, и высоконравственно, и возвышенно. Их критические статьи напоминают мне воскресные проповеди. Они всячески поддерживают ваших профессоров английской филологии, а те за это поддерживают их И ни одной оригинальной идеи не гнездится у них под черепной коробкой. Они знают только то, что общепризнано, а вдобавок они и сами общепризнаны. Все утвердившиеся идеи приклеиваются к ним так же легко, как этикетки к пивным бутылкам. И главная их обязанность состоит в том, чтобы вытравить из университетской молодежи всякую оригинальность мышления и заставить мыслить по опре-

деленному трафарету.

– Мне кажется, – возразила Руфь, – что я ближе к истине, придерживаясь общепринятого, чем вы, нападая на авторитеты, как дикарь на священные изображения.

– Сами же миссионеры низвергали священные изображения дикарей, – засмеялся Мартин, – но, к сожалению, все миссионеры разъехались по языческим странам и у нас не осталось ни одного, который помог бы низвергнуть мистера Вандеруотера и мистера Прапса.

– А заодно и всех университетских профессоров, – прибавила она.

Он сделал отрицательный жест.

– Нет. Ученые должны оставаться. Они действительно делают дело. Но из профессоров английской филологии – этих попугайчиков с микроскопическими мозгами – девять десятых не вредно было бы выгнать вон.

Столь суровое отношение к профессорам казалось Руфи просто кощунственным. Она невольно сравнивала степенных, элегантно одетых профессоров, говорящих размеренным голосом, дышащих утонченной культурой, с этим невозможным человеком, которого она почему-то любила, вчерашним матросом в дурно сидящем костюме, со стальными мускулами,

напоминающими о грубом физическом труде. Руфь раздражало то необыкновенное возбуждение, с которым Мартин говорил во время споров, иногда совершенно теряя самообладание. Профессора, по крайней мере, получали хорошее жалованье и были – да, этого нельзя было не признать – настоящими джентльменами, тогда как Мартин не мог заработать ни одного пенса, и даже теперь мало походил на джентльмена.

Руфь даже не находила нужным обдумывать аргументы Мартина. Что они были ложны, ясно было само собой, из сопоставления некоторых внешних признаков. Профессора, несомненно, были правы в своих суждениях, ибо они добились успеха в жизни, а Мартин ложно судил о литературе уже потому, что не мог продать ни одного своего произведения. Говоря его языком, у них «вышло», а у него не выходило. И разве мог он судить правильно о литературе, – он, который еще так недавно стоял посреди этой самой комнаты, красный от смущения, неуклюжий, озираясь в страхе, как бы не уронить какой-нибудь безделушки, спрашивая, давно ли умер «Свайнберн» и глупо хвастаясь, что читал «Excelsior» и «Псалом жизни».

Таким образом, Руфь сама подтверждала свое преклонение перед авторитетами. Мартин отлично понимал ее мысли, но не желал слишком в них вдумывать-

ся. Он любил ее независимо от ее отношения к Прапсу, Вандеруотеру и профессорам английской филологии, но он все больше убеждался, что существуют области мышления, для нее совершенно недоступные, о существовании которых она даже и не подозревает.

Руфь в свою очередь считала, что Мартин ничего не понимает в музыке, а суждения его об операх она находила не только неверными, но намеренно парадоксальными.

– Вам поправилось? – спросила однажды Руфь, когда они возвращались из оперы.

В этот вечер, после целого месяца суровой экономии на пище, он позволил себе пойти с ней в театр. Тщетно прождав, чтобы Мартин сам заговорил о спектакле, который произвел на Руфь сильное впечатление, она, наконец, решила спросить его.

– Мне очень понравилась увертюра, – отвечал он, – это было превосходно.

– Да, но самая опера?

– Опера тоже, то есть оркестр, разумеется. Но было бы еще лучше, если бы эти шуты гороховые стояли на месте или вовсе бы ушли со сцены.

Руфь была ошеломлена.

– Вы говорите о Тетралани и Барильо? – спросила она.

– И о них… и вообще обо всей своре.

– Но ведь это же великие артисты!

– Все равно. Они своим глупым кривляньем только портили музыку.

– Так неужели вам не нравится голос Барильо?! – воскликнула Руфь, – Ведь он считается вторым после Карузо.

– Нет, отчего же, нравится, а Тетралани нравится еще больше. У нее исключительный голос, насколько я могу судить.

– Но… но… – Руфь не находила слов, – Я тогда ничего не понимаю. Вы восхищаетесь их голосами, а говорите, что они портили музыку.

– Вот именно. Я бы много дал, чтобы послушать их в концерте, и дал бы еще больше, чтобы не слышать их, когда играет оркестр. Видно, я безнадежный реалист. Великие певцы не всегда великие актеры. Конечно, прекрасно, когда Барильо ангельским голосом поет любовную арию, а Тетралани вторит ему голосом, еще более ангельским, и все это на фоне яркой, сверкающей всеми красками оркестровой музыки. Не спорю, это огромное наслаждение. Но все впечатление мгновенно разбивается, как только я взгляну на сцену и увижу Тетралани, ростом чуть ли не в шесть футов и весом в его девяносто фунтов, и рядом Барильо, маленького квадратного человечка, с грудной клеткой кузнеца, и как оба они становятся в позы, хва-

таются за грудь и размахивают руками, словно обитатели сумасшедшего дома. А я должен себе вообразить, что это любовная сцена между юным принцем и прелестной принцессой. Нет, я протестую, Это нелепо. Это глупо. Это неестественно. Вот в чем все дело: это совершенно неестественно. Неужели хоть кто-нибудь объясняется в любви таким образом? Да если бы я вздумал вам так объясняться, вы бы мне надавали пощечин!

– Вы не понимаете, – негодовала Руфь, – каждая форма искусства ограничена. (*Она вспомнила лекцию об условности искусства, слышанную недавно в университете*). Вот в живописи мы имеем всего два измерения. Однако, вы признаете иллюзию трех измерений, которую художник создаст силой своего искусства. В литературе автор всемогущ и всезнающ. Ведь вы признаете за ним право сообщать о тайных помыслах героини, хотя, когда эта героиня думала, никто не мог подслушать ее мысли? То же самое, в театре, в скульптуре, в опере – всюду. С некоторыми противоречиями приходится мириться.

– Да, я понимаю, – отвечал Мартин, – всякое искусство условно. (Руфь изумилась, как правильно он выразился: как будто он кончил университетский курс, а не был самоучкой, читавшим в библиотеке все, что попадалось под руку.) Но и в условности должна

быть реальность. Деревья, намалеванные на картоне и стоящие по бокам сцены, мы считаем лесом. Это условность, но достаточно реальная. Но ведь изображение моря мы не будем считать за лес. Мы не можем этого сделать. Это значило бы насиловать все наши чувства. И потому-то все ужимки, гримасы и конвульсии двух сумасшедших, которых мы только что видели, никак нельзя принять за выражение любовных чувств и настроений.

– Неужели вы и в музыке считаете себя выше всех критиков? – возмущенно сказала Руфь.

– О нет, нет. Просто я позволяю себе иметь собственное мнение. Я говорю все это для того, чтобы объяснить вам, почему слоновая грация госпожи Тетралани испортила для меня всю прелесть оркестра. Может быть, знаменитые музыкальные критики совершенно правы. Но у меня есть свое мнение, я не подчиню его приговору всех критиков вместе взятых. Что мне не нравится, то мне не нравится, и с какой стати я должен делать вид, что мне это понравилось! Только потому, что это нравится другим? Я не желаю подчинять свои вкусы моде.

– Но музыка требует подготовки, – возразила Руфь, – а опера требует особой подготовки. Может быть…

– …я еще недостаточно подготовлен, чтобы слу-

шать оперу, – договорил Мартин.

Она кивнула.

– Возможно, – согласился он, – но я даже рад этому. Если бы меня смолоду приучили к опере, я, вероятно, сегодня проливал бы слезы умиления, глядя на ужимки этих клоунов, и не заметил бы ни их голосов, ни звучания оркестра. Но вы правы. Это, конечно, дается воспитанием, а я уж слишком стар. Мне нужно или нечто реальное, или уж лучше совсем ничего. Иллюзия, в которой нет и намека на правду, не трогает меня, и опера кажется мне сплошной фальшью; в особенности, когда я вижу, как маленький Барильо судорожно хватает в объятия огромную Тетралани и говорит ей о том, как он ее любит.

Но Руфь, как всегда, судила о взглядах Мартина, исходя из внешних признаков и из своего преклонения перед общепризнанным. Кто он такой, в конце концов, чтобы считать правым только себя, а весь культурный мир обвинять в непонимании? Его слова и мысли не произвели на нее никакого впечатления. Руфь слишком привыкла ко всему общепризнанному и не сочувствовала мятежным мыслям; к тому же музыкой она занималась с детства, с детства любила оперу, так же как и все люди ее круга. По какому же праву этот Мартин Иден, только что вынырнувший из царства рэгтаймов и уличных песенок, берется судить

о музыке, восхищающей весь мир? Руфь была задета в своем самолюбии и, идя рядом с Мартином, испытывала смутное чувство обиды. В лучшем случае его взгляды и суждения можно было признать капризом или нелепой шуткой. Но когда, проводив ее до дверей дома, Мартин обнял ее и нежно поцеловал, Руфь забыла все, вновь охваченная любовью. После, лежа в постели без сна, Руфь все раздумывала, как могло случиться, что она полюбила такого странного человека, полюбила к тому же вопреки желанию всей своей семьи.

На следующий день Мартин Иден, под свежим впечатлением оперы и разговора с Руфью, написал статью под названием «Философия иллюзий». Украшенный маркой конверт с рукописью отправился в путешествие; но бедной «Философии» суждено было переменить еще очень много марок и совершить много-много длительных путешествий.

Глава 25

Мария Сильва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Руфи слово «бедность» означало просто дурные условия существования. Этим исчерпывалось представление ее о бедности. Она знала, что Мартин Иден беден, и мысленно сравнивала его жизнь с жизнью юного Авраама Линкольна или мистера Батлера – вообще всех тех, кто, начав с нищенского существования, достиг под конец успеха и благополучия. Признавая, что бедность неприятна со многих точек зрения, Руфь в то же время, как и большинство людей ее круга, видела в бедности превосходный стимул для карьеры и для работы, при условии, конечно, что человек, живущий в бедности, имеет хоть какие-нибудь способности. Поэтому Руфь не слишком огорчилась, узнав, что Мартину пришлось заложить часы и пальто. Наоборот, она даже была довольна, надеясь, что тем скорее он образумится и бросит свои литературные начинания.

Лицо Мартина, худое и осунувшееся, не наводило Руфь на мысль о том, что он голодает. Она замечала перемену в нем и радовалась, так как облик Мартина стал одухотвореннее, тоньше, утратив ту мощь здорового животного, которая одновременно и влек-

ла и отталкивала ее. Иногда Руфь восхищалась каким-то особенным блеском его глаз, делавшим его похожим на поэта или ученого, то есть на того, кем он хотел бы быть и кем она хотела его видеть. Но Марии Сильве его ввалившиеся щеки и горящие глаза говорили совсем другое, и по этим признакам она изо дня в день отмечала перемены в его благосостоянии. Она видела, как Мартин вышел из дому в пальто, а вернулся без пальто, хотя день был холодный и дождливый. Потом на некоторое время щеки его слегка округлились и голодный огонь в глазах погас. Мария заметила также исчезновение часов и велосипеда, повлекшее за собой снова некоторый расцвет жизненных сил.

Кроме того, Мария знала, как он трудится, так как ей было точно известно, сколько керосина он сжигает за ночь.

Работа! Мария отлично понимала, что Мартин работает, хотя его работа не совсем обычного свойства. Ее очень удивляло, что чем меньше он ест, тем усерднее трудится. Иногда, когда ей казалось, что Мартин голодает особенно сильно, она посылала ему с одним из ребятишек свежий хлебец, под нехитрым предлогом, что ему самому не испечь такого хорошего. Иногда она посылала ему миску горячего супа, мучаясь в то же время сомнением, имеет ли она право отнимать этот суп у своих детей, у своей, так сказать, плоти и

крови. Мартин был полон самой горячей благодарности, ибо знал по опыту, что если есть в мире истинное милосердие, то оно обитает только здесь, среди бедняков.

Однажды, накормив детишек остатками провизии, Мария истратила последние пятнадцать центов на галлон дешевого вина и угостила им Мартина, зашедшего на кухню за водой. Он выпил за ее здоровье, а она выпила за его. Потом она выпила за успех его начинаний, а Мартин выпил за то, чтобы Джемс Грант поскорее явился и заплатил за стирку. Джемс Грант был плотничий подмастерье, который неаккуратно платил и задолжал Марии целых три доллара.

И Мартин и Мария пили на пустой желудок, и кислое молодое вино быстро бросилось в голову обоим. При всем своем несходстве, они оба были бедны и одиноки, и эта нищета, о которой всегда умалчивалось, связывала их прочными узами. Мария обрадовалась, узнав, что Мартин бывал на Азорских островах, где она прожила до одиннадцати лет. Еще больше она обрадовалась, услышав, что он бывал и на Гавайских островах, куда она потом перебралась. Но ее восторг перешел всякие границы, когда Мартин сообщил ей, что бывал на острове Мауйи, где она вышла замуж. На Кагулуи, где она впервые познакомилась с мужем, Мартин был два раза. Еще бы ей не помнить гружен-

ных сахаром судов! Так он плавал на них? Ну скажите пожалуйста, до чего же тесен мир! А Вайлуку? Мартин и там побывал. Знавал ли он главного надсмотрщика плантации? Ну как же, он даже пропустил за его здоровье стаканчик.

Так, предаваясь воспоминаниям, они топили свой голод в кислом вине. Впрочем, Мартину будущее не представлялось слишком мрачным. Рано или поздно он добьется успеха и славы. Он уже чувствует их дыхание рядом. Еще немножко – и он сможет схватить их рукой. Тут он стал пытливо вглядываться в изможденное лицо женщины, сидящей перед ним, вспомнил хлеб и суп, которые она ему присылала, и ощутил порыв великой благодарности, желание облагодетельствовать ее.

– Мария, – вскричал он вдруг, – что бы вы хотели иметь?

Та с недоумением посмотрела на него.

– Ну, что бы вы хотели иметь в данную минуту?

– Семь пара башмака – для рэбята.

– Вы их получите, – объявил он, и она торжественно кивнула головой. – Ну, а еще что-нибудь, поважнее?

В глазах Марии мелькнула добродушная радость. Мартин шутил с ней – с ней, с которой уже давно никто не шутил.

– Подумайте, не спешите, – сказал он предостере-

гающе, когда она открыла было рот, чтобы заговорить.

– Корошо, – сказала она, – я подумала. Менэ надо дом, своя дом, – бесплатна жить. Нэ платить семь доллара на месяц.

– Вы его получите, – произнес он, – и очень скоро. Ну, а самое ваше большое желание? Вообразите, что я – бог и что я все могу исполнить, Ну, говорите, я слушаю.

Мария помолчала минуту.

– Вы будэтэ пугацца.

– Нет, нет, – засмеялся он, – я не испугаюсь. Ну, говорите?

– Большой вещь, ах, большой, – предупредила она.

– Ладно, ладно. Говорите.

– Корошо. – Она глубоко вздохнула, как ребенок, который хочет и боится попросить. – Менэ хочется фэрма – короша фэрма. Много корова, много луг, много трава. Около Сан-Лиана. В Сан-Лиана живет моя брат. Буду продавать молока в Окленд. Много монэта. Джо и Ник нэ будэт пасти коров. Оны пойдет в короша школа. Будет важный инженер, строить дорога. Да, хочется короша фэрма.

Мария умолкла и блестящими глазами поглядела на Мартина.

– Вы ее получите, – быстро отвечал он.

Она кивнула и выпила за великодушного дарителя,

хотя и прекрасно знала, что никогда не получит обещанных даров. Но она была благодарна Мартину за его доброе намерение и умела ценить обещание, как ценила бы и сам дар.

– Да, да, Мария, – сказал Мартин. – Ник и Джо не должны пасти коров. Все ребята будут ходить в школу круглый год в хороших, крепких башмаках. Это будет первоклассная ферма у вас будет дом, конюшня, хлев, стойло для коров. У вас будут свиньи, куры, огород, фруктовый сад – одним словом, все, что нужно; у вас хватит средств, чтобы нанять работника, даже двух работников. И вам нечего будет делать. Вы будете воспитывать детей. А если подвернется хороший человек, вы выйдете за него замуж, и он станет хозяйничать на ферме, а вы будете отдыхать.

И, щедрой рукой отмерив ей долю из своих будущих благ, Мартин встал и пошел закладывать свой единственный выходной костюм. Ему было нелегко решиться на это, потому что таким образом он лишал себя возможности видеться с Руфью. Другого приличного костюма у Мартина не было, а в матросской заплатанной куртке он мог заходить к булочнику и мяснику, мог наведываться к сестре, но о том, чтобы являться в таком виде к Морзам, разумеется, нечего было и думать.

Мартин продолжал трудиться, испытывая тоску,

близкую к полному отчаянию. Все чаще ему приходило на ум, что и второе сражение проиграно и что, в самом деле, нужно снова идти работать. Все были бы довольны этим: лавочники, сестра, Руфь и даже Мария, которой он задолжал за целый месяц. Он уже два месяца не платил за прокат пишущей машинки, и магазин требовал или уплатить, или возвратить машинку. Готовый уже покориться и отложить борьбу до более подходящего времени, Мартин отправился держать экзамен на железнодорожного почтальона. К своему изумлению, он выдержал первым. Правда, неизвестно было, когда откроется вакансия.

И вот в это время наибольшего отчаяния издательская машина вдруг нарушила свой обычный ход. Или в ней соскользнуло какое-нибудь колесико, или она была просто плохо смазана, но в одно прекрасное утро почтальон принес маленький запечатанный конверт. В углу конверта Мартин увидел штамп «Трансконтинентального ежемесячника». Сердце у него рванулось и замерло, он почувствовал слабость во всем теле, колени как-то странно задрожали. Пройдя к себе в комнату, он, все еще не распечатывая конверта, уселся на кровать и в этот миг ясно понял, что слишком радостное известие может убить человека.

Конечно, это было радостное известие. В таком маленьком конверте не могла бы поместиться рукопись.

Мартин помнил, что в «Трансконтинентальный ежемесячник» он послал «Колокольный звон», страшный рассказ, в котором было пять тысяч слов. А так как лучшие журналы всегда платят по приеме рукописи, то в конверте, очевидно, таился чек. Два цента за слово – следовательно, за тысячу слов – двадцать долларов; чек, стало быть, должен быть на сто долларов! Сто долларов! Разрывая конверт, он уже подсчитал мысленно все свои долги. 3 доллара 85 центов в бакалейную лавку; 4 – мяснику; 2 -булочнику; за овощи – 5; всего 14.85. Далее, за комнату – 2.50, за месяц вперед – 2.50; за двухмесячный прокат машинки – 8, за месяц вперед – 4; всего 31.85. Кроме того, надо выкупить вещи из ломбарда: часы – 5.50; пальто – 5.50, велосипед – 7.75; костюм – 5.50 (из 60 % – но не все ли равно!). Общий итог – 56.10. Эта сумма словно была выписана перед ним в воздухе светящимися цифрами. Остаток в 43 доллара 90 центов представлял необычайное богатство, принимая во внимание, что будет уплачено вперед и за комнату и за машинку.

Тем временем Мартин вскрыл, наконец, конверт и вынул отпечатанное на машинке письмо. Чека не было.

Он потряс конверт, поглядел его на свет, не доверяя глазам, разорвал. Чека не было. Тогда Мартин начал читать письмо, стараясь сквозь похвалы редакто-

ра добраться до сути дела, найти объяснение, почему не прислан чек. Этого объяснения он не нашел, но зато прочел нечто такое, что внезапно поразило его, как удар грома. Письмо выпало у него из рук. В глазах помутилось, и, упав на постель, он с головой закутался в одеяло.

Пять долларов за «Колокольный звон». Пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово – один цент за десять слов! И еще издатель расточает ему похвалы, сообщая, что чек будет выслан немедленно по напечатании рассказа! Значит, все это было вранье – и то, что минимальная ставка два цента за слово, и то, что платят по приеме рукописи. Все это было вранье, и он просто-напросто попался на удочку. Знай он это раньше, он не стал бы писать. Он пошел бы работать, работать ради Руфи. Мартин вспомнил, сколько времени он потерял с тех пор, как начал писать. И все это, чтобы в конце концов получить один цент за десять слов! Те гонорары, которые, по словам газет, получали великие писатели, вероятно тоже существовали лишь в воображении журналистов. Все его полученные из вторых рук представления о писательской карьере были неверны: доказательство налицо. «Трансконтинентальный ежемесячник» стоит двадцать пять центов номер, и художественно выполненная обложка указы-

вает на его принадлежность к первоклассным журналам. Это старый, почтенный журнал, начавший издаваться задолго до того, как Мартин Иден появился на свет. На его обложке неизменно печатается изречение одного всемирно известного писателя, указывающее на почетную миссию «Трансконтинентального ежемесячника», на страницах которого начало свою карьеру упомянутое литературное светило. И вот этот-то высокохудожественный и высоконравственный журнал платит пять долларов за пять тысяч слов! Тут Мартин вспомнил, что один великий писатель недавно умер на чужбине в страшной нищете, – и решил, что ничего удивительного в этом не было.

Да. Он попался на удочку. Газеты наврали ему всякого вздора про писательские гонорары, а он из-за этого потерял целых два года! Но теперь довольно. Больше он не напишет ни одной строчки! Он сделает то, чего хочет Руфь, чего хотят все кругом, – он поступит на службу. Эта последняя мысль вдруг напомнила Мартину Джо – Джо, который где-то там колесит по дорогам страны безделья. Мартин вздохнул с завистью. Девятнадцатичасовая ежедневная работа внезапно дала себя почувствовать. Но Джо не был влюблен, не знал ответственности, которую налагает любовь, и, следовательно, имел право шататься по миру и бездельничать. У Мартина была определенная

цель, ради достижения которой стоило работать. Завтра же с раннего утра он начнет искать службу и завтра уже известит Руфь о том, что намерен переменить образ жизни и готов поступить в контору к ее отцу.

Пять долларов за десять тысяч слов, десять слов за один цент – рыночная цена искусства! Несправедливость, ложь, подлость, таившиеся в этой цифре, не давали ему покоя. А сквозь закрытые веки горела другая цифра – 3.85 – сумма его долга бакалейщику. Мартина знобило, и все кости у него ныли. В особенности ломило поясницу. Голова болела – темя болело, затылок болел, самый мозг, казалось, болел под черепной коробкой; особенно невыносима была боль над бровями. А перед глазами по-прежнему сверкала беспощадная, терзающая цифра – 3.85. Чтобы избавиться от этого назойливого видения, Мартин открыл глаза, но яркий дневной свет причинил ему нестерпимую боль; пришлось снова закрыть глаза, и цифра 3.85 вспыхнула с прежней силой.

«Пять долларов за пять тысяч слов, десять слов за один цент!» – эта мысль сверлила его мозг, и он не мог от нее избавиться, так же как не мог избавиться от цифры 3.85. Наконец в цифре начались какие-то изменения, за которыми Мартин наблюдал с любопытством, и постепенно она превратилась в 2. А, догадал-

ся он, это долг булочнику! Следующая цифра была 2.50. Эта цифра так заинтриговала его, словно ею решался вопрос его жизни и смерти. Кому-то он в самом деле должен два с половиной доллара, но кому? Ему необходимо было решить эту задачу, решить во что бы то ни стало, и он бродил по длинным темным коридорам памяти, тщетно стараясь найти ответ. Казалось, прошли целые столетия, пока он вдруг не вспомнил, что должен их Марии. С чувством огромного облегчения Мартин подумал, что теперь может отдохнуть, решив эту сложную задачу. Но не тут-то было. Исчезла цифра 2.50, а вместо нее зажглась другая – 8.

Кому он должен восемь долларов? Нужно опять было пускаться в утомительные скитания по закоулкам мозга.

Сколько длились эти скитания, Мартин не знал (ему казалось, что бесконечно долго), но вдруг он пришел в себя от стука в дверь и услыхал голос Марин, спрашивавшей его, не болен ли он. Глухим, незнакомым голосом Мартин ответил, что просто вздремнул. Его удивила темнота, сгустившаяся в комнате. Письмо пришло в два часа дня, а теперь был уже вечер. Очевидно, он заболел.

Тут опять перед ним появилась цифра 8, и он снова начал напряженно думать. Впрочем, теперь он стал

хитрее. Вовсе незачем блуждать среди хаоса воспоминаний. Как он был глуп! Нужно просто повернуть наудачу огромное колесо памяти; оно повернулось – и вдруг, завертевшись с необычайной скоростью, втянуло его в свою орбиту и понесло в черную пустоту.

Мартин нисколько не удивился, увидав себя в прачечной, подкладывающим крахмальные манжеты под каток. Но на манжетах было что-то напечатано. Очевидно, это новый способ метить белье, подумал Мартин и вгляделся в метку: на манжете стояла цифра 3.85. Он вспомнил, что это счет бакалейщика и что счета необходимо пропускать через каток. Коварная мысль пришла ему в голову. Он побросает все счета на пол и не станет платить по ним. Сказано – сделано. И вот он швыряет бесцеремонно смятые манжеты на необыкновенно грязный пол. Куча стала неимоверно расти, каждый счет удвоился, удесятерился, разбился на тысячи таких же счетов, и только счет Марии в два с половиною доллара не множился. Это значило, что Мария не станет притеснять его, и Мартин великодушно решил, что уплатит только по ее счету. Решив так, он начал разыскивать этот счет в груде, валявшейся на полу; он искал его много веков, пока, наконец, дверь не отворилась и в комнату не вошел хозяин гостиницы – толстый голландец. Лицо его пылало гневом, и громовым голосом он заорал на весь мир:

«Я вычту стоимость манжет из вашего жалованья». Груда сразу превратилась в целую гору, и Мартин понял, что ему придется работать тысячу лет, чтобы заплатить за эти манжеты.

Ничего не оставалось, как только убить хозяина гостиницы и поджечь прачечную. Но толстый голландец схватил его за шиворот и начал подбрасывать вверх. Он перебросил его через стол с утюгами, через плиту, каток, стиральную машину, выжималку. Мартин плясал и летал так, что у него стучали зубы и звенела голова; и все удивлялся силе голландца.

Затем он опять очутился перед катком, на этот раз, принимая выстиранные и выкатанные манжеты, которые подкладывал с другой стороны издатель ежемесячного журнала. Каждая манжета превращалась в чек, и Мартин с тревожным любопытством рассматривал их, но чеки были пустые. Он стоял у катка миллионы лет и все вынимал чеки, боясь пропустить хоть один, который был бы заполнен на его имя. Наконец такой чек появился. Дрожащею рукою Мартин взял его и поднес к свету. Чек был на пять долларов. «Ха-ха-ха», – хохотал издатель, прячась за каток. «Ладно, я тебя сейчас убью», – сказал Мартин. Он пошел в соседнюю комнатку за топором и увидал там Джо, который крахмалил рукописи. Мартин, желая спасти рукописи, швырнул в Джо топором, но топор повис в

воздухе. Мартин побежал назад к катку и увидел, что там свирепствует снежная буря. Нет, это был не снег, а бесконечное количество чеков; каждый не меньше, чем на тысячу долларов. Он начал собирать их и раскладывать пачками по сто штук, и каждую сотню заботливо перевязывал ленточкой.

Вдруг перед Мартином появился Джо. Джо стоял и жонглировал утюгами, рубашками, рукописями. Иногда он хватал и пачки чеков, подбрасывая их вверх, так что они, пробив крышу, исчезали в пространстве. Мартин кинулся на Джо, но тот вырвал у него топор и тоже подбросил вверх, За топором он подбросил и самого Мартина. Мартин пролетел сквозь крышу и успел поймать много рукописей, так что упал на землю с целой охапкой в руках. Но его снова понесло вверх, и он помчался по воздуху, описывая бесконечные круги. А детский голосок напевал в отдалении: «Протанцуй со мною, Вилли, протанцуй еще разок!»

Топор торчал среди Млечного пути чеков, крахмальных рубах и рукописей, и Мартин, взяв его, решил убить Джо немедленно по возвращении на землю. Но Мартин так и не возвратился на землю. В два часа ночи Мария, услыхав из-за перегородки его стоны, вошла к нему в комнату, обложила его тело горячими утюгами, а воспаленные глаза накрыла мокрым полотенцем.

Глава 26

Мартин Иден не пошел на следующее утро искать работы. Было уже за полдень, когда он очнулся от своего забытья и оглядел комнату. Восьмилетняя Мэри, одна из дочерей Сильвы, дежурила подле него и, как только он очнулся, с визгом побежала за матерью. Мария пришла из кухни, где занималась стряпней. Она притронулась своими мозолистыми руками к его горячему лбу и пощупала пульс:

– Кушать будэт? – спросила она.

Мартин отрицательно покачал головой. Меньше всего ему хотелось есть, и он даже удивился, что когда-то испытывал чувство голода.

– Я болен, Мария, – сказал он слабым голосом. – Что со мной? Не знаете?

– Грипп, – отвечала она, – три дня, и будет корошо. Лучше без еда. Потом кушать. Завтра.

Мартин не привык хворать, и когда Мария и ее дочка вышли, он попытался одеться. Глаза его так болели, что он с трудом удерживал их открытыми. Крайним напряжением воли он заставил себя встать с кровати и сел за стол, но тут силы изменили ему, он уронил на стол голову и долго не мог подняться. Через полчаса он кое-как добрался опять до постели и лежал непо-

движно, закрыв глаза и пытаясь разобраться в своих болезненных ощущениях. Мария несколько раз входила к нему и меняла холодный компресс на лбу. Вообще же она оставила его в покое, мудро решив не надоедать ему болтовней. Исполненный благодарности, он пробормотал:

– Мария, у вас будет уна ферма, много монета.

Затем ему вспомнился вчерашний день. Прошел, казалось, целый век с тех пор, как он получил письмо из «Трансконтинентального ежемесячника», – с тех пор, как он понял свое заблуждение и решил покончить с этим делом и перевернул страницу книги жизни. Он сам виноват в своей болезни, ибо слишком изнурял себя голодом и лишениями. У него недостало силы бороться с микробом, проникшим в организм. И вот теперь он лежит и не может подняться.

– Какой смысл, если бы я написал даже целую библиотеку книг, раз за это надо расплачиваться жизнью? – спрашивал он себя. – Нет, это не для меня. К чёрту литературу! Моя судьба – вести конторские книги, получать ежемесячное жалованье и жить в маленьком домике вдвоем с Руфью.

Через два дня Мартин съел яйцо с двумя ломтиками хлеба и выпил чашку чая. Он попросил принести ему полученную за это время почту, но глаза у него были еще слишком слабы и читать ему было трудно.

– Прочитайте мне письма, Мария, – сказал он. – Большие, толстые конверты не вскрывайте. Швыряйте их под стол. Прочтите маленькие письма.

– Не умей, – отвечала она, – Тереза умей, она ходит в школа.

Тереза Сильва – девочка лет девяти – вскрыла конверты и принялась читать. Мартин рассеянно слушал настойчивые требования уплаты за прокат пишущей машинки, – ум его в это время был занят мыслью о приискании работы. Внезапно до слуха его долетели следующие слова:

– «Мы предлагаем вам сорок долларов за ваш рассказ, – читала по складам Тереза, – если вы позволите нам сделать предлагаемые сокращения и изменения…»

– Откуда это, из какого журнала? – вскричал Мартин. – Дай сюда письмо!

Он сразу забыл о боли в глазах и с жадностью стал читать. Это «Белая Мышь» предлагала ему сорок долларов за рассказ «Водоворот» – один из его ранних «страшных» рассказов. Мартин несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо и откровенно говорил ему, что основную идею рассказа автор раскрыл не совсем ясно, но идея эта была настолько оригинальна, что они решили напечатать рассказ. Если он разрешает сократить рассказ на одну треть, ему

немедленно будет выслан чек на сорок долларов.

Мартин взял перо и написал редактору, что разрешает сократить рассказ хоть на три четверги, но чтобы чек выслали как можно скорее.

Тереза побежала опускать письмо, а Мартин откинулся на подушку и задумался. Значит, все-таки это не ложь. «Белая Мышь» готова платить по приеме рукописи. В рассказе «Водоворот» было три тысячи слов. Если отбросить треть, останется две тысячи. Выходит как раз два цента за слово. Плата по приеме рукописи и по два цента за слово, – газеты говорили правду! А он-то считал «Белую Мышь» третьесортным журнальчиком. Очевидно, он просто не имел о журналах никакого понятия! Он считал первоклассным «Трансконтинентальный ежемесячник», а там платят цент за десять слов! Он относился к «Белой Мыши» с пренебрежением, а там платят в двадцать раз дороже, да еще не дожидаясь выхода из печати!

Одно было ясно: когда он поправится, ему незачем бегать в поисках работы. В голове у него целая сотня рассказов не хуже «Водоворота», и если считать по сорок долларов за штуку, он может заработать на них гораздо больше, чем на любой службе. Он выиграл сражение в тот самый миг, когда оно казалось проигранным. Его выбор оправдал себя. Дорога перед ним открыта. Одолев «Белую Мышь», он начнет постепен-

но вписывать и другие журналы в список своих патронов. Писание доходных мелочей можно было бросить. Все равно оно не принесло ему и доллара. Он займется работой, настоящей работой, и будет вкладывать в нее все то, что в нем есть действительно ценного. Мартину захотелось, чтобы Руфь была тут и могла разделить его радость. Вдруг среди писем, разбросанных на постели, он нашел одно от нее. Руфь нелепо упрекала его за то, что он вдруг пропал и не заходит уже который день. Мартин с восторгом перечитывал это письмо, рассматривал почерк, любовался каждой буквой, нежно целовал подпись.

Мартин написал ей откровенно, что заложил свой единственный хороший костюм и потому не мог прийти. Он сообщил о своей болезни, которая, впрочем, уже почти прошла, и прибавил, что недели через две (время достаточное для получения чека из Нью-Йорка) он выкупит костюм и в тот же день будет у нее.

Но Руфь не собиралась ждать две недели. Ее возлюбленный был болен. На другой же день, в сопровождении Артура, она приехала к нему в коляске, к великому удовольствию ребятишек Сильвы, к изумлению всех соседей и к полному ужасу Марии. Мария выдрала за уши детей, обступивших необыкновенных посетителей, и, немилосердно коверкая язык, стала извиняться за свой неряшливый вид. На руках у нее

засохла мыльная пена, а мокрая рогожа, надетая в виде передника, ясно говорила гостям, за какой работой они ее застали. Появление нарядных молодых людей в коляске, спрашивавших ее жильца, до того потрясло Марию, что она даже не догадалась пригласить их в гостиную. Чтобы добраться до комнаты Мартина, им пришлось пройти через жаркую кухню, наполненную паром по случаю большой стирки. От волнения Мария никак не могла справиться с дверьми, и в комнату больного ворвались облака пара, запах мыльной воды и грязного белья.

Руфь ловко повернула направо, потом налево, потом опять направо и прошла по узкому каналу между столом Мартина и его кроватью. Артур не проявил достаточной осторожности и с грохотом налетел на горшки и сковородки в кухонном углу. Впрочем, Артур недолго оставался в комнате. Единственный стул заняла Руфь, и ее брат, считая свои обязанности исполненными, вышел на крыльцо, где его немедленно обступило многочисленное потомство Сильвы, крайне заинтересованное его особой. Вокруг экипажа толпились ребятишки со всего квартала, ожидая какой-нибудь страшной, драматической развязки. Коляски появлялись в этих краях только в дни свадеб или похорон; но в данном случае никто не женился и не умер – следовательно, должно было произойти нечто таин-

ственное, выходящее за пределы фантазии обитателей бедных лачужек.

Все эти дни Мартин изнывал от желания видеть Руфь. Обладая горячо любящим сердцем, он, больше чем кто-либо, нуждался в сочувствии, – и не в простом сочувствии, а в глубокой привязанности, основанной на чутком его понимании; но он уже убедился, что сочувствие Руфи основывается не на понимании его, Мартина Идена, стремлений, а просто на ее природной, несколько сентиментальной нежности. Пока Мартин говорил с нею, держа ее за руку, Руфь, движимая любовью, ласково пожимала ему руку, со слезами на глазах глядела на его осунувшееся лицо и думала о том, какой он несчастный и беспомощный.

Но когда Мартин рассказал Руфи о том, в какое отчаяние он пришел, получив письмо «Трансконтинентального ежемесячника», и как обрадовался предложению «Белой Мыши», Руфь отнеслась к этому безучастно. Она слышала слова, им произносимые, и понимала смысл, но не разделяла ни его радости, ни его отчаяния. Для нее все это имело только один смысл. Ее очень мало интересовали рассказы, журналы и редакторы. Она думала только об одном: когда им с Мартином можно будет пожениться. Правда, сама она не понимала этого, не понимала и того, что ее желание заставить Мартина «устроиться» вызывалось

подсознательным материнским инстинктом. Конечно, если бы Руфи сказали об этом прямо, она бы, во-первых, смутилась, во-вторых – вознегодовала и стала бы отрицать, уверяя, что ею руководит лишь забота о благе любимого человека. Но, так или иначе, пока Мартин, взволнованный первым успехом на избранном пути, изливал перед Руфью свою душу, она, слушая и не слыша, осматривала комнату, пораженная тем, что видела.

В первый раз Руфь лицом к лицу столкнулась с нищетой. Ей всегда казалось, что любовь и голод – очень романтическое сочетание, но она совершенно не представляла себе, как выглядит эта романтика в жизни. Такой картины она во всяком случае не ожидала. Ее тошнило от запаха грязного белья, который проникал сюда из кухни. Мартин, должно быть, весь пропитался этим запахом, думала Руфь, если эта ужасная женщина часто стирает. Нищета – заразительна. Руфи начинало казаться, что к Мартину пристала грязь окружающей обстановки. Его небритое лицо (Руфь в первый раз видела Мартина небритым) вызывало в ней отвращение. От щетины на подбородке и щеках оно казалось таким же мрачным и грязным, как все жилище Сильвы, и в нем еще усиливалось ненавистное Руфи выражение животной силы. И надо же было, чтобы два рассказа Мартина приня-

ли к напечатанию! Теперь он еще больше утвердится в своих безумных планах. Еще немного – и он бы сдался и поступил на службу. А теперь он с новым усердием примется за свое сочинительство, продолжая голодать и жить в этом ужасном доме.

– Чем это пахнет? – вдруг спросила Руфь.

– Вероятно, бельем. Мария стирает, – отвечал он. – Я уж привык к этому запаху.

– Нет, нет. Какой-то противный застоявшийся запах!

Мартин, прежде чем ответить, понюхал воздух.

– Я ничего не чувствую, кроме запаха табаку, – объявил он.

– Вот именно. Какая гадость! Зачем вы так много курите, Мартин?

– Сам не знаю. Вероятно, мне скучно, когда я один, вот и курю больше. А вообще это старая привычка. Я начал курить еще мальчишкой.

– Это нехорошая привычка, – сказала Руфь. – Здесь просто дышать невозможно.

– Это уж табак виноват. Я курю самый дешевый. Вот подождите, получу чек на сорок долларов, тогда куплю такой табак, что его можно будет курить даже в обществе ангелов. А ведь это недурно! За три дня две принятых рукописи! Этими сорока пятью долларами я покрою почти все свои долги.

– Это за два года работы? – спросила Руфь.

– Нет, меньше чем за неделю. Пожалуйста, дайте мне ту книжечку, видите, которая лежит на углу стола, в сером переплете.

Мартин открыл книжку и быстро перелистал ее.

– Да, совершенно верно. Четыре дня «Колокольный звон», два дня «Водоворот». Сорок пять долларов за недельную работу. Сто восемьдесят долларов в месяц! Где бы я мог получить такое жалованье? А ведь это только начало. Мне бы и тысячи долларов не хватило, чтобы как следует обставить вашу жизнь. Жалованье в пятьсот долларов меня бы не удовлетворило. Но для начала хорошо и сорок пять долларов. Дайте мне выйти на дорогу. Вот тогда задымим изо всех труб.

Руфи это выражение напомнило о прежней теме.

– Вы и теперь слишком много дымите, – сказала она. – Дело не в качестве табака. Курить само по себе – дурная привычка, независимо от того, что вы курите. Вы точно ходячая дымовая труба или живой вулкан. Это ужасно! Милый Мартин, ведь вы знаете, что это ужасно!

Руфь наклонилась к нему, а Мартин, глядя в ее чистые голубые глаза и нежное лицо, опять почувствовал, что недостоин ее.

– Я хочу, чтобы вы бросили курить, – прошептала она, – сделайте это ради меня.

– Хорошо, – вскричал он, – я брошу курить! Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая моя, дорогая!

Руфью вдруг овладело искушение. Увидев, как легко и покорно он идет на уступки, она подумала: если сейчас потребовать, чтобы он бросил писать, он не откажет ей. Но слова замерли у нее на устах. Она не смогла их выговорить. Не решилась. Вместо этого она склонилась ниже и, положив голову ему на грудь, прошептала:

– Мартин, милый, ведь это я не ради себя, а ради вас. Вам, наверно, вредно курить и потом – нехорошо быть рабом, даже рабом привычки.

– Я буду вашим рабом, – улыбнулся он.

– Ну, в таком случае я буду повелевать.

Руфь коварно посмотрела на него, в глубине души сожалея уже, что не высказала своего главного желания.

– Готов повиноваться вашему величеству.

– Хорошо. Вот вам моя первая заповедь: не забывайте бриться ежедневно. Посмотрите, как вы исцарапали мне щеку.

Таким образом, все закончилось ласками и веселым смехом. Но кое-чего она все же добилась, а за один раз нельзя было рассчитывать на большее. Руфь чисто по-женски гордилась тем, что заставила

Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу; ведь он обещал исполнять все ее желания.

Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные на бельевых веревках, ознакомилась с таинственным приспособлением, на котором был подвешен велосипед, с огорчением увидела груду рукописей под столом: как много времени потрачено зря! Керосинка привела ее в восторг, но при дальнейшем осмотре обнаружилось, что полки для провизии пусты.

– У вас тут нет ничего съестного! Ах вы, бедняжка, – воскликнула она с состраданием, – вы, наверно, голодаете!

– Я держу свою провизию у Марии, – солгал Мартин, – там удобнее. Не бойтесь, я не голодаю. Посмотрите-ка!

Руфь подошла к нему и увидела, как Мартин согнул руку в локте, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение. Ее эстетическое чувство было оскорблено им. Но сердце, кровь, каждый фибр ее существа стремились к этим могучим мышцам, и, повинуясь знакомой непонятной силе, она, вместо того чтобы отшатнуться от Мартина, прильнула к нему. И когда Мартин сжал ее в объятиях, ее разум, знающий лишь внешние проявления

ления жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, женское сердце, которого коснулась сама жизнь, победно ликовало. В такие мгновения Руфь начинала чувствовать всю силу своей любви к Мартину, потому что его могучие страстные объятия доставляли ей неизъяснимое наслаждение. В такие мгновения все казалось ей оправданным: измена привычным идеалам, нарушение всех основных принципов, даже молчаливое неповиновение отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь иногда казалась постыдной и ей самой, когда, вдали от него, она снова превращалась в холодную и рассудительную Руфь. Но когда он был рядом, она любила его; правда, временами любовь была полна огорчений, но все-таки это была любовь – властная и непобедимая.

– Этот грипп пустяки, – говорил Мартин, – правда, немного болит голова и знобит, но в сравнении с тропической лихорадкой это сущие пустяки.

– А вы болели тропической лихорадкой? – спросила Руфь рассеянно, стараясь продлить блаженное чувство забвения, которое она испытывала в его объятиях. Она почти не прислушивалась к тому, что он отвечал, но тут вдруг одна фраза привлекла ее внимание. Мартин перенес тропическую лихорадку в тай-

ной колонии прокаженных на одном из Гавайских островов.

– А каким образом вы туда попали? – спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступным.

– Случайно, – отвечал Мартин, – я и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я дезертировал со шхуны, доплыл до берега и отправился вглубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. Три дня я питался плодами гуавы, дикими яблоками и бананами – вообще всем, что растет в джунглях. На четвертый день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие следы человеческих ног. В одном месте тропинка проходила по гребню горы, острому, как лезвие ножа. Ширина там была не более трех футов, а с обеих сторон зияли пропасти глубиною в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут отразить нападение стотысячной армии Это был единственный путь вглубь острова. Часа через три я очутился в маленькой долине, среди нагромождений застывшей лавы. В ней росли фруктовые деревья и стояло семь или восемь тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял куда попал. Довольно было одного взгляда.

– Что ж вы сделали? – спросила Руфь, слушая, как Дездемона, испуганная, но завороженная.

– А что же я мог сделать? Старшим у них был добродушный старикашка, который правил, как полновластный король. Он открыл эту долину и основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и боевые снаряды; кстати все канаки дьявольски метко стреляют. Привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Так что бежать нечего было и думать. Пришлось Мартину Идену остаться и прожить там три месяца.

– Но как же вам удалось спастись?

– Я бы сидел там и сейчас, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайка Она была очень мила, бедняжка, и даже образованна. У ее матери в Гонолулу было состояние по меньшей мере в миллион. Вот эта девушка меня в конце концов и освободила. Понимаете, ее мать давала деньги на содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла с меня клятву никому не открывать убежища. И я сдержал эту клятву. Сейчас я в первый раз заговорил об этом. У бедной девушки тогда появились только первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, и выше локтя было маленькое пятнышко. Больше ничего. Теперь уж она, наверно, умерла.

– Но как же вы не боялись! И какое счастье, что вам удалось не заболеть этой ужасной болезнью!

– Вначале мне было порядком не по себе, – признался он. – Но потом я привык. К тому же мне очень было жаль эту несчастную девушку, и я стал забывать о своем страхе. Она была так хороша и душой и телом, болезнь еще едва-едва коснулась ее. И она знала, что обречена никогда больше не видеть людей, вести жизнь первобытного дикаря и постепенно заживо разлагаться. Вы даже вообразить не можете, до чего ужасна проказа.

– Бедная девушка! – прошептала Руфь. – Все-таки странно, что она вас так отпустила.

– Почему странно? – спросил Мартин, не понимая замечания Руфи.

– Да потому что она, наверно, любила вас, – продолжала Руфь так же тихо. – Ну скажите прямо: любила?

Загар давно сошел с лица Мартина благодаря постоянной работе и затворнической жизни, а в последнее время, от голода и болезни, он очень побледнел; теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Он открыл рот и хотел заговорить, но Руфь перебила его:

– О, не отвечайте, пожалуйста! В этом нет необходимости! – воскликнула она смеясь.

Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледя-

ным блеском. Мартину вспомнилась буря, которую однажды пришлось ему пережить в северной части Тихого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение урагана, ночного урагана при ясном небе и полной луне; волны, вздымающиеся в холодном лунном свете, Вслед за тем он увидел девушку из колонии прокаженных и вспомнил, что она дала ему возможность бежать только потому, что любила его.

– Она была благородна, – сказал он просто, – она спасла мне жизнь.

Казалось, этим инцидент был исчерпан, но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что Руфь, отвернувшись от него, глядит в окно. В следующий миг она уже снова взглянула Мартину в глаза, и на ее лице не было и следов промчавшейся бури.

– Я такая дурная, – жалобно сказала Руфь, – но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, и привыкну постепенно, но теперь я так ревную вас ко всем призракам прошлого. А ваше прошлое полно призраков!.. Да, да, иначе и быть не может, – быстро продолжала она, не давая ему возразить. – Ну, бедный Артур уже делает мне знаки. Ему надоело ждать. Прощайте, мой дорогой. Есть какой-то порошок, который помогает отвыкнуть от курения, – сказала Руфь уже в дверях, – я вам его пришлю.

Руфь затворила за собой дверь и затем снова приоткрыла ее.

– Люблю, люблю, – шепнула она и только после этого ушла.

Мария почтительно проводила Руфь к экипажу, стараясь по дороге разглядеть все детали ее костюма. Мария никогда не видела такого покроя, и он ей казался необыкновенно красивым. Толпа разочарованных ребятишек смотрела вслед коляске, пока та не скрылась за поворотом. В следующий миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая сразу стала самым важным лицом в квартале. Но кто-то из ее собственных отпрысков испортил все дело, объявив, что знатные гости приезжали вовсе не к Марии, а к ее жильцу. После этого Мария вновь впала в ничтожество, зато Мартин стал замечать преувеличенное почтение к своей особе со стороны всех соседей В глазах Марии он возвысился на сто процентов, и если бы лавочник тоже видел эту чудесную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на три доллара и восемьдесят пять центов.

Глава 27

Солнце счастья взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на три доллара от одного бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за три триолета. Еще через два дня одна чикагская газета приняла его «Искателей сокровищ», обещая уплатить десять долларов по напечатании. Цена была невелика, но ведь это было его первое произведение – первая попытка выразить на бумаге волновавшие его мысли. Наконец и его приключенческая повесть для юношества была принята одним ежемесячным журналом под названием «Юность и зрелость». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а ему предложили за нее всего шестнадцать долларов, что составляло примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, да и то по напечатании, – но ведь это была только вторая его литературная попытка, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в ней недостатков.

Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было признаков посредственности. В них скорее было слишком много силы – избыточной силы новичка, готового стрелять из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть по дешевке про-

дать свои ранние произведения. Он знал им цену, и ему понадобилось не так уж много времени, чтобы это узнать. Все надежды он возлагал на свои последние произведения. Ему хотелось быть не просто журнальным писателем. Он хотел вооружиться всеми приемами настоящего художественного творчества. Но силой жертвовать он не хотел. Напротив, он старался еще увеличить силу, обуздывая ее в то же время формой. И любви к реализму он тоже не утратил. Во всех своих произведениях он стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Он добивался вдохновенного реализма, проникнутого верой в человека и его стремления. Он хотел показать жизнь как она есть, со всеми исканиями мятущегося духа.

Читая книги, Мартин установил, что существуют две литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его человеческую природу; другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не мог примкнуть ни к той, ни к другой школе, считая их слишком односторонними. По его мнению, возможен был компромисс, наиболее приближающийся к истине, который, не следуя школе «божества», не придерживался бы в то же время и животной грубости школы

«зверя».

В рассказе «Приключение», прочитанном когда-то Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет.

Но «Приключение» и все другие рассказы, которые он считал лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, а совсем ранним рассказам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару; не слишком высоко он расценивал и «страшные» рассказы, из которых два были только что приняты журналами. Рассказы эти представляли чистейшую выдумку, которой была придана видимость реального, в этом и заключалась их сила. Правдоподобное изображение нелепого и невероятного Мартин считал ловким трюком, и только. Такие произведения нельзя было причислять к большой литературе. Их художественная выразительность могла быть велика, но Мартин невысоко ставил художественную выразительность, если она расходилась с жизненной правдой. Трюк заключался в том, чтобы облечь искусственную выдумку в маску живой жизни, и к этому приему Мартин прибегнул в полдюжине «страшных» рассказов, которые писал до того, как достиг высот «Приключения», «Радости», «Котла» и «Вина жизни».

На три доллара, полученные за триолеты, можно было кое-как прожить до получения чека «Белой Мыши». Он разменял трехдолларовый чек у недоверчивого португальца, уплатив ему один доллар в счет долга и разделив два других доллара между булочником и торговцем овощами. Мартин был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек «Белой Мыши». Мартин не знал, как ему быть. Он ни разу в жизни не заходил в банк, а тем более по денежным делам, и теперь им овладело детское желание во что бы то ни стало разменять чек на сорок долларов в одном из больших оклендских банков. Но практический здравый смысл советовал ему разменять этот чек у бакалейщика и таким образом поддержать и увеличить свой кредит. С большой неохотой отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и отправился расплачиваться с другими своими кредиторами: расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, костюм, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане всего три доллара.

Но и эта маленькая сумма казалась Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправил-

ся к Руфи и по дороге не мог удержался от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршнею серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так Мартин, у которого давно не было ни цента в кармане, не мог выпустить монеты из рук. Он не был ни жаден, ни скуп, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех в жизни, и чеканные орлы казались Мартину крылатыми вестниками победы.

Незаметно к Мартину вернулось его убеждение в том, что мир прекрасен. Он даже стал казаться ему еще прекраснее. В течение долгих недель это был темный и унылый мир; но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели три доллара, а в сердце крепла вера в успех, солнце снова показалось Мартину ярким и жгучим, и даже ливень, хлынувший внезапно, вызвал у него только веселую улыбку. Во время своей голодовки Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру; но теперь, когда он был сыт, мысль о них уже не тревожила его; теперь, полный своей любовью, он стал думать о бесчисленных влюбленных, живущих на земле. В его мозгу смутно зашевелились мотивы любовной лирики, и, увлеченный творческим порывом, он незаметно проехал на трамвае два лишних квартала.

В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфи гостить две ее двоюродные сестры, и, воспользовавшись этим предлогом, миссис Морз решила привести в исполнение свой план – окружить Руфь молодежью. Осуществление коварного плана началось во время вынужденного отсутствия Мартина, и теперь военные действия были в полном разгаре. Миссис Морз задалась целью ввести в свой дом людей, делающих или сделавших карьеру. Таким образом, кроме кузин – Дороти и Флоренс, – в гостиной находилось: два университетских профессора: один – латинист, а другой – специалист по английской филологии; молодой армейский офицер, школьный товарищ Руфи, только что вернувшийся с Филиппин; молодой человек по фамилии Мельвилль, личный секретарь Джозефа Перквиса, главы объединенных трестов Сан-Франциско; наконец банковский кассир Чарльз Хэпгуд, моложавый мужчина тридцати пяти лет, воспитанник Стенфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, лидер республиканской партии, выдвинувшийся на последних выборах, – одним словом, молодой человек, многообещающий во всех отношениях. Из дам одна была художница-портретистка, другая – профессиональная музыкантша, и третья – со степенью доктора социологических на-

ук, прославившаяся своей организационной деятельностью в трущобах Сан-Франциско. Впрочем, в плане миссис Морз женщины не играли особенной роли. Они являлись чем-то вроде необходимого аксессуара. Ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом мужчин, делающих карьеру.

– Не горячитесь во время разговора, – шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими. Мартин вначале чувствовал себя очень неловко; к нему вернулся давнишний его страх повредить при движении что-нибудь из мебели или безделушек. Кроме того, его стесняло общество. Он никогда раньше не сталкивался сразу со столькими изысканными людьми. Особенно сильное впечатление произвел на него банковский кассир Хэптуд, и Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под внешней робостью в Мартине было все так же действенно его могучее «я», и он непременно хотел померяться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать, чему научились они у книг и у жизни и чему он мог научиться у них.

Руфь часто посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться за свои плечи Руфь знала,

что обе ее кузины умные и блестящие собеседницы, и удивлялась, слыша, как они, ложась спать, расхваливали Мартина. Сам он, привыкнув в своем кругу быть присяжным остряком и душою общества на всех вечеринках и воскресных пикниках, нашел, что и здесь тоже можно быть веселым и отпускать меткие словечки. А успех уже стоял у него за спиной, ободрительно похлопывая по плечу, и сулил удачи: вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других.

Под конец вечера опасения Руфи все-таки оправдались. Мартин вступил в беседу с профессором Колдуэллом и, хотя не размахивал еще руками, но Руфь уже заметила особый блеск в его глазах, заметила, что голос его постепенно начинает повышаться, и краска приливает к щекам. Не умея владеть собой и укрощать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором.

Но Мартин не придавал большого значения внешности. Он сразу увидел, как развит и как широко образован его просвещенный собеседник. Профессор Колдуэлл оказался к тому же не таким, как представлялся Мартину вообще всякий профессор английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности, и хотя тот сначала от этого уклонялся, Мартину, в конце кон-

цов, удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему в обществе не принято говорить на профессиональные темы.

– Ведь это же нелепо, – говорил он Руфи еще задолго до этого вечера, – почему нельзя говорить на профессиональные темы? Для чего же тогда людям и собираться вместе, как не для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. А самое лучшее у каждого человека всегда то, в чем он больше всего смыслит, на чем он специализировался, чему посвятил всю свою жизнь, о чем думает и даже мечтает днем и ночью. Вообразите, что мистер Батлер, подчиняясь общепринятым правилам, вдруг бы начал излагать свои взгляды на Поля Верлена, на немецкую драму или на романы д'Аннунцио. Все бы со скуки умерли. Я, например, если уж мне слушать мистера Батлера, предпочту, чтобы он говорил о своей юриспруденции. В конце концов в этой сфере он лучше всего. Жизнь так коротка, и мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть.

– Однако, – возражала Руфь, – есть такие вопросы, которые одинаково интересны всем.

– Нет, в этом вы ошибаетесь, – в свою очередь возразил Мартин, – каждый человек и каждая группа общества всегда подражают тем, кто выше их по положению. А кто занимает самое высокое положение в

обществе? Бездельники, богатые бездельники. Они обычно и понятия не имеют о вещах, которые известны людям, занятым каким-нибудь делом. Им, конечно, скучно говорить о таких вещах, и вот они объявляют, что это – профессиональный разговор, который в обществе вести неприлично. И они же определяют то, о чем можно беседовать в обществе. Беседовать можно: о новой опере, новых романах, картах, бильярдах, коктейлях, автомобилях, яхтах, лошадиных выставках, ловле форели и так далее, – то есть, заметьте, обо всем, о чем бездельники обычно имеют понятие. В сущности говоря, это профессиональный разговор бездельников. Смешнее всего, что люди ученые, или претендующие на это звание, подчиняются в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять у человека его самое лучшее. Называйте это профессиональными разговорами, вульгарностью, или как вам будет угодно.

Но Руфь не понимала Мартина. Его нападки на общепринятое она всегда считала просто проявлением его своенравия и упрямства.

Так или иначе, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его заговорить на темы, ему близкие. Руфь, подойдя к ним, услыхала, как Мартин сказал:

– Но в Калифорнийском университете вы, вероят-

но, не решаетесь высказывать подобную ересь!

Профессор Колдуэлл пожал плечами.

– Я честный плательщик налогов и лояльный политик. Сакраменто назначает нас, и мы должны считаться с Сакраменто, должны считаться с правительством штата, с партийной прессой или даже с прессой обеих партий.

– Это ясно, но вы должны чувствовать себя, как рыба, вынутая из воды! – воскликнул Мартин.

– У нас в университетском пруду немного наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу, и я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в кабачке Латинского квартала, где собирается богема и где пьют кларет. Я бы обедал в дешевом ресторане и высказывал отчаянно смелые взгляды на все мироздание. Мне иногда кажется, что по натуре я радикал. Но, увы, так много вопросов, в которых я совершенно не чувствую никакой уверенности. Я становлюсь робким, когда сталкиваюсь лицом к лицу с коренными проблемами жизни – человеческой жизни.

И, слушая его, Мартин невольно вспомнил «Песню о пассатном ветре»:

Жаркий полдень по мне,
Но во мгле при луне

И, повторяя слова песни, Мартин глядел на профессора и находил в нем что-то общее с северо-восточным пассатом, неизменным, холодным и сильным. Он был так же ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартин думал о том, что профессор, вероятно, никогда не высказывается до конца, так же как и северовосточный пассат никогда не дует изо всех сил, а всегда оставляет себе резервы, которыми, однако, никогда не пользуется. Воображение Мартина было по-прежнему ярким. Его мозг был как бы огромным складом воспоминаний и вымыслов, доступ к которым был всегда открыт.

Что бы ни произошло, Мартин мгновенно извлекал из этого своего склада что-либо сходное или, наоборот, противоположное и воплощал это в ярких видениях. Делалось это совершенно непроизвольно, и каждому событию реальной жизни неизменно сопутствовали картины, создаваемые фантазией. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину океана: волны с белыми гребнями, обагренные заходящим солнцем, несутся, гонимые северо-восточным пассатом. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения и не

только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, помогали разбираться в них. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин, всего, что он видел и вычитал из книг, и они постоянно, наяву и во сне, теснились в его мозгу.

И вот теперь, слушая плавную речь профессора Колдуэлла – речь умного и образованного человека, – Мартин невольно вспомнил свое прошлое. Он видел себя на заре своей юности, настоящим хулиганом, в лихо заломленной стетсоновской шляпе и двубортной куртке, когда идеалом его были грубости и всякие безобразия, насколько они дозволялись полицией. Мартин не пытался что-либо смягчить или сглаживать в этих воспоминаниях. Да, в известный период своей жизни он был самым обыкновенным хулиганом, предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных хозяев рабочего квартала. Теперь его идеал изменился. Он поглядывал вокруг себя, на благовоспитанных и хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры, и призрак его юности в широкополой шляпе и двубортной куртке вперевалку шел к нему по ковру гостиной. Ведь это он, озорной предводитель уличной шайки, превратился в того Мартина Идена, который сидит теперь в мягком кресле и мирно беседует с профессором университета.

По правде говоря, Мартин никогда и нигде не чувствовал себя вполне на своем месте. Он просто хорошо приспосабливался к обстоятельствам, всегда был общим любимцем, потому что не отставал ни в работе, ни в игре и повсюду умел постоять за себя и внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне удовлетворяя своих сотоварищей, Мартин сам никогда не был удовлетворен. Его все время томило какое-то беспокойство, ему все время слышался голос, звавший его куда-то, и он странствовал по миру в поисках, пока не нашел, наконец, книгу, искусство и любовь. И вот теперь он находился среди всего этого – единственный из всех своих прежних товарищей, который запросто мог прийти в гости к Морзам.

Но все эти мысли отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать профессора. Он видел, как обширны познания его собеседника, и время от времени чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру ему все же были известны общие основы знания. Нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. «Тогда посмотрим!» – думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, слушая благоговейно и внимательно все, что тот говорил. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждений своего собеседни-

ка, которая, правда, могла бы и не броситься в глаза, если бы не повторялась постоянно. И когда Мартин понял, наконец, в чем заключается эта слабая сторона, у него сразу исчезло чувство неравенства, которое он испытывал в начале беседы с профессором.

Руфь подошла к ним вторично, как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить.

– Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь или, вернее, в чем слабость ваших суждений, – сказал он. – Вы пренебрегаете биологией. Она отсутствует в вашем миросозерцании. То есть я разумею подлинно научную биологию, начиная с лабораторных опытов по оживлению неорганической ткани и кончая самыми широкими социологическими и эстетическими обобщениями.

Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжение двух лет слушала лекции профессора Колдуэлла, и он казался ей олицетворением мудрости.

– Я не совсем понимаю вас, – нерешительно сказал профессор.

– Я попытаюсь объяснить, – произнес Мартин. – Мне помнится, я читал в истории Египта, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характер страны.

– Совершенно верно, – согласился профессор.

– И вот мне кажется, – продолжал Мартин, – что,

в свою очередь, характер страны нельзя изучать без предварительного знания материала, из которого создавалась жизнь, и того, как она образовалась. Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создавших, и не зная, из чего вообще созданы сами эти люди? Литература, в конце концов, такое же создание человека, как египетское искусство. Разве во вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что история эволюции отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек остается при этом в стороне. Великолепно разработана эволюция инструментов – арфы, скрипки, эволюция музыки, танца, песни. Но что можно сказать об эволюции самого человека, о тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот об этом-то вы забываете, а это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я знаю, что выражаюсь немного бессвязно, но я, можно сказать, пытаюсь сам выковать свою идею. Она пришла мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу найти ей четкое выражение. Вы упомянули о человеческой ограниченности, не дающей человеку возможности охватить все факторы. Вот вы как раз, – по крайней мере, мне так кажется, –

упускаете биологический фактор, то есть именно самую основу всех искусств, главный материал, из которого построена, в конце концов, вся человеческая культура.

К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен, и профессор даже взглянул на Мартина, как показалось Руфи, снисходительно, очевидно считаясь с его молодостью. Наконец после недолгого молчания профессор начал говорить, поигрывая своей золотой цепочкой.

– Вы знаете, – сказал он, – мне уже делал однажды подобные упреки один великий человек, ученый эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что никто не будет больше обличать меня, а вот теперь вижу в вашем лице нового обвинителя. Вероятно, – не могу не признать этого, – в ваших обвинениях есть доля истины, и даже очень большая доля. Я слишком ушел в классику и недостаточно следил за развитием естественных наук; быть может, это объясняется просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной лаборатории. Однако это факт. Леконт был прав, так же как и вы, мистер Иден, хоть я и не знаю – насколько.

Под каким-то предлогом Руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему:

– Вы совсем монополизировали профессора Колдуэлла. Может быть, еще кто-нибудь хочет побеседовать с ним.

– Простите, – смущенно пробормотал Мартин, – я заставил его разговориться, и это оказалось настолько интересно, что я забыл о других. Просто мне до сих пор не приходилось встречать такого умного и образованного собеседника. И, между прочим, знаете что? Я прежде думал, что все, кто посещает университет или занимает важное общественное положение, так же умны и образованны…

– Он исключение, – прервала его Руфь.

– Очевидно. С кем же вы хотите, чтобы я поговорил теперь? Вот что: сведите меня с этим Хэпгудом.

Мартин беседовал с ним минут пятнадцать, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с каким Мартин вел беседу. Но зато в глазах Мартина все сословие банковских деятелей потеряло весь свои престиж, и под конец вечера у него сложилось убеждение, что банковский деятель – синоним пошляка. Армейский офицер оказался очень добродушным, здоровым и уравновешенным человеком, вполне довольным своей судьбой. Узнав, что он тоже учился в университете целых два года, Мартин был очень удивлен и никак не

мог понять, куда же делись все его познания. Но все же этот офицер понравился Мартину гораздо больше, чем Чарльз Хэпгуд.

– Меня не пошлости его возмущают, – говорил потом Мартин Руфи, – но меня злит тот напыщенный, самодовольный, снисходительный тон, которым эти пошлости изрекаются. Я мог бы изложить всю историю реформации за то время, пока этот делец объяснял мне, что объединенная рабочая партия слилась с демократической. Он выбрасывает слова, как профессиональный игрок в покер сдает карты. Когда-нибудь я вам покажу это на примере.

– Мне очень жаль, что он вам не понравился, – отвечала Руфь. – Он любимец мистера Батлера. Мистер Батлер говорит, что это самый честный и надежный человек; он называет его скалой, камнем, на котором можно воздвигнуть любое банковское учреждение.

– Я в этом и не сомневаюсь, даже судя по тому немногому, что я от него слышал. Но я утратил теперь всякое уважение к банкам. Вы не сердитесь, моя дорогая, что я так прямо высказываю свое мнение?

– Нисколько! Это очень интересно.

– Да, – подтвердил Мартин, – ведь я варвар, получающий первые впечатления от цивилизации. Для цивилизованного человека я должен представлять,

несомненно, большой интерес.

– А что вы скажете о моих кузинах? – спросила Руфь.

– Они мне понравились больше других женщин. Они очень веселые и держатся просто, без претензий.

– Значит, другие женщины вам тоже поправились? – Мартин покачал головой.

– Эта общественная деятельница – просто попугай, болтающий о социальных проблемах. Готов поклясться, что если б выпотрошить ее мозг, в нем не нашлось бы ни одной самостоятельной идеи. Портретистка невыносимо скучна. Вот была бы отличная пара для Хэпгуда. А уж музыкантша! Не знаю, может быть у нее великолепная техника и беглость, и туше, – но только в музыке она ничего не смыслит.

– Но ведь она же превосходно играет, – попробовала протестовать Руфь.

– Да, с внешней стороны она играет виртуозно, но внутренняя сущность музыки для нее совершенно недоступна. Я спросил, какой внутренний смысл находит она в музыке, – вы знаете, меня всегда интересует этот вопрос, – и она ничего не могла ответить, кроме того, что она обожает музыку, что музыка величайшее из всех искусств, что музыка для нее дороже жизни.

– Вы всех заставили говорить на профессиональ-

ные темы, – сказала Руфь с упреком.

– Не отрицаю. Но уж если они и тут не могли сказать ничего путного, то вообразите мои мучения, если бы они стали разговаривать на какие-нибудь общие темы. А я-то думал, что здесь, где люди пользуются всеми преимуществами культуры… – Мартин на секунду умолк, и перед ним снова предстала его былая тень: парень в стетсоне, вперевалку шагающий по комнате, – Да, я думал раньше, что здесь каждый так и блещет умом и знаниями. Но из того немногого, что я видел, я уже могу вывести заключение: большинство этих людей – круглые невежды, а девяносто процентов остальных невыносимо скучны. Вот профессор Колдуэлл – это совсем другое дело. Это настоящий человек. – Руфь просияла.

– Расскажите мне о нем, – сказала она, – не об его блестящих качествах, – я и так их прекрасно знаю, – а о том, что вы в нем нашли заслуживающим порицания. Мне очень интересно знать.

– А вдруг я попаду впросак, – шутливо протестовал Мартин, – может быть, вы сами сначала скажете. Или вы в нем видите только одно хорошее?

– Я прослушала у него два курса и знаю его в продолжение двух лет; потому-то мне и интересно знать, какое он на вас произвел впечатление.

– То есть вас интересует дурное впечатление? Лад-

но. Я думаю, что он вполне заслуживает вашего восхищения и уважения. Это самый умный и развитой человек, которого я когда-либо встречал, но у него не спокойна совесть. О, не подумайте чего-нибудь дурного! – воскликнул Мартин. – Я хочу сказать, что он производит на меня впечатление человека, который заглянул вглубь вещей и так напугался, что самого себя хочет уверить в том, что ничего не видел. Может быть, я неясно выразил свою мысль? Попытаюсь объяснить иначе. Вообразите себе человека, который нашел тропу к скрытому в чаще храму и не пошел по ней. Он, может быть, даже видел и самый храм, но потом убедил себя, что это был просто мираж. Или вот еще. Это человек, который мог бы совершить прекрасный поступок, но не счел это нужным и теперь все время жалеет, что не сделал того, что мог сделать. В глубине души он смеется над наградой, которую мог получить за свои деяния, но где-то еще глубже тоскует по этой награде и по великой радости свершения.

– Я не подходила к нему с этой стороны, – сказала Руфь, – и, откровенно говоря, я все-таки не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

– Потому что я сам чувствую все это очень смутно, – говорил Мартин, как бы оправдываясь, – я не могу это обосновать логически. Это только чувство, и очень может быть, оно меня обманывает. Вы, навер-

ное, знаете профессора Колдуэлла лучше меня.

Из этого вечера у Морзов Мартин вынес странные и противоречивые чувства. Он настолько разочаровался в своих намерениях, разочаровался в людях, до которых; хотел подняться. С другой стороны, успех ободрил его. Подняться оказалось легче, чем он думал. Мартин не только преодолел трудности подъема, но (он этого не скрывал от себя из ложной скромности) оказался выше тех, до кого он старался возвыситься, исключая, разумеется, профессора Колдуэлла. Мартин знал жизнь и книги гораздо лучше, чем все эти люди, и он только удивлялся, в какие углы и подвалы запрятали они свое образование. Ему не приходило в голову, что он наделен исключительным умом, не знал он и того, что истинных и глубоких мыслителей нужно искать никак не в гостиной у Морзов; что эти мыслители подобны орлам, одиноко парящим в небесной лазури, высоко над землей, вдали от суеты и пошлости обыденной жизни.

Глава 28

Успех потерял адрес Мартина Идена, и посланцы его больше не стучались к нему в дверь. Двадцать пять дней, не отдыхая даже в воскресенье и праздники, Мартин работал над «Позором солнца» – большой статьей, почти в тридцать тысяч слов. Это была организованная атака на мистицизм школы Метерлинка, – вылазка из цитадели позитивных знаний, направленная против фантазеров, мечтающих о чудесах, хотя и в самой статье было много прекрасного и чудесного – только такого, что совмещалось с действительностью. К этой большой статье Мартин немного позже присоединил два небольших очерка: «Жрецы чудесного» и «Мерило нашего „я“». Все эти статьи, длинные и короткие, отправлялись путешествовать по редакциям.

За двадцать пять дней, потраченных на «Позор солнца», Мартину удалось продать на шесть с половиной долларов своих «доходных» произведений. За одну вещицу он получил пятьдесят центов, за другую, посланную в юмористический еженедельник, – целый доллар. Кроме того, были проданы еще два юмористических стихотворения, одно за два, другое за три доллара В конце концов, исчерпав свой кредит (хо-

тя бакалейщик увеличил его до пяти долларов), Мартину опять пришлось снести в ломбард велосипед и пальто. За прокат пишущей машинки снова требовали денег, напоминая Мартину, что по условию он обязан был платить за месяц вперед.

Ободренный сбытом нескольких мелочей, Мартин решил вновь заняться «ремесленничеством». Может быть, на это удастся кое-как прожить. У него под столом валялось около двадцати небольших рассказов, отвергнутых литературными агентствами. Мартин перечитал их, чтобы уяснить себе, как не надо писать газетные рассказы и, таким образом, выработать идеальную формулу. Он пришел к выводу, что в газетном рассказе не должно быть трагической развязки, в языке не должно быть излишних красот, мысли должны быть просты, а чувства примитивны. Но чувства все же должны быть, и притом непременно возвышенные и благородные, вроде тех, которые заставляли его некогда аплодировать с галерки пьесам типа «Хоть беден, да честен».

Уяснив себе все это, Мартин начал сочинять рассказ по выработанной им формуле. Формула была трехчленная: 1) двое влюбленных должны разлучиться; 2) благодаря какому-то событию они соединяются снова; 3) звон свадебных колоколов. Третий член был постоянной величиной, но первый и второй мог-

ли варьироваться бесконечно. Разлучить влюбленного могло роковое недоразумение, стечение обстоятельств, ревнивые соперники, жестокие родители, хитрые опекуны и т. д. и т. п.; соединить их мог какой-нибудь доблестный поступок влюбленного или влюбленной, вынужденное либо добровольное согласие опекуна, родителей или соперников, разоблачение какой-нибудь неожиданной тайны, самопожертвование влюбленного – и так далее, до бесконечности. Иногда можно было заставить девушку сделать первый шаг, и еще много других хитрых приемов и ловких трюков придумал Мартин, разрабатывая эту тему. Одним только не мог он распоряжаться по своему усмотрению: в конце каждого рассказа обязательно должны были звонить свадебные колокола, хотя бы небеса рухнули или земля разверзлась. Объем рассказа также был установлен совершенно точно: максимум – полторы тысячи слов, и минимум – тысяча двести.

Прежде чем окончательно овладеть искусством сочинения подобных рассказов, Мартину пришлось выработать пять или шесть схем, и с ними он всегда сообразовался в процессе писания. Это были как бы таблицы, которыми пользуются математики, которые можно читать сверху, снизу, справа налево, слева направо и по которым можно без всякого умственного напряжения составлять какие угодно комбинации,

всегда одинаково правильные и точные. По этим схемам Мартин в полчаса набрасывал штук десять сюжетов, которые откладывал и затем в свободное время обрабатывал. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Руфи, что мог сочинять такие рассказы даже во сне. Главная работа – составить схему, остальное все делалось чисто механически.

Мартин Иден не сомневался в силе своих формул и настолько уже знал издательский вкус, что, посылая первые два рассказа, был уверен, что они принесут ему деньги. И в самом деле, дней через десять Мартин получил два чека, каждый на четыре доллара.

Тем временем Мартин сделал новые печальные открытия, касающиеся журналов «Трансконтинентальный ежемесячник» напечатал его «Колокольный звон», но чека не прислал. Мартин очень нуждался в деньгах и написал в редакцию. Вместо чека он получил уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Проголодав два дня, Мартин принужден был опять заложить велосипед. Регулярно два раза в неделю он напоминал «Ежемесячнику» о своих пяти долларах, но, по-видимому, первый ответ был получен по чистой случайности. Мартин не знал, что «Ежемесячник» уже в течение нескольких лет едва сводит концы с концами, что он не имеет ни подписчиков, ни

покупателей и существует только объявлениями, которые печатаются в нем, скорее всего, из соображений филантропических. Не знал он и того, что «Ежемесячник» является единственным источником дохода для издателя и редактора и что этот доход они могут получать, лишь систематически не платя своим кредиторам. Разве мог Мартин подозревать, что на его пять долларов редактор выкрасил свой дом в Аламеде, и выкрасил его сам, так как для него была слишком высокой плата, установленная союзом маляров, а первый же штрейкбрехер, которого он нанял, свалился с лестницы, которую кто-то нарочно подтолкнул, и его отвезли в больницу со сломанной ногой.

Не получил Мартин и десяти долларов за очерк «Искатели сокровищ», принятый чикагской газетой. Очерк был напечатан, в этом он убедился, проглядывая журналы в городской читальне, но никакого ответа от издателя Мартин не добился. Его письма оставляли без внимания. Желая быть уверенным в том, что они доходят по назначению, Мартин отправлял их заказными, Это был грабеж, решил он, хладнокровный грабеж среди белого дня, – он голодал, а у него крали его товар, продав который он мог бы купить себе кусок хлеба.

«Юность и зрелость» был еженедельным журналом. Напечатав две трети повести в двадцать одну

тысячу слов, журнал вдруг перестал выходить. Таким образом, пропала всякая надежда на получение шестнадцати долларов.

В довершение всего «Котел» – его лучший рассказ – пропал зря. В отчаянии, перебрав множество журналов, Мартин послал его в Сан-Франциско, в журнал «Волна». Выбрал он этот журнал лишь потому, что можно было быстро получить ответ: редакция была близко, на другом берегу залива. Недели через две он с радостью увидел свой рассказ напечатанным на видном месте да еще с иллюстрациями. Вернувшись домой с сладко бьющимся сердцем, Мартин старался угадать, сколько заплатят ему за этот лучший его рассказ. Его радовала та быстрота, с которой рассказ был принят и напечатан, хотя издатель не уведомил его о принятии рукописи. Прождав неделю, две и еще несколько дней, Мартин, поборов ложный стыд, написал редактору «Волны», высказывая предположение, что его маленький счет был забыт среди множества важных дел.

«Даже если мне заплатят всего пять долларов, – размышлял Мартин, – и то я смогу купить на эти деньги бобов и гороху и напишу еще с полдюжины таких же рассказов».

Наконец пришел ответ, который привел Мартина в восторг своей великолепной наглостью:

«Мы очень благодарны вам за ваш прекрасный рассказ. Мы все в редакции с наслаждением читали его и, как видите, напечатали на почетном месте. Мы надеемся, что вам понравились иллюстрации.

Как видно из вашего письма, вы полагаете, будто мы платим за произведения, написанные не по нашему заказу. Этого мы не имеем обыкновения делать, а ваш рассказ нами не был заказан. Принимая его к печати, мы, разумеется, полагали, что вам это известно. Нам остается только пожалеть, что произошло такое печальное недоразумение. Еще раз благодарим вас и надеемся получить от вас что-нибудь. Примите и проч.».

В постскриптуме было сказано, что хотя, как правило, «Волна» никому бесплатно не высылается, тем не менее, редакция считает для себя за честь включить его в число подписчиков на следующий год.

После этого печального опыта Мартин всегда печатал вверху первого листа каждой рукописи: «Плата по вашей обычной ставке».

«Когда-нибудь, – утешал он себя, – они будут мне платить по моей обычной ставке!»

Мартина в этот период времени охватила горячка самосовершенствования, и он без конца исправлял и переделывал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произве-

дения. Ему по-прежнему не хватало девятнадцатичасового рабочего дня. Он усердно писал и читал, стараясь трудом заглушить муки, причиняемые отказом от курения. Средство, присланное Руфью, он засунул в самый дальний угол ящика письменного стола. Особенно трудно было обходиться без табаку во время голодовок; как он ни старался подавить желание курить, оно не пропадало. Мартин считал это своим величайшим подвигом, а Руфь находила, что он поступает правильно, и только. Она купила ему средство, отучающее от курения, из денег, которые получала на булавки, и через несколько дней совершенно забыла об этом.

Мартин ненавидел свои механически написанные рассказы, смеялся над ними, но они-то как раз продавались всего удачнее. Благодаря им он расплатился со всеми своими долгами и даже купил новые велосипедные шины. Эти рассказы давали ему деньги на каждодневные расходы, и у него еще оставалось время для серьезной работы. Кроме того, Мартина постоянно окрыляло воспоминание о сорока долларах, полученных от «Белой Мыши».

Как знать, может быть и другие первоклассные журналы платят неизвестным авторам столько же, а может быть, и еще больше. Но задача состояла в том, чтобы проникнуть в эти первоклассные журналы. Они

последовательно отвергали все его лучшие рассказы и стихи, а между тем из номера в номер появлялись в них десятки безвкусных и пошлых вещей.

«Если бы кто-нибудь из этих важных издателей, – думал иногда Мартин, – снизошел и написал мне хоть одну ободряющую строчку! Может быть, мое творчество слишком необычно, может быть оно им не подходит по различным соображениям, но неужели нет в моих произведениях ничего, что могло бы хоть вызвать желание ответить».

И вот Мартин снова брал «Приключение» или другой рассказ равного достоинства и перечитывал его в сотый раз, стараясь угадать причину молчания издателей.

С наступлением теплой калифорнийской весны для Мартина кончился период благоденствия. В течение нескольких недель его тревожило непонятное молчание литературного агентства. Наконец в один прекрасный день ему вернули сразу десять его «механических» рассказов. При них было сопроводительное письмо, оповещавшее Мартина о том, что агентство завалено материалом и раньше чем через несколько месяцев не стоит и присылать новые рукописи. А Мартин, рассчитывая на эти рассказы, был за последнее время даже расточителен. Агентство обычно платило ему по пяти долларов за рассказ и

до сих пор еще не отвергло ни одного; поэтому Мартин поступал так, как если бы у него на текущем счету уже лежало пятьдесят долларов. Таким образом, для Мартина сразу наступил период тяжелых испытаний, и он снова начал с отчаянием рассылать свои старые рассказы по мелким изданиям, которые не платили денег, а новые отправлял в солидные журналы, неизменно возвращавшие их обратно. Он возобновил посещение оклендского ломбарда. Два-три шуточных стихотворения, принятые нью-йоркскими еженедельниками, дали ему возможность кое-как перебиться. Тогда он решился и написал во все крупные журналы: почему не печатают его произведения? Ему ответили, что рукописи, поступающие самотеком, обычно не рассматриваются, что большая часть печатаемого материала пишется по заказу журналов, авторами, которые уже имеют имя и опыт.

Глава 29

Это было тяжелое лето для Мартина Идена. Редакторы и издатели удалились на отдых, и рукописи, возвращавшиеся обычно через три недели, теперь валялись в редакциях по три месяца. Единственным утешением было то, что не приходилось тратиться на марки. Только грабительские журналы продолжали жить интенсивною жизнью. И Мартин послал им все свои ранние произведения: «Ловцов жемчуга», «Профессию моряка», «Ловлю черепах», «Северо-восточный пассат». Ни за один из этих очерков ему не было уплачено. Правда, после шестимесячной переписки Мартин получил безопасную бритву за «Ловлю черепах», а «Акрополь» обещал ему пять долларов и пять годовых подписок за «Северо-восточный пассат», но исполнил лишь вторую часть обещания.

За сонет о Стивенсоне Мартин получил два доллара от одного бостонского издателя, не любившего сорить деньгами. Поэма «Пэри и жемчуг», только что законченная Мартином, очень понравилась редактору одного журнала в Сан-Франциско, издававшегося на средства крупной железнодорожной компании. Редактор предложил Мартину в уплату за поэму даровой проезд по железной дороге. Мартин запросил его, мо-

жет ли он передать кому-нибудь это право. Узнав, что передавать право на даровой проезд нельзя и, следовательно, нет надежды заработать на этом, Мартин потребовал возврата рукописи. Он ее вскоре получил, причем редактор выразил в письме свое глубокое сожаление по поводу того, что поэму не пришлось напечатать. Мартин отправил ее в Сан-Франциско вторично, на этот раз в журнал под названием «Шершень», когда-то основанный блестящим журналистом, сумевшим быстро раздуть его популярность. К несчастью звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Редактор предложил Мартину за поэму пятнадцать долларов, но как только поэма была напечатана, по-видимому забыл о своем обещании. Не получив ответа на многие запросы, Мартин написал, наконец, резкое письмо и получил от нового редактора холодное извещение, что он не отвечает за ошибки своего предшественника и что сам он весьма невысокого мнения о поэме «Пэри и жемчуг».

Но хуже всего поступил с Мартином чикагский журнал «Глобус». После долгих колебаний, побуждаемый голодом, Мартин все-таки решил напечатать «Песни моря». Отвергнутые дюжиной журналов, стихи эти обрели, наконец, тихую пристань в редакции «Глобуса». В цикле было тридцать стихотворений, и Мартин дол-

жен был получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны четыре стихотворения. И Мартин получил чек на четыре доллара; но, заглянув в журнал, Мартин ужаснулся. Заглавия стихотворений были изменены вместо «Finis» было напечатано «Финиш», *(Finis – финис (лат.) – конец; финиш (англ.) – конечный пункт пробега в спорте)* вместо «Песня морского утеса», стояло: «Песня кораллового утеса». Одно заглавие было просто заменено другим, совершенно неподходящим: вместо «Свет медузы» редактор написал: «След позади». Самые стихи подверглись еще большим искажениям. Мартин скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Фразы, строчки, целые строфы были выпущены, спутаны, переставлены так, что иногда ничего нельзя было понять. Иные строчки били просто заменены чужими. Мартин не мог представить себе, что здравомыслящий редактор может быть повинен в подобных злодействах, и решил, что это проделки какого-либо типографского мальчишки или переписчика. Мартин немедленно потребовал прекратить печатание цикла, он писал письмо за письмом, умоляя, угрожая, требуя. Но все его письма были оставлены без внимания. Ежемесячно появлялись эти исковерканные стихи, и ежемесячно Мартин получал чек за то, что уже было напечатано.

При всех этих неудачах Мартина поддерживало

воспоминание о сорока долларах «Белой Мыши», но он все больше и больше времени отдавал сочинению доходных мелочей. Он неожиданно нашел «хлебное место» в агрономических и торговых журналах, попробовал было иметь дело с религиозным еженедельником, но увидел, что тут все шансы умереть с голоду.

В самый критический момент, – когда уже был заложен черный костюм, – Мартину вдруг повезло на конкурсе, объявленном комитетом республиканской партии. Собственно, это был даже не один конкурс, а три, и Мартин во всех трех оказался победителем. Он горько смеялся над самим собой и над тем, что ему приходится прибегать к подобным ухищрениям. Его поэма удостоилась первой премии в десять долларов, его агитационная песня получила вторую премию в пять долларов, и, наконец, статья о задачах республиканской партии получила опять-таки первую премию в двадцать пять долларов. Все это очень обрадовало его, и он радовался до тех пор, пока не отправился получать деньги. Что-то, очевидно, случилось в комитете, и хотя среди его членов был один банкир и одни сенатор, денег у комитета все же не оказалось. Пока продолжалась волокита, Мартин доказал, что не хуже разбирается в задачах демократической партии, получив первую премию за статью,

написанную для подобного же конкурса. Мало того, здесь он даже получил свои двадцать пять долларов. Сорока долларов, следуемых ему по первому конкурсу, он так и не увидел никогда.

Чтобы встречаться с Руфью, Мартин вынужден был пойти на хитрость. Так как хождение от Северного Окленда до дома Морзов и обратно отнимало слишком много времени, то Мартин решил выкупить велосипед, заложив для этого свой черный костюм. Поездки на велосипеде, сохраняя время, служили в то же время прекрасным физическим упражнением. А кроме того, короткие парусиновые брюки и старый свитер могли отлично сойти за велосипедный костюм, и Мартин мог теперь почти ежедневно совершать прогулки вдвоем с Руфью. Дома видеться с нею было не совсем удобно, ибо миссис Морз продолжала осуществлять свой план светских развлечений. Избранное общество, которое Мартин встречал в гостиной и на представителей которого он еще недавно смотрел снизу вверх, теперь лишь раздражало его. Оно уже не казалось ему избранным. Тяжелая жизнь, напряженная работа и постоянные неудачи сделали Мартина злым и раздражительным, и разговор с подобными людьми приводил его в бешенство. Это не было чрезмерное самомнение. Людей он судил, сравнивая их не с собой, а с великими мыслителями, чьи

книги он читал с таким благоговением. В доме Руфи он не встретил еще ни одного по-настоящему умного человека, за исключением профессора Колдуэлла, который, впрочем, больше там не показывался. Все остальные были жалкие догматики, ничтожные люди с ничтожными мыслями. Их невежество поражало Мартина. Почему они все так невежественны?

Куда они девали свое образование? Ведь они читали те же книги, что и он. Как могло случиться, что они ничего не извлекли из них?

Мартин знал, что великие умы, настоящие, глубокие мыслители существуют. Лучшим тому доказательством были книги, которые помогли ему возвыситься над средой Морзов. И он знал, что даже в так называемом «обществе» можно встретить людей умней и куда интересней всех тех, которые наполняли гостиную Морзов. Он читал английские романы, в которых светские люди спорили в гостиных на политические и философские темы. Он знал, что в больших городах, не только английских, но и американских, существуют салоны, где сходятся представители искусства и научной мысли. Раньше он, по глупости, воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежащий к рабочему сословию, обладает силой ума и утонченным чувством прекрасного. Крахмальный воротничок казался ему признаком культуры, и он еще не знал,

что университетское образование и истинное знание далеко не одно и то же.

Ну, что же! Он будет прокладывать себе дорогу все выше и выше. И Руфь он поведет за собою. Страстно любя ее, Мартин был уверен, что она повсюду будет блистать. Он теперь понимал, что среда, в которой она выросла, во многом тормозила ее, так же как его, Мартина, тормозила в свое время его среда. Руфь еще ни разу не имела случая по-настоящему проявить себя. Книги в кабинете ее отца, картины на стенах, ее собственная игра на рояле – все это было лишь красивой внешностью. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке, Морзы и все их знакомые были слепы и глухи. А важнее всего этого была жизнь, о которой они тоже не имели никакого представления. Они называли себя унитариями, носили маску вольнодумства и, при всем том, отстали, по крайней мере, на два века от положительной науки; они мыслили по средневековому, а их взгляды на мир и его происхождение напоминали взгляды метафизиков, столь же юных, как самая юная раса и столь же древних, как пещерный человек, и даже древнее. Это была та самая метафизика, которая заставляла первого обезьяноподобного человека бояться мрака, иудею внушала мысль о происхождении Евы из адамова ребра, Декарта научила рассматривать мир как

проекцию собственного ничтожного «я», а одного знаменитого английского священника побудила осмеять эволюцию в уничтожающей сатире, которая вызвала бурю восторга и запечатлела его имя в виде жирной каракули на страницах истории.

Чем больше Мартин раздумывал над всем этим, тем сильнее крепло в нем убеждение, что вся разница между этими адвокатами, офицерами, дельцами, банкирами, с одной стороны, и людьми рабочего сословия, с другой, основана на том, что они иначе едят, живут и одеваются. Всем им одинаково не хватало того самого главного, что он находил в книгах и чувствовал в себе. Морзы показали Мартину сливки своего круга, и он не пришел от них в восторг. Нищий батрак, он все же был головою выше всех тех, кого встречал в гостиной у Морзов. Выкупив из ломбарда свой костюм, Мартин являлся к этим людям и чувствовал себя среди них, как принц, принужденный жить среди пастухов.

– Вы ненавидите и боитесь социалистов, – сказал он однажды за обедом мистеру Морзу, – но почему? Вы ведь не знаете ни их самих, ни их взглядов.

Разговор о социализме возник после того, как миссис Морз пропела очередной дифирамб мистеру Хэпгуду. Мартин не выносил этого самодовольного пошляка и всякий раз терял терпение, когда разговор за-

ходил о нем.

– Да, – сказал Мартин, – Чарли Хэпгуд подает надежды, об этом все говорят, и это правда. Я думаю, что он еще задолго до смерти сядет в губернаторское кресло, а то и сенатором сделается.

– Почему вы так думаете? – спросила миссис Морз.

– Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она была так умно-глупа и банальна и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его абсолютно надежным и безопасным человеком, а пошлости, которые он говорит, вполне соответствуют пошлости среднего избирателя. Всякому человеку лестно услышать с кафедры свои собственные взгляды.

– Мне положительно кажется, что вы завидуете мистеру Хэпгуду, – сказала Руфь.

– Боже меня упаси!

Ужас, мелькнувший в глазах Мартина, заставил миссис Морз настроиться на воинственный лад.

– Не хотите же вы сказать, что мистер Хэпгуд глуп? – спросила она ледяным тоном.

– Не глупее среднего республиканца, – возразил Мартин, – или среднего демократа. Они все или хитры, или глупы, причем хитрых меньшинство. Единственные умные республиканцы – это миллионеры и их сознательные прислужники. Эти-то отлично знают,

где жареным пахнет, и знают почему.

– Вот я республиканец, – сказал с улыбкой мистер Морз, – интересно, как вы меня классифицируете?

– Вы бессознательный прислужник.

– Прислужник?!

– Ну, разумеется. Вы член корпорации. У вас нет знания рабочего класса и нет юридической практики в уголовных делах. Ваш доход не зависит ни от мужей, бьющих своих жен, ни от карманников. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе; а всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник! Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите.

Мистер Морз слегка покраснел.

– Должен вам заметить, сэр, – сказал он, – что вы говорите, как заядлый социалист.

Вот тогда-то Мартин и сделал свое замечание по поводу социализма:

– Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.

– Ну, ваши взгляды во всяком случае совпадают со взглядами социалистов, – возразил мистер Морз.

Руфь с тревогой поглядела на собеседников, а миссис Морз радовалась, что ее враг навлекает на себя немилость главы дома.

– Если я называю республиканцев глупыми и говорю, что свобода, равенство и братство – лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я социалист, – сказал Мартин улыбаясь. – Если я не верю в Джефферсона и в того невежественного француза, который его воспитал, то опять-таки этого недостаточно, чтобы называться социалистом. Уверяю вас, мистер Морз, что вы гораздо ближе меня к социализму; я ему в сущности заклятый враг.

– Вы, конечно, изволите шутить? – холодно спросил мистер Морз.

– Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство. А меня вы называете социалистом только потому, что я отрицаю равенство и утверждаю как раз тот принцип, который вы, в сущности говоря, доказываете всей своей жизнью. Республиканцы – самые лютые враги равенства, хотя они и проповедуют его где только возможно. Во имя равенства они постоянно нарушают равенство. Поэтому-то я называю их глупцами. А я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрейший, а в борьбе сильнейший Эту истину я почерпнул из биологии, или по крайней мере мне кажется, что я ее почерпнул оттуда. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуали-

сты вечные, исконные враги социалистов.

– Однако вы ходите на социалистические митинги, – раздраженно произнес мистер Морз.

– Конечно. Так же, как разведчик ходит во вражеский лагерь. Как же иначе изучить противника? А кроме того, мне бывает очень весело на этих митингах. Социалисты-прекрасные спорщики, и хорошо ли, плохо ли, но они изучили кое-что. Любой из них знает о социологии и о всяких других «логиях» гораздо больше, чем обыкновенный капиталист. Да, я раз десять был на социалистических митингах, но от этого не стал социалистом, так же как от разглагольствований Чарли Хэпгуда не стал республиканцем.

– Не знаю, не знаю, – нерешительно сказал мистер Морз, – мне почему-то кажется, что вы все-таки склоняетесь к социализму.

«Чёрт побери, – подумал Мартин, – он не понял ни одного слова! Точно я говорил с каменной стенкой! Куда же делось все его образование?»

Так на пути своего развития Мартин столкнулся лицом к лицу с буржуазной классовой моралью; и вскоре она сделалась для него настоящим пугалом. Сам он был интеллектуальным моралистом, и мораль окружающих его людей раздражала его даже больше, чем их напыщенная пошлость; это была какая-то удивительная смесь, экономики, метафизики, сентимен-

тальности и подражательности.

Образчик этой курьезной смеси Мартину неожиданно пришлось встретить среди своих близких. Его сестра Мэриен познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, механиком, который, основательно изучив свое ремесло, открыл велосипедную мастерскую, сделался агентом по продаже дешевых велосипедов и зажил очень недурно. Мэриен, зайдя к Мартину, сообщила ему о своей помолвке, а потом шутя взяла его за руку и стала по линиям ладони предсказывать его судьбу.

В следующий раз она привела с собой и Германа Шмидта. Мартин поздравил обоих в самых изысканных выражениях, что, по-видимому, не слишком понравилось туповатому жениху. Дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после прошлого посещения Мэриен. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Гадалка». Прочтя его вслух, Мартин с изумлением увидел, что его гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, на топорной физиономии которого были ясно написаны досада и раздражение. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан, гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как могла женщина, хотя бы и из рабочего сосло-

вия, быть недовольна, что в честь ее написаны стихи.

Через несколько дней Мэриен снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Не успела она войти, как уже начала горько упрекать его за неуместный поступок.

– В чем дело, Мэриен? – спросил Мартин с удивлением. – Ты говоришь таким тоном, словно ты стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата!

– Конечно, стыжусь, – объявила она.

Мартин был окончательно сбит с толку, увидев слезы обиды в ее глазах. Обида во всяком случае была искренняя.

– Неужели твой Герман ревнует из-за того, что брат написал о сестре стихи?

– Он вовсе не ревнует, – всхлипнула она, – он говорит, что это неприлично, непри… непристойно.

Мартин недоверчиво свистнул, потом полез в ящик и достал экземпляр «Гадалки».

– Не понимаю, – сказал он, передавая листок сестре, – прочти сама и скажи, что тут есть непристойного? Ведь ты так сказала?

– Раз он говорит, значит есть, – возразила Мэриен, с отвращением отстраняя бумагу. – Он требует, чтобы ты разорвал это. Он говорит, что не хочет иметь жену, про которую пишут подобные вещи, и так, чтобы всякий мог прочитать. Он говорит, что это срам… и он

этого не потерпит.

– Что за ерунда! – вскричал было Мартин, но внезапно ход его мыслей изменился.

Перед ним сидела несчастная девушка, которую нельзя было переубедить, так же как и ее жениха, и поэтому, сознавая всю нелепость инцидента, Мартин решил покориться.

– Ладно, – сказал он и, разорвав рукопись на мелкие кусочки, бросил их в корзинку.

Его утешала при этом мысль, что оригинал «Гадалки» уже покоится в одной из нью-йоркских редакций. Ни Мэриен, ни ее супруг никогда не узнают этого и ничего дурного не случится, если это невинное маленькое стихотворение будет напечатано.

Мэриен потянулась к корзине.

– Можно? – спросила она.

Мартин кивнул головой и молча глядел, как собирала сестра кусочки разорванной рукописи, – они ей нужны были как вещественное доказательство удачно выполненной миссии. Мэриен чем-то напоминала Мартину Лиззи Конолли, хотя в ней не было того огня и жизненного задора, которым так полна была молоденькая работница, встреченная им в театре. Но у них было много общего – в одежде, в манерах, в поведении. Мартин не мог удержаться от улыбки, представив себе вдруг этих девушек в гостиной Морзов. Но за-

бавная картина исчезла, и чувство бесконечного одиночества охватило Мартина. И его сестра и гостиная Морзов были только верстовыми столбами на пройденном им пути. Все это уже осталось позади. Мартин ласково поглядел на свои книги. Это были его единственные, всегда верные товарищи.

– Как? Что ты сказала? – переспросил он вдруг в изумлении.

Мэриен повторила свой вопрос.

– Почему я не работаю? – Мартин засмеялся, но смех его звучал не слишком искренно. – Это твой Герман велел тебе меня спросить?

Мэриен отрицательно покачала головой.

– Не лги, – строго сказал Мартин, и она смущенно наклонила голову. – Так скажи своему Герману, чтобы он не лез не в свои дела. Еще когда я пишу стихи, посвященные его невесте, это, пожалуй, его дело, но дальше пусть он не сует своего носа. Поняла? Ты думаешь, стало быть, что из меня не выйдет писателя? – продолжал он. – Ты считаешь, что я сбился с пути, что я позорю всю семью? Да?

– Я считаю, что тебе бы лучше заняться какой-нибудь работой – твердо сказала Мэриен, и Мартин видел, что она говорит искренно. – Герман находит…

– К чёрту Германа! – прервал ее добродушно Мартин. – Ты мне лучше скажи, когда ваша свадьба. И

спроси своего Германа, соблаговолит ли он принять от меня свадебный подарок.

После ее ухода Мартин долго думал об этом инциденте и раз или два горько рассмеялся. Да, все они – его сестра и ее жених, люди его круга и люди, окружающие Руфь, – все они одинаково приспособляются к общим меркам все строят свою жизнь по готовому, убогому образцу. И постоянно глядя друг на друга, подражая друг другу, эти жалкие существа готовы стереть свои индивидуальные особенности, отказаться от живой жизни, чтобы только не нарушить нелепых правил, у которых они с детства в плену. Все они вереницей прошли перед мысленным взором Мартина: Бернард Хиггинботам под руку с мистером Батлером, Герман Шмидт обнявшись с Чарли Хэптудом. Всех их внимательно оглядел Мартин, всех измерил тем мерилом, которое почерпнул из книг. Напрасно спрашивал он, где же великие сердца, великие умы? Их не было видно среди толпы пошлых, невежественных призраков, наполнивших его тесную каморку. А к этой толпе он чувствовал такое же презрение, какое, вероятно чувствовала Цирцея к своим свиньям.

Когда последний из призраков исчез, явился вдруг еще один нежданный и незванный – юный сорванец в шляпе с огромными полями, в двубортной куртке, переваливающийся на ходу, – Мартин Иден далекого

прошлого.

– И ты был не лучше, приятель, – насмешливо сказал ему Мартин, – У тебя была такая же мораль, и знал ты не больше их. Ты ни о чем не задумывался и не заботился. Взгляды ты приобрел готовыми, как и платье. Ты делал то, что вызывало одобрение других. Ты был предводителем своей шайки, потому что был ею избран. Ты дрался и командовал шайкой не потому, что тебе это нравилось, а потому, что другие поощрительно хлопали тебя за это по плечу. Ты побил Масляную Рожу потому, что не хотел уступить, а уступить не хотел потому, что был грубой скотиной, и вдобавок тебе прожужжали уши, что мужчина должен быть свиреп, кровожаден и безжалостен, что бить и калечить – достойно и мужественно. А зачем ты отбивал девчонок у своих товарищей? Вовсе не потому, что они тебе нравились, а просто потому, что окружающие с самых ранних лет будили в тебе инстинкты жеребца и дикого быка! Ну вот, с тех пор прошло немало времени. Что же ты теперь обо всем этом думаешь?

И, как бы в ответ на это, в его видении стала совершаться быстрая перемена. Грубая куртка и широкополая шляпа исчезли, их заменил простой скромный костюм; лицо перестало быть мрачным и зверским и озарилось внутренним светом, одухотворенное общением с истиной и красотой. Видение теперь

было очень похоже на нынешнего Мартина; оно стояло у стола, над которым горела лампа, склонясь над раскрытой книгой. Мартин взглянул на заголовок. Это были «Основы эстетики». В следующий миг Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.

Глава 30

В солнечный осенний день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые узнали, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои «Сонеты о любви». Так же как и тогда, они сидели на своем любимом месте, среди холмов. Руфь несколько раз прерывала чтение восторженными возгласами, и Мартин, кончив читать, с волнением ждал, что она скажет.

Руфь долго молчала, как бы подыскивая слова, могущие смягчить суровость ее суждения.

– Эти стихи прекрасны, – сказала она наконец, – да, конечно, они прекрасны. Но ведь вы не можете получить за них деньги. То есть, вы понимаете, что я хочу сказать, – она произнесла, это почти умоляюще: – все, что вы пишете, оказывается неприменимо в жизни. Я не знаю, в чем тут причина, – вероятно, виноваты условия рынка, – но вы ничего не можете заработать своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой. Я очень горжусь, – иначе я не была бы женщиной, – я горжусь и радуюсь, что мне посвящены эти чудесные стихи. Но ведь дня нашей свадьбы они не приближают, правда, Мартин? Не сочтите меня корыстолюбивой. Но я все время думаю

о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а свадьба так же далека, как и раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни. Уж если вы так любите писать – ну, найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером? Ну, хоть ненадолго?

– Я испорчу свой стиль, – глухо ответил Мартин, – вы себе представить не можете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль.

– Но ведь вы же писали газетные фельетоны ради денег? Они вам не испортили стиля?

– Это совсем другое дело. Я их писал после целого дня серьезной работы. А репортерской работой нужно заниматься с утра до вечера, ей нужно отдать всю жизнь! И жизнь превращается при этом в какой-то вихрь, это жизнь минуты, без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского. А это не литература. Мне сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал вырабатываться, определяться, – да это было бы литературным самоубийством. Даже и сейчас каждый фельетон, каждое слово в фельетоне для меня всегда мука, насилие над собой, над моим пониманием красоты! Вы не представляете, как это

тяжело. Я просто чувствую себя преступником. Я даже радовался втайне, когда мои «ремесленные» рассказы перестали покупать, хотя вследствие этого я должен был заложить костюм. Что может сравниться с тем наслаждением, которое я испытал, когда писал «Сонеты о любви»? Ведь радость творчества – благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила сторицей за все лишения.

Мартин не знал, что для Руфи «радость творчества» – пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и Мартин впервые услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слушала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была настолько заурядна, настолько лишена всякого творческого порыва, что могла лишь слепо повторять то, что говорили о творчестве другие.

– А может быть, редактор был прав, исправляя ваши «Песни моря»? – спросила Руфь. – Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором.

– Вот лишнее доказательство устойчивости общепринятых мнений, – запальчиво возразил Мартин, раздраженный упоминанием о своих врагах – редакторах. – То, что существует, считается не только пра-

вильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как его оправдание, – и, заметьте, не только при данных условиях, а на веки вечные. Конечно, люди верят в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству, благодаря самообману, который так превосходно описал Вейнингер. Невежественные люди воображают, что они мыслят, распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.

Мартин вдруг остановился, испуганный догадкой, что Руфь еще не доросла до всего этого.

– Я не знаю, кто такой Вейнингер, – возразила она, – вы всегда так ужасно все обобщаете, что я перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор…

– А я вам говорю, – перебил он, – что все редакторы, по крайней мере девяносто девять процентов из них, – это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, однако, что им приятнее тянуть лямку в редакции и сознавать свою рабскую зависимость от успеха журнала и от оборотливости издателя, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими сторожевыми собаками, литературными неудачниками. Редакторы, их

помощники, рецензенты – вообще все те, кто читает рукописи, – это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но у которых для этого не хватило пороха. И вот они-то, оказавшиеся самыми бездарными, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они, жалкие и бесталанные, судят гения. А за ними следуют критики, обычно, такие же неудачники. Не говорите мне, что они никогда не мечтали и не пробовали писать стихи или прозу, – они пробовали, но только из этого ни черта не вышло. От этих журнальных критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на критику. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы. Если из меня не выйдет писателя, пойду в редакторы. В конце концов это кусок хлеба. И даже с маслом.

Однако быстрый ум Руфи тотчас подметил противоречие, заключавшееся в рассуждениях ее возлюбленного.

– Ну, хорошо, Мартин, если это так, и для талантливых людей все двери редакции закрыты, то как же выдвинулись великие писатели?

– Они совершили невозможное, – ответил он, – они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха, благодаря чуду, выпадающему на

долю одного из тысячи. Они вроде гигантов Карлейля, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.

– Но, если вы потерпите неудачу? Вы должны подумать и обо мне, Мартин!

– Если я потерплю неудачу! – Он поглядел на нее с минуту, словно она сказала нечто немыслимое. Затем глаза его засверкали. – Тогда я стану редактором, и вы будете редакторской женой!

Руфь состроила при этом гримасу, очаровательную гримасу, которую Мартин тотчас прогнал поцелуями.

– Ну, ну, довольно, – протестовала Руфь, стараясь усилием воли освободиться от обаяния его силы. – Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда так с ними не воевала. Я была непочтительна и дерзка. Они оба настроены против вас, но я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа, наконец, согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалованье, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень мило с его стороны, не правда ли, Мартин?

Мартин почувствовал, как тупое отчаяние сдавило ему сердце. Он машинально полез в карман за табаком и бумагой (которых давно уже не носил при себе) и пробормотал что-то невнятное.

Руфь продолжала:

– Откровенно говоря, – только вы, ради бога, не обижайтесь, – папе очень не правятся ваши радикальные взгляды, и, кроме того, он считает вас лентяем. Я то знаю, конечно, что вы не лентяй. Я знаю, как вы много работаете.

«Нет, этого даже и она не знает», – подумал Мартин, но вслух спросил только:

– Ну, а вы как думаете? Вам тоже мои взгляды кажутся чересчур радикальными? – Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.

– Мне они кажутся сомнительными, – ответила она наконец.

Этим было все сказано, и жизнь вдруг покаялась Мартину такой унылой, что он совсем забыл об осторожно сделанном Руфью предложении поступить на службу в контору ее отца. А она, зайдя, как ей казалось достаточно далеко, готова была терпеливо ждать удобного случая, чтобы вернуться к этому вопросу.

Но ждать пришлось недолго. У Мартина в свою очередь был вопрос к Руфи. Ему хотелось испытать насколько сильна ее вера в него. И через неделю каждый получил ответ на свой вопрос.

Мартин ускорил дело, прочтя Руфи «Позор солнца».

– Почему вы не хотите стать репортером? – воскликнула Руфь, когда Мартин кончил читать. – Вы так любите писать, и вы, наверное, добились бы успеха мог ли бы выдвинуться, сделать себе имя. Ведь некоторые специальные корреспонденты зарабатывают огромные деньги и, кроме того, еще ездят по всему миру. Их посылают в Африку, – Стэнли, например, – они интервьюируют в Ватикане папу, исследуют таинственные уголки Тибета.

– Значит, вам не нравится моя статья? – спросил Мартин. – Вы, стало быть, предполагаете что я мог бы стать только журналистом, но никак не писателем?

– О нет! Мне очень понравилась ваша статья. Она прекрасно написана. Но только я боюсь что все это не по плечу вашим читателям. По крайней мере для меня это слишком трудно. Звучит очень хорошо, но я ничего не поняла. Слишком много специальной научной терминологии прежде всего. Вы любите крайности дорогой мой, и то, что вам кажется попятным, совершенно непонятно для всех нас.

– Да, в статье много философских терминов, – только и мог сказать Мартин.

Он еще был взволнован – ведь он только что читал вслух самые свои зрелые мысли – и ее суждение ошеломило его.

– Ну, пусть это неудачно по форме, – пытался на-

стаивать Мартин, – но неужели сами мысли в вас не встречают сочувствия?

Руфь покачала головой.

– Нет. Это так не похоже на все, что я читала раньше… Я читала Метерлинка, и он был мне вполне понятен.

– Его мистицизм вам понятен? – вскричал Мартин.

– Да. А вот эта ваша атака на него мне совершенно непонятна. Конечно, если говорить об оригинальности…

Мартин сделал нетерпеливое движение, но промолчал. Потом вдруг до его сознания дошли слова, которые Руфь продолжала говорить.

– В конце концов, ваше творчество было для вас игрушкой, – говорила она, – вы достаточно долго забавлялись ею. Пора теперь отнестись серьезно к жизни, к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя.

– Вы хотите, чтобы я поступил на службу?

– Да. Папа предлагает вам…

– Знаю, знаю, – прервал он резко, – но скажите мне прямо: вы в меня больше не верите?

Руфь молча сжала ему руку. Ее глаза затуманились.

– Не в вас, в ваш литературный талант, мой милый, – почти шепотом сказала она.

– Вы прочли почти все мои произведения, – так же резко продолжал он, – что вы о них думаете? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?

– Другие получают деньги за свои произведения.

– Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?

– Ну, хорошо, я вам отвечу. – Руфь сделала над собой усилие. – Я не думаю, что вы можете стать писателем. Не сердитесь на меня, дорогой! Вы же сами меня спросили. А ведь вы знаете, что я больше вашего понимаю в литературе.

– Да, вы бакалавр искусств, – проговорил Мартин задумчиво, – вы должны понимать… Но этим еще не все сказано, – продолжал он после мучительной для обоих паузы. – Я знаю, в чем мое призвание. Никто не может знать этого лучше меня. Я знаю, что добьюсь успеха. Я преодолею все препятствия. Во мне так и кипит все то, что находит отражение в моих стихах, статьях и рассказах. Но я вас не прошу верить в это. Не верьте ни в меня, ни в мой литературный талант. Единственное, о чем я вас прошу, – это верить в мою любовь и любить меня по-прежнему. Помните, год тому назад я просил вас подождать два года. Один год уже прошел, но всеми фибрами своей души я чувствую, что к концу второго года я до-

бьюсь успеха. Помните, когда-то вы сказали мне: чтобы стать писателем, нужно пройти ученический искус. Что ж, я прошел его. Я спешил, я уложился в короткий срок. Вы были конечной целью всех моих стремлений, и мысль о вас все время поддерживала мою энергию. Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит выспаться? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с тех пор, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался выспавшись. Теперь меня всегда подымает будильник. Когда бы я ни лег, рано или поздно, я всегда ставлю его на определенный час. Это последнее сознательное усилие, которое я делаю перед сном: завожу будильник и гашу лампу. Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Я читал о человеке, который боялся спать, – помните, у Киплинга? Он пристраивал в постели шпору так, что если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я сделал то же самое. Я решал, что не засну до полуночи, до часу, до двух… И действительно, не засыпал до положенного времени. Так продолжалось в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Я теперь сплю всего четыре часа. Я страдаю от недостатка сна. Ино-

гда у меня кружится голова и путаются мысли – до такой степени хочется мне уснуть; могильный покой кажется мне иногда блаженством. Мне часто вспоминаются стихи Лонгфелло:

В морской холодной глубине
Все спит в спокойном, тихом сне.
Один лишь шаг – плеснет вода,
И все исчезнет навсегда.

Конечно, все это вздор. Это происходит от нервного переутомления. Но вот вопрос: ради чего я делал все это? Ради вас. Чтобы сократить срок ученичества, чтобы заставить успех поторопиться. И теперь мое ученичество окончено. На что я способен? Уверяю вас, ни один студент в год не выучит того, что я выучиваю в один месяц. Я знаю. Вы уж мне поверьте. Я бы не стал говорить об этом, если бы мне так страстно не хотелось, чтобы вы меня поняли. И в этом нет хвастовства. Результат моих занятий измеряется книгами. Ваши братья – невежественные дикари по сравнению со мной, а все свои знания я приобрел в те часы, когда они мирно спали. Когда-то я хотел прославиться. Теперь слава для меня ничего не значит. Я хочу только вас. Вы мне нужнее пищи, нужнее одежды, нужнее всего на свете. Я мечтаю только о том, чтобы уснуть, наконец, положив голову к вам на грудь.

И меньше чем через год мечта эта сбудется.

Опять его сила волнами приливала к ней; и чем упорнее она противилась, тем больше ее влекло к нему. Эта сила, покорявшая ее, теперь проявлялась в его сверкающем взгляде, в его страстной речи, в той огромной жизненной энергии, которая бурлила и клокотала в нем. И вот на один миг, на один только миг, прочный, устойчивый мир Руфи заколебался, и она вдруг увидела перед собой настоящего Мартина Идена, великолепного и непобедимого! И как это бывает с укротителями зверей, на которых минутами находит сомнение, – так и она усомнилась в возможности смирить непокорный дух этого человека.

– И вот еще что, – продолжал он, – вы меня любите. Но почему вы меня любите? Ведь это та сама сила, что заставляет меня писать, заставляет вас любить меня. Вы любите меня потому, что я не похож на окружающих вас людей. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, разделять их взгляды, – и вы уничтожите разницу между мной и ими, уничтожите меня, уничтожите то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне, – это страсть к творчеству. Ведь вы бы меня никогда не полюбили, будь я каким-нибудь заурядным олухом, не мечтающим о

литературе.

– Но вы забываете, – прервала его Руфь, поверхностный ум которой был очень склонен к параллелям, – что бывали и раньше чудаки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними из-за их чудачеств.

– Верно, – возразил он. – Но ведь были и другие изобретатели – не чудаки, те, что всю жизнь бились над созданием чего-то реального и практического и, в конце концов, добились своего. Я ведь не хочу ничего невозможного…

– Вы сами сказали, что хотите «добиться невозможного».

– Я выразился фигурально. Я стремлюсь, в сущности говоря, достичь того, чего достигли до меня очень и очень многие: писать и жить литературным трудом.

Молчание Руфи раздражало Мартина.

– Стало быть, вы считаете, что моя цель так же химерична, как поиски вечного двигателя? – спросил он.

Ответ был ясен из пожатия ее руки – нежного материнского пожатия, словно мать успокаивала капризного ребенка. Для нее Мартин и в самом деле был только капризный ребенок, чудак, желающий добиться невозможного.

Руфь еще раз напомнила Мартину о том, как враж-

дебно относятся к нему ее родители.

– Но ведь вы-то меня любите? – спросил он.

– Люблю, люблю! – воскликнула она.

– И я вас люблю, и ничего они мне не могут сделать, – голос его звучал торжествующе. – Раз я верю в вашу любовь, то мне нет дела до их ненависти. Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться с пути, если только это настоящая любовь, а не хилый уродец спотыкающийся и падающий на каждом шагу.

Глава 31

Как-то случайно Мартин встретил на Бродвее свою сестру Гертруду; встреча была радостная и в то же время печальная. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина и была поражена его худобой и мрачным выражением лица. Мартин и в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную ссуду под велосипед. Наступила пасмурная осенняя погода, и потому Мартин давно уже заложил велосипед, но непременно хотел сохранить черный костюм.

– Ведь у вас есть черный костюм, – сказал ростовщик, знавший наперечет имущество Мартина, – или вы заложили его у этого еврея Люпке? Если вы в самом деле…

Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть:

– Нет, нет! Я не закладывал костюма. Мне он нужен.

– Отлично, – сказал ростовщик, смягчившись немного. – Но мне он тоже нужен. Без него я не могу дать вам денег. Ведь я занимаюсь этим делом не ради развлечения.

– Но ведь велосипед стоит по крайней мере сорок

долларов, и к тому же он в полной исправности, – возразил Мартин. – А вы мне дали за него только семь долларов! И даже не семь! Шесть с четвертью! Ведь вы берете вперед проценты!

– Хотите получить еще денег, так принесите костюм, – последовал хладнокровный ответ, после чего Мартин ушел в полном отчаянии. Этим и объяснялось мрачное выражение его лица, которое так изумило и огорчило Гертруду.

Не успели они поздороваться, как подошел трамвай, идущий по Телеграф-авеню. Мартин взял сестру под руку, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к ному, и сердце ее сжалось от жалости.

– А ты разве не поедешь? – спросила она.

И тотчас же сошла с трамвая и пошла рядом с ним. – Я всегда хожу пешком, для моциона, – объяснил он.

– Ну что ж, я тоже пройдусь немножко, – сказала Гертруда, – мне это полезно Я что-то себя плохо чувствую последнее время.

Мартин взглянул на сестру и был поражен произошедшей в ней переменой. Лицо ее было болезненно и бледно, вся она как-то отекла, а тяжелая, неуклюжая походка была словно карикатурой на прежнюю эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой девуш-

ки.

– Уж лучше подожди трамвая, – сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться.

– Господи помилуй! И верно, ведь я устала, – сказала она. – Но и тебе тоже не мешало бы сесть на трамвай. Подошвы у твоих башмаков такие, что, пожалуй, протрутся, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда.

– У меня есть дома еще одна пара башмаков, – отвечал Мартин.

– Приходи завтра обедать, – сказала Гертруда неожиданно. – Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро.

Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде.

– У тебя нет ни пенса, Март, вот отчего ты ходишь пешком. Моцион, как же!

Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло.

– На, возьми.

И Гертруда сунула Мартину в руку пятидолларовую монету.

– Я забыла, что на днях было твое рождение, – пробормотала она.

Мартин инстинктивно зажал в руке монету. В следующий миг он почувствовал, что не должен принимать этого подарка, но заколебался. Ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, просветление духовное и телесное, подъем творческих сил. Как знать! Может быть, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему вспомнились две статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это лучшее из всего написанного им в этом роде. Только бы купить марки. Уверенность в успехе внезапно охватила его, и быстрым движением он сунул в карман монету.

– Я тебе верну в сто раз больше, Гертруда, – проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, а на глазах блеснули слезы. – Запомни мои слова! – воскликнул он вдруг с необычайной уверенностью. – Не пройдет года, как я принесу тебе сотню точно таких же золотых кругляков. Можешь мне не верить. Ты должна только ждать. А там увидишь!

Гертруда и не думала верить. Ей стало не по себе. Помолчав, она сказала:

– Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице

написано. Приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботам будет уходить по делам, я сумею известить тебя. Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март…

Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен.

– Не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?

– Ты тоже думаешь, что я ничего не добьюсь? – спросил он.

Гертруда покачала головой.

– Никто в меня не верит, Гертруда, кроме меня самого. – Он сказал это с каким-то страстным задором. – Но я написал уже очень много хороших вещей и рано или поздно получу за них деньги.

– А почему ты знаешь, что они хороши?

– Да потому, что… – Все его познания по литературе, по истории литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя. – Да потому, что мои рассказы лучше, чем девяносто девять процентов всего того, что печатается в журналах.

– А все-таки послушай разумного совета, – сказала Гертруда, твердо уверенная, что правильно понимает его болезнь. – Да, послушай разумного совета, – повторила она, – а завтра приходи обедать.

Мартин усадил ее в трамвай и, побежав на почту, на три доллара накупил марок. Позднее, идя к Морзам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, истратив все марки, за исключением трех двухпенсовых.

Это был памятный вечер для Мартина, ибо в этот вечер он познакомился с Рэссом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфь, ибо Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа: уж очень он бесцеремонно слонялся из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общество, он развалился в кресле, точно у себя дома, вытащил из кармана какую-то книжку и принялся читать. Читая, он все время быстрым движением проводил рукою по волосам. После этого Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним. Идя домой, Мартин случайно нагнал на улице Бриссендена.

– Хэлло! Это вы? – спросил он.

Тот пробормотал что-то не очень любезное, но все

же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, и так они, молча, прошли несколько кварталов.

– Старый самодовольный осел!

Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к Бриссендену.

– Какого черта вы туда таскаетесь? – услышал Мартин, после того как они прошли еще квартал в молчании.

– А вы? – спросил Мартин в свою очередь.

– Убейте меня, если я знаю, – отвечал Бриссенден. – Я там был в первый раз. В конце концов в сутках двадцать четыре часа. Надо же их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем.

– Пойдемте, – отвечал Мартин.

Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала «ремесленная» работа, кроме того, на ночь он решил прочесть томик Вейсмана, не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которую он читал с большим увлечением, чем любой роман.

«Зачем я пошел с этим человеком, который мне к тому же не нравится?» – подумал Мартин. Но его привлек не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим – яркие зеркала, свет, звон и блеск бо-

калов, разгоряченные лица и громкие голоса. Да, да, голоса людей, веселых и беззаботных, которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок: вот в чем заключалась его беда. Потому-то он и принял с такой охотой приглашение мистера Бриссендена. С тех пор как Мартин покинул «Горячие Ключи» и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец-лавочник. Умственное утомление не вызывает такой потребности подкрепить свои силы алкоголем, как физическая усталость, и Мартина не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить – вернее, очутиться в шумной атмосфере кабачка, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабачком был «Гротто». Бриссенден и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландское виски с содовой.

Они разговорились; говорили о разных вещах и прерывали беседу только для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собутыльника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал. Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает и что это вообще второй насто-

ящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути.

Но у Бриссендена к тому же было многое такое, чего не хватало профессору Колдуэллу. В нем был огонь, необычайная проницательность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Он говорил превосходно. С его тонких губ порой срывались хлесткие, словно отчеканенные машиной фразы. Они кололи и резали. А в следующий миг их сменяли мягкие, нежные слова, образные, гармоничные выражения, таившие в себе блеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала, как боевой рог, зовущий к буре и грохоту космической борьбы, звенела, как серебро, сверкала холодным блеском звездных пространств, кратко и четко формулируя истины последних завоеваний науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словами, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области, о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком. Но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которых не поняли бы заурядные умы, но которые, однако, были близки и понятны Мартину.

Мартин сразу забыл о своей первоначальной неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним было воплощение того идеала мыслящего человека, который составил себе Мартин. «Я должен лежать у его ног», – повторял он самому себе, с восторгом слушая своего собеседника.

– Вы, очевидно, изучали биологию! – воскликнул он наконец. К его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой.

– Но ведь вы говорите такие вещи, которые немыслимы без знания биологии, – продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена. – Ваши заключения совпадают со всем ходом рассуждений великих ученых. Не может быть, чтобы вы их не читали!

– Очень рад это слышать, – отвечал тот, – очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне в конце концов безразлично, прав я или нет. Все равно это не имеет значения. Ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет.

– Вы ученик и последователь Спенсера! – с торжеством воскликнул Мартин.

– Я с юных лет не заглядывал в Спенсера. Да и тогда-то читал только «Воспитание».

– Хотел бы я приобретать знания с такой же лег-

костью, – говорил Мартин полчаса спустя, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Бриссендена. – Вы настоящий догматик, вот что самое удивительное. Вы догматически устанавливаете такие положения, которые наука могла установить только a posteriori. *(A posteriori (лат.) – исходя из опыта)* Вы буквально на лету делаете правильные выводы. Ваше образование в самом деле довольно поверхностно, но вы с быстротой света пролетаете весь путь познания и постигаете истину каким-то сверхъестественным способом.

– Да, да. Это всегда смущало моих учителей, отца Иосифа и брата Дэттона, – возразил Бриссенден. – Но тут никаких чудес нет. Просто благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. Но вы-то сами где получили образование?

Рассказывая ему о себе, Мартин в то же время внимательно изучал наружность Бриссендена, аристократически гонкие черты его лица, покатые плечи, пальто с карманами, набитыми книгами, брошенное им на соседний стул. Лицо Бриссендена и его тонкие руки были, к удивлению Мартина, покрыты темным загаром. Едва ли Бриссенден много бывал на воздухе. Где же он так загорел? Этот загар не давал Мартину покоя, и он все время думал о нем, пока изучал лицо Бриссендена – узкое худощавое лицо, со

впалыми щеками и тонким орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного. Они были не слишком велики и не слишком малы, карие, с несколько неопределенным оттенком; но в них горел какой-то удивительный огонь, и выражение было какое-то двойственное, странное и противоречивое. Суровые и неумолимые, они в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было бесконечно жаль Бриссендена; он скоро понял, откуда возникало это чувство.

– Ведь у меня чахотка, – объявил Бриссенден, после того как рассказал о своем недавнем пребывании в Аризоне. – Я жил там около двух лет; провел курс климатического лечения.

– А вы не боитесь возвращаться теперь в наш климат?

– Боюсь?

Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится. Глаза его сузились, ноздри раздулись, лицо приняло какое-то орлиное выражение, гордое и решительное. У Мартина сердце забилось от восторга перед этим человеком. «До чего хорош!», – подумал он и затем вслух продекламировал:

– «Под гнетом яростного рока

Я не склоню кровавого чела».

– Вы любите Гэнли? – спросил Бриссенден, и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым, – ну, конечно, разве вы можете не любить его. Ах, Гэнли! Великий дух! Он высится среди современных журнальных рифмоплетов, как гладиатор среди евнухов.

– А вы не любите журналов? – осторожно спросил Мартин.

– А вы любите? – рявкнул Бриссенден с такою яростью, что Мартин даже вздрогнул. – Я… я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов, – пробормотал Мартин.

– Ну, это еще туда-сюда, – более миролюбиво сказал Бриссенден, – вы пробуете писать, но вам это не удается. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваши произведения. В них есть один недостаток, который закрывает перед ними все двери. В них есть глубина, а это не требуется журналам. Журналам нужен всяческий мусор, и они его получают в изобилии – только не от вас, конечно.

– Я не чуждаюсь ремесленной работы, – возразил Мартин.

– Напротив, – Бриссенден остановился на мгновение и дерзко оглядел все признаки нищеты Мартина –

его поношенный галстук, лоснящиеся рукава, обтрепанные манжеты, затем долго созерцал его впалые, худые щеки. – Напротив, ремесленная работа чуждается вас, и так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, милый мой, вы, наверно, обидитесь, если я предложу вам поесть?

Мартин помимо воли покраснел, а Бриссенден торжествующе расхохотался.

– Сытый человек не обижается на подобное предложение, – заявил он.

– Вы дьявол! – раздраженно вскричал Мартин.

– Да ведь я вам ничего и не предлагал!

– Еще бы вы посмели!

– Вот как? В таком случае я вас приглашаю поужинать со мной.

Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан.

Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках.

– Внимание! Ест их живьем! Ест их живьем! – воскликнул Бриссенден, подражая антрепренеру знаменитого местного пожирателя змей.

– Вас я и в самом деле мог бы съесть живьем, – сказал Мартин, в свою очередь дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена.

– Только я того не стою.

– Не вы, а дело того не стоит, – произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца. – Признаюсь, Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден, явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите – я презираю мелкие условности и предрассудки, но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, и я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков.

– Да, вы обиделись, – подтвердил Бриссенден.

– Обиделся, сознаюсь. Есть предрассудки, впитанные с детства. Хотя я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свой скелет в шкафу.

– Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа?

– Ну конечно.

– Наверное?

– Наверное.

– Тогда идемте и спросим чего-нибудь поесть.

– Идемте.

Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние два доллара, но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам.

Мартин состроил было недовольную гримасу, но тотчас успокоился, почувствовав, как Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо.

Глава 32

На следующий день Мария была потрясена: к Мартину опять явился необычайный гость. Но на этот раз она настолько сохранила самообладание, что даже пригласила гостя подождать в гостиной.

– Вы не возражаете, что я вторгся к вам? – спросил Бриссенден.

– Я очень рад! – воскликнул Мартин, крепко пожимая ему руку, и, подвинув гостю единственный стул, сам сел на кровать. – Но как вы узнали мой адрес?

– Позвонил к Морзам. Мисс Морз сама подошла к телефону. И вот я здесь.

Бриссенден запустил руку в карман и вытащил небольшой томик.

– Вот вам книжка стихов одного поэта, – сказал он, кладя книгу на стол, – прочтите и оставьте себе. Берите! – вскричал он в ответ на протестующий жест Мартина. – На что мне книги? У меня сегодня утром опять кровь шла горлом. Есть у вас виски? Ну конечно, нет! Подождите минутку.

Он быстро встал и вышел. Мартин посмотрел ему вслед и с грустью увидел, как съежились над впалой грудью его когда-то, должно быть, могучие плечи. Достав два стакана, Мартин начал читать книгу. Это был

последний сборник стихов Генри Вогана Марлоу.

– Шотландского нет, – объявил Бриссенден по возвращении, – каналья торгует только американским. Вот бутылка.

– Я сейчас пошлю кого-нибудь из ребят за лимонами, и мы сделаем грог, – предложил Мартин. – Интересно, сколько получил Марлоу за такую книгу?

– Долларов пятьдесят, – отвечал Бриссенден, – и то если ему удалось найти издателя, который захотел рискнуть.

– Значит, поэзией нельзя прожить?

В голосе Мартина прозвучало глубокое огорчение.

– Конечно, нет! Какой же дурак на это рассчитывает? Рифмоплеты – другое дело. Вроде Брюса, Виржинии Спринг или Сиджвика. Эти делают хорошие дела. Но настоящие поэты… Вы знаете, чем живет Марлоу? Преподает в Пенсильвании, в школе для мальчиков, а из всех филиалов ада на земле – это, несомненно, самый мрачный. Я бы не поменялся с ним, даже если бы он предложил мне за это пятьдесят лет жизни. А ведь его стихи блещут среди всего современного стихотворного хлама, как рубины среди стекляшек. А что о нем пишут критики! Черт бы побрал этих критиков!

– Вообще люди, не способные сами стать писателями, слишком много судят о настоящих писателях, – воскликнул Мартин. – Чего, например, не плели про

Стивенсона!

– Болотные ехидны! – проговорил Бриссенден, с презрением стиснув зубы. – Да, я знавал одного, который всю жизнь клевал Стивенсона за его письмо к отцу Дамисну. Он его и анализировал, и взвешивал, и…

– И, конечно, мерил его меркой собственной жалкой жизни, – вставил Мартин.

– Хорошо сказано. Ну конечно! Все они треплют и поганят прекрасное, истинное и доброе, а потом еще поощрительно похлопывают вас по плечу и говорят: «Добрый пес, Фидо»! Тьфу! «Жалкие человеческие сороки», сказал про них на смертном одре Ричард Рильф.

– Они хотят клевать звездную пыль, – страстно подхватил Мартин, – хотят поймать мысль гения, летящую подобно метеору. Я как-то написал статью о критиках.

– Давайте ее сюда! – быстро сказал Бриссенден. Мартин вытащил из-под стола экземпляр «Звездной пыли», и Бриссенден тотчас начал читать, то и дело фыркая, потирая руки и забыв даже про свой грог.

– Да ведь вы сами частица этой звездной пыли, залетевшая в страну слепых карликов! – закричал Бриссендсн, дочитав статью. – И, разумеется, журналы это отвергли?

Мартин заглянул в свою записную книжку.

– Эту статью отвергли двадцать семь журналов. Бриссенден начал было хохотать, но тотчас закашлялся.

– А скажите, – прохрипел он наконец, – вы, наверное, пишете стихи? Дайте мне почитать.

– Только не читайте здесь, – попросил его Мартин, – мне хочется поговорить с вами. А стихи я вам заверну в пакет, и вы их прочтете дома.

Бриссенден ушел, захватив с собою «Сонеты о любви», и «Пэри и жемчуг». На следующий день он снова пришел к Мартину и сказал только:

– Давайте еще.

Он утверждал, что Мартин настоящий поэт. Оказалось, что он и сам пишет стихи.

Мартин пришел в восторг, прочтя стихи Бриссендена, и очень удивился, узнав, что тот ни разу не сделал даже попытки напечатать их.

– А ну их всех к чёрту, – сказал Бриссенден в ответ на предложение Мартина послать за него эти стихи в какой-нибудь журнал. – Любите красоту ради самой красоты, а о журналах бросьте думать. Ах, Мартин Иден! Возвращайтесь-ка вы снова в море. Поступайте матросом на какой-нибудь корабль. От души вам это советую. Чего вы здесь добиваетесь, в этих городских клоаках? Ведь вы же сами себя ежедневно убиваете! Вы проституируете самое прекрасное, что только есть

на свете, вы приспособляетесь ко вкусам журналов! Как это вы на днях сказали? Да… «Человек – последняя из эфемерид»? Так на что же вам слава, последняя из эфемерид?

Ведь слава для вас яд. Вы слишком самобытны, слишком непосредственны и слишком умны, по-моему, чтобы питаться манной кашкой похвал. Надеюсь, что вы никогда не продадите журналам ни одной строчки. Нужно служить только красоте. Служите ей – и к черту толпу! Успех? Какого вам еще надо успеха! Ведь вы же достигли его и в вашем сонете о Стивенсоне, – который, кстати сказать, много выше гэнлиевского «Видения», – и в «Сонетах о любви», и в морских стихах! Разве радость творчества вы ни во что не ставите? Я-то ведь отлично понимаю, что вас влечет не успех, а самый творческий процесс. И вы это знаете. Вы ранены красотой. Это незаживающая рана, неизлечимая болезнь, раскаленный нож в сердце. К чему вам лукавить с журналами? Пусть вашей целью будет только одна красота. Зачем вы стараетесь чеканить из нее монету? Впрочем, все равно из этого ничего не выйдет. Можно не беспокоиться. Прочитайте журналы хоть за тысячу лет, и вы не найдете в них ничего равного хотя бы одной строке Китса. Забудьте о славе и золоте и завтра же отправляйтесь в плавание.

– Я тружусь не ради славы, а ради любви, – засмеялся Мартин, – Для вас любовь, по-видимому, не существует совсем. А для меня красота – прислужница любви.

Бриссенден посмотрел на него с восторженной жалостью.

– Как вы еще молоды, Мартин! Ах, как вы еще молоды! Вы высоко залетите, но смотрите – крылья у вас уж очень нежные. Не опалите их. Впрочем, вы их уже опалили. И эти «Сонеты о любви» воспевают какую-то юбчонку… Позор!

– Они воспевают любовь, – возразил Мартин и опять засмеялся.

– Философия безумия! – возразил Бриссенден. – Я убедился в этом, когда предавался грезам после хорошей дозы гашиша. Берегитесь! Эти буржуазные города погубят вас. Возьмите для примера тот притон торгашей, где мы с вами познакомились. Ей-богу, это хуже мусорной ямы. В такой атмосфере нельзя оставаться здоровым. Там невольно задохнешься. И ведь никто – ни один мужчина, ни одна женщина – не возвышается над всей этой мерзостью. Все это ходячие желудки, только желудки, руководимые якобы высокими идеями…

Он вдруг остановился и взглянул на Мартина. Внезапная догадка, как молния, поразила его. И лицо вы-

разило ужас и удивление.

– И свой изумительный любовный цикл вы написали ради той бледной и ничтожной самочки?

Правая рука Мартина вцепилась ему в горло и встряхнула так, что у Бриссендена застучали зубы. Но при этом Мартин не прочел у него в глазах выражения страха: только какое-то любопытство и дьявольскую насмешку. И тогда, опомнившись, Мартин разжал пальцы и швырнул Бриссендена на постель.

Бриссенден долго не мог отдышаться. Отдышавшись он расхохотался.

– Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы вытряхнули из меня остатки жизни, – сказал он.

– У меня последнее время что-то нервы не в порядке, – оправдывался Мартин, – надеюсь, я вам не причинил вреда? Я сейчас приготовлю свежий грог.

– Ах вы, юный эллин! – воскликнул Бриссенден. – Вы недостаточно цените свое тело. Вы невероятно сильны. Вы прямо молодая пантера! Львенок! Ну, ну! Придется вам поплатиться за вашу силу.

– Каким образом? – с любопытством спросил Мартин, подавая ему стакан. – Выпейте и не сердитесь.

– А очень просто, – Бриссенден выпил и улыбнулся, – все из-за женщин. Они вам не дадут покоя до самой смерти, как не дают и сейчас. Я ведь не вчера ро-

дился. Душить меня довольно бесполезно Я все равно выскажу вам все до конца. Я понимаю, что это ваша первая любовь, но, ради Красоты, будьте в следующий раз разборчивее. Ну на кой чёрт вам эти буржуазные девицы? Бросьте, не путайтесь с ними. Найдите себе настоящую женщину, пылкую, страстную, такую, которая бы смеялась над всякими жизненными опасностями, играла бы и любовью и смертью. Есть на свете такие женщины, и они, поверьте, полюбят вас так же охотно, как и всякая ничтожная душонка, порожденная буржуазной средой.

– Ничтожная душонка? – вскричал Мартин с негодованием.

– Именно, ничтожная душонка! Она будет лепетать вам про моральные истины и добродетели, и при этом будет бояться жить настоящей жизнью. Она будет по-своему любить вас, Мартин, но свою жалкую мораль она будет любить еще больше. Вы хотите великой, испепеляющей любви, вам нужна свободная душа, яркая бабочка, а не серая моль. А впрочем, в конце концов, вам и это наскучит, если вы только, на свое несчастье, останетесь живы. Но вы недолго проживете! Вы ведь не вернетесь к своим кораблям! Будете таскаться по этим гнилым городам, пока не сгниете сами.

– Говорите, что хотите, – воскликнул Мартин, – вам все равно не удастся меня переубедить! Вы, в конце

концов, правы для своего темперамента, а я прав для своего.

Они не сходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но Мартин, тем не менее, чувствовал к Бриссендену не только простую привязанность, а нечто гораздо большее. Они стали видеться ежедневно, хотя Бриссенден не мог высидеть более часа в душной комнате Мартина.

Бриссенден никогда не забывал захватить с собою бутылку виски, а когда они обедали в каком-нибудь ресторанчике, он всегда заказывал шотландское виски с содовой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин познакомился со многими тонкими блюдами, впервые изведал прелесть шампанского и букет рейнвейна.

Но Бриссенден всегда оставался загадкой. Аскет с виду, он в то же время обладал огромным темпераментом и обостренной чувственностью. Он не боялся смерти, с презрением относясь ко всем формам человеческого существования; но в то же время страстно любил жизнь до самых мельчайших ее проявлений. Он был одержим жаждой жизни, стремлением сгущать ее трепет, «шевелиться на своем крохотном пространстве среди космической пыли, из которой я возник», – сказал он однажды. Он злоупотреблял наркотиками и проделывал странные вещи только ради

того, чтобы изведать новые ощущения. Он рассказал Мартину, как три дня подряд не пьет воды, чтобы на четвертый насладиться утолением жажды. Мартин так никогда и не узнал, кто он и откуда. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигала горячка жизни.

Глава 33

Мартин продолжал проигрывать свои сражения. Как ни старался он экономить, ему все-таки не хватало заработка даже на насущные расходы. Ему пришлось заложить, наконец, и черный костюм, лишив себя, таким образом, возможности принять приглашение Морзов к обеду в День Благодарения. Руфь была очень огорчена, узнав причину его отказа; она просто пришла в отчаяние. И он все-таки обещал ей прийти, сказав, что сам отправится в редакцию «Трансконтинентального ежемесячника» за своими пятью долларами и на них выкупит костюм.

Утром он занял у Марии десять центов. Ему было бы проще взять у Бриссендена, но этот чудак внезапно исчез с горизонта, уже две недели он не появлялся в комнате Мартина, и тот тщетно ломал себе голову над тем, куда он мог деваться. Десять центов нужны были Мартину, чтобы переехать на пароме залив, и, переехав его, он пошел по Маркетстрит, раздумывая над тем, что делать, если не удастся получить деньги. Даже возвращение в Окленд грозило стать проблемой в этом случае, так как в Сан-Франциско ему не у кого было занять десять центов на переправу.

Дверь редакции «Трансконтинентального ежеме-

сячника» была приотворена, и Мартин невольно остановился перед ней, услыхав следующий разговор:

– Да не в этом дело, мистер Форд. (Мартин знал, что Форд была фамилия редактора) Дело в том, в состоянии ли вы мне уплатить? То есть, разумеется, уплатить наличными деньгами. Мне наплевать, какие виды у вашего журнала на будущий год. Я требую, чтобы вы мне заплатили за мою работу, и больше ничего. И говорю вам, что пока вы мне не заплатите все до цента, рождественский номер не будет спущен в машину. До свидания! Когда у вас появятся деньги, заходите.

Дверь распахнулась, и мимо Мартина промчался какой-то человек, сжимая кулаки и бормоча ругательства. Мартин почел за благо выждать минут пятнадцать. Побродив немного по улице, он вернулся, толкнул дверь и первый раз в жизни переступил порог редакционного помещения. Визитных карточек здесь, очевидно, не признавали, так как мальчик просто-напросто пошел за перегородку и сказал, что кто-то спрашивает мистера Форда. Вернувшись, он провел Мартина в кабинет редактора – святая святых редакции. Первое, что поразило Мартина, был необыкновенный беспорядок, царивший за столом моложавого господина с бакенбардами, который смотрел на него с явным любопытством. Мартин был поражен спокойным выражением его лица. Ссора с типографом, оче-

видно, нисколько не повлияла на его настроение.

– Я… я – Мартин Иден, – начал Мартин («и я пришел получить свои пять долларов», – хотел он сказать).

Но это был первый редактор, с которым ему довелось столкнуться лицом к лицу, и Мартин не хотел начинать с резкостей. К его изумлению, мистер Форд вскочил с криком:

– Да что вы говорите! – и в следующий момент уже восторженно тряс его руку. – Если бы вы знали, как я рад с вами познакомиться, мистер Иден. Я так часто о вас думал, старался вообразить себе, какой вы.

Отступив немного, мистер Форд с восхищением оглядел Мартина, заштопанный костюм которого мало годился для столь внимательного изучения, хотя складка на брюках была старательно отглажена утюгами Марии Сильвы.

– Я полагал, что вы намного старше. Ваш рассказ полон таких зрелых мыслей и так крепко написан. Вы настоящий мастер, – я понял это, прочтя первые три-четыре строчки. Хотите, я расскажу вам, как я прочел в первый раз ваш рассказ? Нет! Я хочу сначала познакомить вас с сотрудниками.

Продолжая говорить, мистер Форд провел его в общую комнату, где представил его своему заместителю, мистеру Уайту, маленькому, худенькому человеч-

ку с ледяными руками, имевшему такой вид, словно его трясла лихорадка.

– А это мистер Эндс. Мистер Эндс у нас управляет делами.

Мартин пожал руку веселому плешивому господину, лицо которого было еще довольно молодо, хотя и украшено длинной белой бородой, аккуратно подстриженной его супругой, которая занималась этим по воскресеньям, а заодно брила ему и затылок.

Все трое обступили Мартина и говорили одновременно, осыпая его похвалами, пока ему, наконец, не стало казаться, что они просто стараются заговорить ему зубы. – Мы часто удивлялись, почему вы никогда не зайдете! – воскликнул мистер Уайт.

– У меня не было денег, чтобы переехать залив – отвечал Мартин, решив таким образом показать им, что он нуждается в деньгах.

«Мой „парадный“ костюм, – подумал он при этом, – достаточно красноречиво свидетельствует о моей нужде»

Во время дальнейшего разговора он то и дело старался намекнуть на свою нужду и на цель своего посещения. Но уши почитателей его таланта были чрезвычайно невосприимчивы. Почитатели продолжали рассказывать ему о том, как они восхищались его рассказом, как восхищались их жены и родственники. Но

ни один не высказал ни малейшего желания выразить свой восторг более существенным способом.

– Вы знаете, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ? Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, в вагон вошел газетчик, и у него оказался последний номер «Трансконтинентального ежемесячника».

«Боже мой, – подумал Мартин, – эта каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных пяти долларов!» Ярость охватила его. Преступление, совершенное «Трансконтинентальным ежемесячником», казалось ему чудовищным; он вспомнил месяцы лишений и голодовок, вспомнил, что и теперь у него в кармане нет ни пенса, и что он не ел ничего со вчерашнего дня. Гнев ударил ему в голову. Это даже не разбойники; просто мелкие жулики! Они выманили у него рассказ лживыми обещаниями и обманом. Ну, хорошо! Он им покажет!

И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается. Тем более, что ему все равно не на что даже вернуться в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но в его лице появилось выражение, которое смутило и даже испугало собеседников.

Они стали расточать похвалы еще с большим рве-

нием. Мистер Форд опять начал рассказывать о том, как он впервые прочел «Колокольный звон», а мистер Эндс сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь – школьная учительница в Аламеде!

– Я пришел получить с вас деньги, – вдруг объявил Мартин, – вы должны были заплатить мне пять баксов по напечатании этого рассказа, который вам всем *так нравится*!

Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, ощупал карманы и, повернувшись вдруг к мистеру Эндсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Эндс с досадой взглянул на него, и по тому, как он инстинктивно защитил рукою карман, Мартин понял, что у него есть деньги.

– Я в отчаянии, – произнес мистер Эндс, – но я только что расплатился с типографией, и на это ушла вся моя наличность. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но… вы понимаете, срок для уплаты еще не наступил, а типограф вдруг пришел и стал просить выдать ему аванс в виде любезности.

Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его совесть была во всяком случае чиста. Он поступил в «Трансконтинентальный ежемесячник», чтобы изучить журнальное дело,

а изучать ему приходилось преимущественно финансовую политику. «Ежемесячник» уже четыре месяца не платил ему жалованья; но он успел узнать, что важнее умиротворить типографию, чем расплатиться с заместителем редактора.

– Ужасно нелепо вышло, – развязно сказал мистер Форд. – Вы, мистер Иден, застали нас врасплох. Но мы вот что сделаем. Мы вышлем вам чек завтра утром. Мистер Эндс, у вас записан адрес мистера Идена?

О, разумеется, адрес мистера Идена был записан, и чек будет выслан завтра утром. Мартин плохо разбирался в финансовых и банковских делах, но он сразу же решил, что если они собираются дать ему чек завтра, то отлично могут сделать это и сегодня.

– Итак, решено, мистер Иден, завтра чек будет вам выслан.

– Деньги мне нужны сегодня, а не завтра, – твердо сказал Мартин.

– Несчастное стечение обстоятельств! Если бы вы попали к нам в другой день… – начал было мистер Форд, но мистер Эндс, обладавший, по-видимому, более пылким темпераментом, внезапно прервал его:

– Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело, – резко сказал он, – и я тоже. Чек будет вам выслан завтра.

– Я тоже объяснил вам, – отрезал Мартин, – что деньги нужны мне сегодня.

Он почувствовал, как пульс у него забился быстрее от грубого тона управляющего делами; кроме того, по некоторым движениям последнего Мартин понял, что касса «Ежемесячника», несомненно, находится у него в кармане.

– Я в отчаянии… – начал было опять мистер Форд.

Но мистер Эндс нетерпеливым движением повернулся на каблуках и, по-видимому, возымел намерение уйти из комнаты. В то же мгновение Мартин бросился на него и вцепился ему в горло так, что белоснежная борода поднялась к потолку под углом в сорок пять градусов. Мистер Форд и мистер Уайт, онемев от ужаса, глядели, как Мартин трясет их управляющего делами, точно персидский ковер.

– Эй вы, почтенный эксплуататор молодых талантов, – орал Мартин, – раскошеливайтесь, а не то я из вас повытряхну все потроха!

Затем, обращаясь к испуганным зрителям, он прибавил:

– А вы лучше не суйтесь… не то и вам влетит так, что своих не узнаете.

Мистер Эндс почти задыхался, и Мартину пришлось слегка разжать пальцы, чтобы дать ему возможность изъявить согласие на предложенные усло-

вия. После нескольких экскурсий в собственный карман управляющий делами извлек, наконец, четыре доллара и пятнадцать центов.

– Выворачивайте карман! – приказал ему Мартин. Появились еще десять центов. Мартин для верности дважды пересчитал свою добычу.

– Теперь за вами дело! – крикнул он мистеру Форду. – Мне следует еще семьдесят пять центов!

Мистер Форд не возражал, но в кармане у него набралось лишь шестьдесят центов.

– Ищите лучше, – сказал ему Мартин угрожающим голосом, – что у вас там торчит в жилетном кармане?

Мистер Форд покорно выворотил оба кармана. Из одного выпал картонный квадратик. Мистер Форд поднял его и хотел сунуть обратно в карман, но Мартин воскликнул:

– Что это? Билет на паром? Давайте его сюда. Он стоит десять центов. Значит, теперь у меня, если считать вместе с билетом, четыре доллара девяносто пять центов. Ну, еще пять центов!

Он так посмотрел на мистера Уайта, что этот субтильный джентльмен мгновенно извлек из кармана никелевую монетку.

– Благодарю вас, – произнес Мартин, обращаясь ко всей компании, – всего хорошего!

– Грабитель! – прошипел ему вслед мистер Эндс.

– Жулик! – ответил Мартин, захлопывая за собою дверь.

Мартин был упоен своей победой, до такой степени упоен, что, вспомнив о пятнадцати долларах, которые должен был уплатить ему «Шершень» за «Пери и жемчуг», он решил незамедлительно взыскать и этот долг. Но в редакции «Шершня» сидели какие-то молодые гладко выбритые люди, настоящие бандиты, которые привыкли грабить всех и каждого, в том числе и друг друга. Мартин успел поломать кое-что из мебели, но в конце концов редактор (в студенческие годы бравший призы по атлетике) с помощью управляющего делами, агента по сбору объявлений и швейцара выставил Мартина за дверь и даже помог ему очень быстро спуститься с лестницы.

– Заходите, мистер Иден, всегда рады вас видеть! – весело кричали ему вдогонку.

Мартин поднялся с земли, тоже улыбаясь.

– Фу, – пробормотал он, – ну и молодцы ребята! Не то, что эти трансконтинентальные гниды!

В ответ снова послышался хохот.

– Нужно вам сказать, мистер Иден, – сказал редактор «Шершня», – что для поэта вы недурно умеете постоять за себя. Где это вы научились этому брауле?

– Там же, где вы научились двойному пельсону, – отвечал Мартин, – во всяком случае у вас будет синяк

под глазом!

– Надеюсь, что и у вас почешется шея, – любезно возразил редактор. – А знаете что, не выпить ли нам в честь этого? Разумеется, не в честь поврежденной шеи, а в честь нашего знакомства.

– Я побежден – стало быть, надо соглашаться, – ответил Мартин.

И все вместе, грабители и ограбленный, распили бутылочку, дружески согласившись, что битва выиграна сильнейшими, а потому пятнадцать долларов за «Пэри и жемчуг» по праву принадлежат «Шершню».

Глава 34

Артур остался у калитки, а Руфь быстро взбежала по ступенькам крыльца Марии Сильвы. Она услыхала торопливый стрекот пишущей машинки и, войдя, застала Мартина дописывающим последнюю страницу какой-то рукописи. Руфь специально приехала узнать, придет ли Мартин к обеду в День Благодарения, но Мартин, обуреваемый своими мыслями, не дал ей рта раскрыть.

– Позвольте вам прочесть это! – воскликнул он, вынимая из машинки страницу и откладывая копии. – Это мой последний рассказ. Он до того не похож на все другие, что мне даже страшно немного. Впрочем, я убежден, что это превосходно. Вот, судите сами. Это гавайский рассказ. Я назвал его «Вики-Вики».

Лицо Мартина пылало от творческого жара, хотя Руфь дрожала в его холодной каморке и у него самого руки были ледяные.

Руфь внимательно слушала, хотя на лице ее все время было написано явное неодобрение. Кончив читать, Мартин спросил ее:

– Скажите откровенно, нравится вам или нет?

– Не знаю, – отвечала она, – по-вашему, это можно пристроить?

– Думаю, что нет, – сознался он. – Это не по плечу журналам. Но зато это чистая правда.

– Но зачем вы упорно пишете такие вещи, которые невозможно продать? – безжалостно настаивала Руфь. – Ведь вы же пишете ради того, чтобы зарабатывать средства к существованию?

– Да, конечно. Но мой герой оказался сильнее меня. Я ничего не мог поделать. Он требовал, чтобы рассказ был написан так, а не иначе.

– Но почему ваш Вики-Вики так ужасно выражается? Ваши читатели, наверное, будут шокированы его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, отвергнув этот рассказ.

– Потому что настоящий Вики-Вики говорил бы именно так.

– Это дурной вкус.

– Это жизнь! – воскликнул Мартин. – Это реально. Это правда. Я могу описывать жизнь только такой, какою ее вижу.

Руфь ничего на это не ответила, и на секунду воцарилось неловкое молчание. Мартин слишком любил ее и потому не понимал, а она не понимала его потому, что он не умещался в ограниченном круге ее представлений.

– А вы знаете, я получил деньги с «Трансконтинентального ежемесячника», – сказал Мартин, желая пе-

ревести разговор на другую тему; и, вспомнив о том, как он отделал редакционное трио, невольно расхохотался.

– Чудесно! Значит, вы придете? – радостно воскликнула Руфь. – Я ведь это и хотела узнать.

– Приду? – переспросил он недоуменно. – Куда?

– К нам завтра обедать. Вы ведь сказали, что выкупите костюм, как только получите деньги.

– Я совсем забыл об этом, – смущенно проговорил Мартин. – Видите ли, в чем дело… Сегодня утром полицейский забрал двух коров Марии и теленка за потраву, а у нее как раз не было денег для уплаты штрафа… Ну, я за нее и заплатил. Так что весь мой гонорар за «Колокольный звон» ушел на выкуп коров Марии.

– Значит, вы не придете?

Мартин оглядел свое платье.

– Не могу.

Голубые глаза Руфи наполнились слезами, она укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала.

– На будущий год мы с вами отпразднуем День Благодарения у Дельмонико, или в Лондоне, или в Париже, или где вам хочется. Я в этом уверен.

– Я читала на днях в газетах, – ответила Руфь, – что в почтовом ведомстве открываются вакансии. Ведь вы у них числились первым на очереди?

Мартин принужден был сознаться, что получил по-

вестку, но не пошел.

– Я так уверен в себе, – оправдывался он. – Через год я буду зарабатывать в десять раз больше, чем любой почтовик. Вот увидите.

– Ах! – только и могла сказать Руфь. Она встала и принялась натягивать перчатки. – Мне пора уходить, Мартин. Артур ждет меня.

Мартин крепко обнял ее и поцеловал, но Руфь равнодушно приняла его ласку. Ее тело не затрепетало, как обычно, она не обхватила руками его шею и не прижалась губами к его губам.

«Рассердилась, – подумал Мартин, проводив ее и вернувшись к себе в комнату. – Но почему? Конечно, досадно, что полицейский именно сегодня поймал коров, но ведь это просто несчастное стечение обстоятельств. Никто не виноват в этом». Мартину не пришло в голову, что сам он мог бы поступить в этом случае иначе. «Ну, конечно, – решил он, наконец, – я в ее глазах немножко виноват в том, что отказался от места на почте. И потом ей не понравился „Вики-Вики“».

Внезапно раздались шаги на лестнице. Мартин обернулся и увидел входящего почтальона. С привычным волнением Мартин принял от него целую груду больших продолговатых конвертов. Среди них был один маленький. На нем был бланк «Нью-йоркского обозрения». Мартин немного помедлил, прежде чем

решился распечатать его. Едва ли это было извещение о принятии рассказа. За последнее время он не посылал ни одной рукописи в такие журналы. «Может быть, – он весь замер при этой мысли, – они хотят заказать мне статью?» Но Мартин тотчас отогнал от себя эту дерзкую, несбыточную надежду.

В конверте было коротенькое официальное письмо редактора, извещавшее его о получении прилагаемого анонимного письма, причем редактор просил Мартина не беспокоиться, ибо никаким анонимным письмам редакция никогда не придает значения.

Прилагаемое анонимное письмо было безграмотно, написало от руки печатными буквами. Это был нелепый донос, что «так называемый Мартин Иден», посылающий в журналы свои рассказы и стихи, вовсе не писатель, что он просто крадет рассказы из старых журналов, перепечатывает на машинке и отправляет от своего имени. На конверте был штемпель «Сан-Леандро». Мартин сразу угадал автора. Грамматика Хиггинботама, словечки Хиггинботама, мысли Хиггинботама сквозили в каждой строчке. Мартин отлично понимал, что письмо это сработано грубыми руками его любезного свойственника.

– Но зачем это было ему нужно? – спрашивал он себя.

Что сделал он дурного Бернарду Хиггинботаму?

Это было так нелепо, так бессмысленно. Нельзя было найти для этого никакого здравого объяснения. В течение недели пришло еще с десяток подобных же писем из разных журналов восточных штатов. Мартину очень понравилось поведение редакторов. Несмотря на то, что он был им совершенно неизвестен, многие из них даже выражали ему сочувствие. Было очевидно, что к анонимным доносам они относились с отвращением. Глупая попытка повредить ему явно не удалась. Напротив, это могло даже пойти ему на пользу, так как привлекло к его имени внимание редакторов. Иной из них, читая теперь его рассказ, вспомнит, что это написал тот самый Мартин Иден, о котором упоминалось в анонимном письме. И – как знать – может быть, это благоприятно повлияет на судьбу его произведений!

Приблизительно около этого же времени случилось событие, после которого Мартин значительно упал в глазах Марии Сильвы. Однажды он застал ее на кухне в слезах, стонущую от боли: она была не в силах сдвинуть с места тяжелые утюги. Он тотчас же решил, что у нее грипп, дал ей хлебнуть виски, оставшегося на дне одной из бутылок, принесенных Бриссенденом, и велел лечь в постель. Но Мария ни за что не соглашалась. Она упрямо кричала, что ей необходимо догладить белье и сдать его сегодня же вечером, иначе

завтра ее семерым ребятишкам нечего будет есть.

К своему глубочайшему удивлению (она не переставала рассказывать об этом до самой своей смерти), она увидела, как Мартин схватил утюг и швырнул на гладильную доску тонкую батистовую кофточку. Это была лучшая праздничная кофточка Кэт Флэнегэн, самой большой франтихи в квартале. Мисс Флэнегэн требовала, чтобы кофточка во что бы то ни стало была доставлена к вечеру. Все знали, что она водит дружбу с кузнецом Джоном Коллинзом, и, по частным сведениям Марии, они оба отправлялись завтра в парк Золотых Ворот. Напрасно хотела Мария спасти кофточку. Мартин силой усадил ее на стул, и Мария, выпучив глаза, вне себя от ужаса, увидела, что он яростно заработал утюгами. Через десять минут Мартин подал Марии кофточку, которая была выглажена так, как самой Марии было не выгладить никогда, – в этом Мартин заставил ее признаться.

– Я бы мог выгладить еще быстрее, если бы утюги были погорячей, – объяснил он.

Но, по мнению Марии, он и так уже раскалил утюги до последней возможности.

– Вы неправильно сбрызгиваете, – сказал он ей в довершение всего, – давайте-ка я вам покажу, как это делается. Если вы хотите гладить быстро, надо держать сбрызнутое белье под определенным давлени-

ем.

Мартин притащил из погреба ящик, приделал к нему крышку и положил на нее куски старого железа, которое собирали ребятишки. Белье сбрызгивалось, клалось в ящик и покрывалось крышкой с грузом железа. Делать это было вовсе нетрудно.

– А теперь смотрите! – воскликнул Мартин, раздевшись до пояса, и схватил утюг, накаленный чуть не докрасна.

Мария потом всем рассказывала, как, кончив гладить, Мартин учил ее стирать шерстяные вещи:

– Он говорит: «Мария, больша дура, я буду учить вас!». И он учила. В десять минута он строил уна машина. Бочка, два палка и колесна ступица. Вот!

Этой науке Мартин научился у Джо, в прачечной «Горячих Ключей». Ступица от старого колеса, приделанная к палке, служила поршнем. К другому концу была привязана веревка, пропущенная через стропило кухонного потолка, что давало возможность приводить поршень в движение одной рукой; шерстяные вещи, положенные в бочку, прекрасно выколачивались с помощью этого сооружения. Мария приспособила даже одного из мальчиков дергать веревку и только удивлялась хитроумию Мартина Идена.

Тем не менее, Мартин сильно упал во мнении Марии. Ведь романтический ореол, окружавший его, рас-

сеялся, как дым, после того как выяснилось, что он просто бывший прачечник. Все его книги, важные посетители, пустые бутылки из-под виски – все сразу потеряло в глазах Марии всякое очарование. Этот таинственный Иден был, следовательно, самый простой рабочий, такой же рабочий, как и она сама, и они оба принадлежали к одному классу. От этого он стал ей ближе, понятнее, но обаяние тайны рассеялось.

От своих родных Мартин отходил все дальше и дальше. После неудачного выступления мистера Хиггинботама проявил себя и будущий зять – Герман Шмидт. Мартину удалось однажды пристроить несколько стишков и рассказиков и отчасти восстановить свое благосостояние. Он расплатился с кредиторами, выкупил костюм и велосипед. Осмотрев велосипед и убедившись, что он нуждается в починке, Мартин решил отремонтировать его и, в знак своего дружелюбного отношения к будущему родственнику, отправил велосипед в мастерскую Германа Шмидта.

В тот же день вечером Мартин, к своему удивлению и удовольствию, получил велосипед обратно. Очевидно, Шмидт решил проявить такое же дружеское расположение и починил велосипед вне очереди да вдобавок еще прислал его на дом, чего обычно не делает ни одна мастерская. Но, осмотрев велосипед, Мартин убедился что никакой починки произведено

не было. Он позвонил в мастерскую по телефону и узнал, что Герман Шмидт «не желает с ним иметь никакого дела».

– Господин Герман фон Шмидт, – спокойно сказал Мартин, – я, пожалуй, зайду к вам, чтобы разочек дернуть вас хорошенько за нос.

– Если вы придете ко мне в мастерскую, – был ответ, – я пошлю за полицией! Я вам покажу! Не беспокойтесь, вам со мной не удастся затеять драку. Вы лодырь, а я работаю. Если я женюсь на вашей сестре, то из этого еще не следует, что вы можете обдирать меня. Почему вы не хотите заняться делом и честно зарабатывать себе на хлеб? А? Ну-ка, ответьте!

Мартин, как истинный философ, сдержал свой гнев и повесил трубку, только свистнув в ответ. Сначала ему было смешно, но вслед за тем чувство одиночества тяжелым камнем легло ему на сердце.

Никто не понимал его, никому не был он нужен, кроме разве только Бриссендена, но и Бриссенден исчез бог знает куда.

Начало смеркаться, когда Мартин вышел из овощной лавки, держа в руке покупки. Трамвай остановился на углу улицы, и знакомая фигура соскочила с него. Сердце Мартина так и встрепенулось от радости. Это был Бриссенден собственной персоной, и Мартин при свете электрического фонаря разглядел оттопырен-

ные карманы его пальто. В одном были книги, а в другом бутылки.

Глава 35

Бриссенден не дал Мартину никаких объяснений по поводу своего долгого отсутствия, да Мартин и не расспрашивал его. Сквозь пар, клубившийся над стаканами с грогом, он с удовольствием созерцал бледное и худое лицо своего друга.

– Я тоже не сидел сложа руки, – объявил Бриссенден, после того как Мартин рассказал ему о своих последних работах.

Он вынул из кармана рукопись и передал ее Мартину, который, прочтя заглавие, вопросительно взглянул на Бриссендена.

– Да, да, – усмехнулся Бриссенден, – недурное заглавие, не правда ли? «Эфемерида»… лучше не скажешь. А слово это ваше, – помните, как вы говорили о человеке как о «последней из эфемерид», ожившей материи, порожденной температурой и борющейся за свое местечко на шкале термометра. Мне это засело в голову, и я должен был написать целую поэму, чтобы, наконец, освободиться! Ну-ка, что вы об этом думаете?

Начав читать, Мартин сначала покраснел, а затем побледнел от волнения. Это было совершеннейшее художественное произведение. Здесь форма торже-

ствовала над содержанием, если можно было назвать торжеством это идеальное слияние мысли и словесного выражения, настолько совершенного, что оно вызвало на глазах у Мартина слезы восторга, а сердце его заставило усиленно биться. Это была длинная поэма, в шестьсот или семьсот стихов, поэма странная, фантастическая, пугающая. Она казалась невозможной, немыслимой, и все же она существовала и была написана на бумаге черным по белому. В этой поэме изображался человек со всеми его исканиями, с его неутомимым стремлением преодолеть бесконечное пространство, приблизиться к сферам отдаленнейших солнц. Это была сумасшедшая оргия умирающего, который еще жил и сердце которого билось последними слабеющими ударами. В торжественном ритме поэмы слышался гул планет, гром сталкивающихся метеоров, шум битвы звездных ратей среди мрачных пространств, озаряемых светом огневых облаков, а сквозь все это слышался слабый человеческий голос, как неумолчная тихая жалоба в грозном грохоте рушащихся миров.

– Ничего подобного еще не было написано, – пробормотал Мартин, когда, наконец, в состоянии был заговорить. – Это изумительно! Изумительно! Я ошеломлен! Я подавлен! Этот великий вечный вопрос теперь не выходит у меня из головы. В моих ушах все-

гда будет звучать этот жалобный голос человека, пытающегося постичь непостижимое! Точно писк комара среди мощного рева слонов и рыканья львов. Но в этом писке слышится ненасытная страсть. Я, вероятно, говорю глупости, но эта вещь совершенно завладела мною. Вы… Я не знаю, что сказать, вы просто гениальны. Но как вы это создали? Как могли вы это создать?

Мартин прервал свой панегирик только для того, чтобы собраться с силами.

– Я никогда больше не буду писать. Я просто жалкий пачкун. Вы мне показали, что такое настоящее мастерство. Вы – гений! Нет, вы больше, чем гений! Это истина безумия. Это истина в самой своей сокровенной сущности. Вы догматик, понимаете ли вы это? Даже наука не может опровергнуть вас. Это истина провидца, выкованная из железа космоса и выплавленная мощным ритмом в горнах красоты и величия. Больше я ничего не скажу! Я подавлен, уничтожен! Нет, я все-таки скажу еще кое-что: позвольте мне устроить поэму куда-нибудь.

Бриссенден расхохотался.

– Да разве есть во всем христианском мире хоть один журнал, который решится напечатать такую штуку? Вы же сами прекрасно это знаете!

– Нет, не знаю! Я убежден, что во всем мире нет

ни одного журнала, который бы не ухватился за это. Ведь такие произведения рождаются один раз в сто лет. Это поэма не нынешнего дня. Это поэма века.

– Я готов поймать вас на слове!

– Не разыгрывайте циника! – возразил Мартин. – Редакторы не такие уж кретины. Я знаю это. Хотите держать пари, что «Эфемериду» примут если не с первого, то со второго раза!

– Есть одно обстоятельство, мешающее мне воспользоваться вашим предложением, – произнес Бриссенден и, немного помолчав, добавил: – Это большое произведение, самое большое из всего, что я вообще когда-либо написал. Я отлично это знаю. Это моя лебединая песня. Я чрезвычайно горжусь этой поэмой. Я обожаю ее. Она мне милее виски. Это то совершенное творение, о котором я мечтал в дни своей ранней юности, когда человек еще стремится к идеалам и верит иллюзиям. И вот я достиг своего идеала, достиг его на краю могилы… Так неужели я буду отдавать его на поругание свиньям? Я не стану с вами держать пари! Это мое! Я создал это и делюсь им только с вами.

– Но подумайте об остальном мире! – воскликнул Мартин. – Ведь цель красоты – радовать и услаждать!

– Вот пусть это радует и услаждает меня.

– Не будьте эгоистом!

– Я вовсе не эгоист!

Бриссенден усмехнулся холодно и злорадно, словно заранее смакуя то, что он собирался сказать.

– Я альтруистичен, как голодная свинья.

Напрасно Мартин пытался поколебать его в принятом решении. Мартин уверял Бриссендена, что его ненависть к журналам нелепа и фанатична и что его поступок в тысячу раз постыднее, чем преступление Герострата, сжегшего храм Дианы Эфесской. Бриссенден слушал все это, кивал головой, попивая грог, и даже соглашался, что его собеседник прав во всем – за исключением того, что касалось журналов. Его ненависть к редакторам не знала границ, и он ругал их гораздо ожесточенное, чем Мартин.

– Пожалуйста, перепечатайте мне это, – сказал он, – вы сделаете это в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу дать вам один полезный совет. – Бриссенден вытащил из кармана объемистую рукопись. – Вот ваш «Позор солнца». Я три раза перечитывал его! Это самая большая похвала, которую я мог воздать вам. После того, что вы наговорили про «Эфемериду», – я, разумеется, должен молчать. Но вот что я вам скажу; если «Позор солнца» будет напечатан, он наделает невероятно много шуму. Из-за него поднимется жесточайшая полемика, и это будет для вас лучше всякой рекламы.

Мартин расхохотался.

– Уж не посоветуете ли вы мне послать эту статью в какой-нибудь журнал?

– Ни в коем случае, если только вы хотите, чтобы ее напечатали. Предложите ее одному из крупных издательств. Может быть, ее прочтет там какой-нибудь безумный или основательно пьяный рецензент и даст о ней благоприятный отзыв. Да, видно, что вы читали книги! Все они переварились в мозгу Мартина Идена и излились в «Позоре солнца»… Когда-нибудь Мартин Иден будет очень знаменит, и немалая доля его славы будет создана этой вещью. Ищите издателя, и чем скорее вы его найдете, тем лучше!

Бриссенден поздно засиделся у Мартина в этот вечер. Мартин проводил его до трамвая, и когда Бриссенден садился в вагон, то неожиданно сунул своему другу измятую бумажку.

– Возьмите это, – сказал он, – мне сегодня повезло на скачках!

Прозвенел звонок, и трамвай тронулся, оставив Мартина в полном недоумении, с измятой бумажкой в руках. Возвратившись к себе в комнату, он развернул бумажку – это был банковый билет в сто долларов.

Мартин воспользовался им без всякого стеснения. Он отлично знал, что у его друга много денег, а кроме того, был уверен, что сможет отдать долг в очень ско-

ром времени. На следующее утро он расплатился со всеми долгами, заплатил Марии вперед за три месяца и выкупил из ломбарда все свои вещи. Он купил свадебный подарок для Мэриен, купил рождественские подарки Руфи и Гертруде. В довершение всего он повел всю детвору Марии в Окленд и, во исполнение своего обещания (правда, опоздав на год), купил башмаки и Марии и всем ее ребятишкам. Мало того, он накупил им игрушек и сластей, так что свертки едва помещались в детских ручонках.

Входя в кондитерскую во главе этой необыкновенной, процессии, Мартин случайно повстречал Руфь и миссис Морз. Миссис Морз была чрезвычайно шокирована, и даже Руфь смутилась. Она придавала большое значение внешности, и ей было не очень приятно видеть своего возлюбленного с целой оравой португальских оборвышей.

Такое отсутствие гордости в самоуважения задело ее. В этом инциденте Руфь увидела лишнее доказательство того, что Мартин не в состоянии подняться над своей средой. Это было достаточно неприятно само по себе, и хвастать этим перед всем миром – ее миром – совсем уж не следовало. Хотя помолвка Руфи с Мартином до сих пор держалась в тайне, но их отношения ни для кого не составляли секрета, а в кондитерской, как нарочно, было очень много знакомых,

и все они с любопытством смотрели на удивительное окружение возлюбленного мисс Морз. Руфь не могла стать выше людских пересудов, и поведение Мартина было ей просто непонятно. Ее впечатлительная натура воспринимала этот случай как нечто позорное Мартин, придя к Морзам в этот день, застал Руфь в таком волнении, что даже не решился вытащить из кармана свой подарок. Он в первый раз видел ее в слезах – слезах гнева и обиды, и зрелище это так потрясло его, что он мысленно назвал себя грубой скотиной, хотя все-таки не вполне ясно понимал, в чем его вина. Мартину и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, и он не видел ничего оскорбительного для Руфи в том, что ходил покупать рождественские подарки детям Марии Сильвы. Но он готов был понять обиду Руфи, прислушавшись к ее объяснениям, и истолковал весь эпизод как проявление женской слабости, которая, очевидно, свойственна даже самым лучшим женщинам.

Глава 36

– Пойдемте, я покажу вам «настоящих людей», – сказал Мартину Бриссенден в один январский вечер.

Они пообедали в Сан-Франциско и собирались уже садиться на оклендский паром, как вдруг Бриссендену пришла фантазия показать Мартину «настоящих людей», Он повернул назад и зашагал вдоль пристани, скользя, словно тень, в своем развевающемся плаще; Мартин едва поспевал за ним. По дороге Бриссенден купил две бутылки старого портвейна и, держа их в руках, вскочил в трамвай, идущий по Мишен-стрит; то же сделал и Мартин, нагруженный четырьмя бутылками виски. «Что бы сказала Руфь, если бы увидела меня сейчас», – мелькнуло у Мартина в голове, но только на мгновенье; мысли его были заняты вопросом: что же это за «настоящие люди»?

– Может быть, сегодня там никого и не будет – сказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая и нырнули в темный переулок рабочего квартала к югу от Маркет-стрит. – Тогда вам так и не придется увидеть то, что вы давно ищете!

– Да что это за дьявольщина в конце концов? – спросил Мартин.

– Люди, настоящие умные люди, а не болтуны, вро-

де тех, которые толкутся в торгашеском притоне, где я вас встретил. Вы читали книги и страдали от одиночества! Ну вот, я познакомлю вас с людьми, которые тоже кое-что читали, и вы больше не будете так одиноки.

– Я не очень интересуюсь их бесконечными опорами, – прибавил Бриссенден, пройдя один квартал, – я вообще терпеть не могу книжной философии, но зато это, несомненно, настоящие люди, а не буржуазные свиньи! Но смотрите, они заткнут вас за пояс, о чем бы вы с ними ни заговорили!

– Надеюсь, что там будет Нортон, – продолжал он немного спустя, задыхаясь, но не позволяя Мартину взять у него из рук бутылки портвейна. – Нортон – идеалист. Он кончил Гарвардский университет! Изумительная память! Идеализм привел его к анархической философии, и семья отреклась от него. Его отец – президент железнодорожной компании, мультимиллионер, а сын влачит во Фриско полуголодное существование, редактируя анархический журнальчик за двадцать пять долларов в месяц.

Мартин плохо знал Сан-Франциско, в особенности же эту часть города, а потому никак не мог сообразить, куда собственно Бриссенден ведет его.

– Расскажите мне о них еще, – говорил он, – я хочу предварительно с ними познакомиться. Чем они жи-

вут? Как сюда попали?

– Надеюсь, что Гамильтон придет сегодня, – сказал Бриссенден, останавливаясь, чтобы перевести дух, – Страун-Гамильтон – старинная фамилия; он происходит из хорошей семьи, но сам по характеру настоящий бродяга и лентяй, каких свет не видел, хоть он и служит – вернее, пытается служить – в одном социалистическом кооперативе за шесть долларов в неделю. Это неисправимый бродяга! Он и в Сан-Франциско-то попал бродяжничая. Не раз бывало, что он целый день сидит на скамье в парке, причем у него с утра куска во рту не было, а когда предложишь ему пойти пообедать в ресторан, который находится за два квартала, – знаете, что он на это отвечает? «Слишком много беспокойства, старина. Купите мне лучше пачку папирос!» Он был спенсерианец, как и вы, пока Крейз не обратил его на путь материалистического монизма. Если удастся, я заставлю его поговорить о монизме. Нортон тоже монист, но он не признает ничего, кроме духа. У него вечные схватки с Гамильтоном и с Крейзом.

– А кто такой Крейз? – спросил Мартин.

– Мы как раз к нему и идем. Бывший профессор, изгнанный из университета, – самая обычная история. Ум острый, как бритва. Зарабатывает себе на пропитание всевозможными способами. Однажды был да-

же факиром. Абсолютно без предрассудков. Без зазрения совести снимет саван с покойника. Разница между ним и буржуа та, что он ворует без всяких иллюзий. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только монизмом. Даже о своей Мэри он думает гораздо меньше, чем о монизме. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его – это задеть Геккеля. Ну, вот мы и пришли.

Бриссенден поставил бутылки на ступеньку лестницы, перед тем как начать подъем. Дом был самый обыкновенный угловой двухэтажный дом, с салуном и лавкой в первом этаже.

– Эта шайка живет здесь и занимает весь второй этаж, – сказал Бриссенден, – но только один Крейз имеет две комнаты. Идемте!

Наверху не горела лампочка, но Бриссенден ориентировался в темноте, словно домовой. Он остановился, чтобы сказать Мартину:

– Здесь есть один – Стивенс, теософ. Когда разойдется, производит невероятный шум. Моет посуду в ресторане. Любит хорошие сигары. Я видел однажды, как, съев обед за десять центов, он купил сигару за пятьдесят. Я на всякий случай захватил для него парочку. А другой, по фамилии Парри, – австралиец, это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спро-

сите его, сколько зерна вывезли из Парагвая в 1903 году, или сколько английского холста ввезено в Китай в 1890 году, или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Баттлинга-Нельсона, или кто был чемпион Соединенных Штатов в среднем весе в 1868 году, – он на все вам ответит с точностью автомата. Есть еще некий Энди, каменщик, – имеет на всё свои взгляды и прекрасно играет в шахматы; затем – Гарри, пекарь, ярый социалист и профсоюзный деятель. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки, сидя здесь, в комнате Крейза. Сделал это только для развлечения и больше не принимал никакого участия в делах союза из-за лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке бесконечные возможности, но лень его совершенно необычайна.

Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока полоска света не указала им порог двери. Стук, ответное «войдите!» – и Мартин уже пожимал руку Крейзу, красивому брюнету с белыми зубами, черными усами и большими выразительными черными глазами. Мэри, степенная молодая блондинка, мыла посуду в небольшой комнатке, служившей одновременно кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Через всю комнату гирляндами висело бе-

лье, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем-то беседовавших в углу. Бриссендена и его бутылки они встретили радостными восклицаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Парри. Мартин с любопытством стал слушать рассказ Парри о боксе, который он вчера видел. А Бриссенден с азартом занялся раскупориванием бутылок и приготовлением грога. По его команде «собрать сюда всех» – Энди сразу отправился по комнатам созывать жильцов.

– Нам повезло, почти все в сборе, – шепнул Бриссенден Мартину, – Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте к ним. Стивенса, к сожалению, пока нет. Идемте. Я начну разговор о монизме, и вы увидите, что с ними будет.

Сначала разговор не вязался, но Мартин сразу же мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У каждого из них были свои определенные воззрения, иногда противоречивые, и, несмотря на свой юмор и остроумие, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что каждый из них (независимо от предмета беседы) проявлял большие научные познания и имел твердо и ясно выработанные взгляды на мир и на общество. Они ни у кого не заимствовали своих мнений; это были настоящие мятежники ума, и им чужда была всякая пошлость. Никогда у Морзов

не слышал Мартин таких интересных разговоров и таких горячих споров. Казалось, не было в мире вещи, которая не возбуждала бы в них интереса. Разговор перескакивал с последней книги миссис Гемфри Уорд на новую комедию Шоу, с будущего драмы на воспоминания о Мэнсфилде. Они обсуждали, хвалили или высмеивали утренние передовицы, говорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джемсе и Брандере Мэтью, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке и экономических последствиях желтой опасности, спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, толковали о последних начинаниях и неполадках в комитете объединенной рабочей партии, и о том, как лучше организовать всеобщую забастовку портовых грузчиков.

Мартин был поражен их необыкновенными познаниями во всех этих делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах, они знали все тайные пружины, все нити, которыми приводились в движение марионетки. К удивлению Мартина, Мэри тоже принимала участие в этих беседах и при этом проявляла такой ум и знания, каких Мартин не встречал ни у одной знакомой ему женщины.

Они поговорили о Суинберне и Россетти, после чего перешли на французскую литературу. И Мэри завела его сразу в такие дебри, где он оказался профа-

ном. Зато Мартин, узнав, что она любит Метерлинка, двинул против нее продуманную аргументацию, послужившую основой «Позора солнца».

Пришло еще несколько человек, и в комнате стало уже темно от табачного дыма, когда Бриссенден решил, наконец, начать битву.

– Тут есть свежий материал для обработки, Крейз, – сказал он, – зеленый юноша с розовым лицом, поклонник Герберта Спенсера. Ну-ка, попробуйте сделать из него геккельянца.

Крейз внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, а Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ласково улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту.

Крейз сразу напустился на Мартина, но Нортон постепенно начал вставлять свои словечки, и, наконец, разговор превратился в настоящее единоборство между ним и Крейзом. Мартин слушал, не веря своим ушам, ему казалось просто немыслимым, что он слышит все это наяву – да еще где, в рабочем квартале, к югу от Маркет-стрит. В этих людях словно ожили все книги, которые он читал. Они говорили с жаром и увлечением, мысли возбуждали их так, как других возбуждает гнев или спиртные напитки. Это не была сухая философия печатного слова, созданная мифическими полубогами вроде Канта и Спенсера. Это бы-

ла живая философия спорщиков, вошедшая в плоть и кровь, кипящая и бушующая в их речах. Постепенно и другие вмешались в спор, и все следили за ним с напряженным вниманием, дымя папиросами.

Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортона он явился для него откровением. Крейз и Гамильтон не считали идеализм логической необходимостью, они смеялись над Нортоном, называя его метафизиком, а тот в свою очередь называл метафизиками их. «Феномены» и «нумены» так и носились в воздухе. Крейз и Гамильтон обвиняли Нортона в попытках объяснить сознание из самого сознания. А тот в свою очередь обвинял их в том, что в своих рассуждениях они идут от слов к теории, а не от фактов к теории. Это их бесило. Их основной догмат сводился к тому, что следует начинать с фактов и фактам давать определение.

Когда Нортон стал цитировать Канта, Крейз сказал, что всякий добрый старый немецкий философ после смерти попадает в Оксфорд. Когда Нортон упомянул о гамильтоновском законе условного, его противники немедленно объявили, что и они основываются на этом законе. А Мартин слушал, весь дрожа от восторга. Однако Нортон не был истинным сторонником Спенсера, и потому он часто в разгаре спора обращался к Мартину, полемизируя с ним так же, как и с

другими противниками.

– Вы знаете, что Беркли еще никто не ответил, – говорил он, обращаясь уже прямо к Мартину. – Герберт Спенсер подошел ближе других, но и он, в сущности говоря, не дал исчерпывающего ответа. Самые смелые из его последователей не могут пойти дальше. Я читал статью Салиби о Спенсере. Ну, и он тоже говорит, что Спенсеру «почти» удалось ответить Беркли.

– А вы помните, что сказал Юм?! – воскликнул Гамильтон.

Нортон кивнул головой, но Гамильтон счел нужным пояснить остальным:

– Юм сказал, что аргументы Беркли не допускают никакого ответа и совершенно неубедительны.

– Неубедительны для Юма, – возразил Нортон, – у Юма ум был так же устроен, как и у вас, с той только разницей, что он был достаточно мудр и признавал всю невозможность ответить Беркли.

Нортон был очень горяч и вспыльчив, хотя никогда не терял самообладания, а Крейз и Гамильтон напоминали хладнокровных дикарей, которые спокойно и неторопливо изучают слабые места противника. Под конец вечера Нортон, обозленный непрестанными упреками в том, что он метафизик, схватился обеими руками за стул и с пылающим лицом и сверкающими глазами предпринял решительный натиск на

своих противников.

– Ладно, геккельянцы, – закричал он, – может быть, я рассуждаю, как колдун и знахарь, но хотел бы я знать, вы-то как рассуждаете? Ведь у вас же нет никакого базиса, хотя вы и кричите о всяких позитивных знаниях. Вы невежественные догматики! Ведь еще задолго до возникновения школы материалистического монизма вся почва была до того перерыта, что никакого фундамента нельзя было уже построить. Локк – вот кто сделал это! Джон Локк! Двести лет назад, даже больше, он в своих «Опытах о человеческом познании» доказал нелепость понятия врожденной идеи. А вы этим занимаетесь до сих пор. Доказываете мне сегодня в продолжение целого вечера, что никаких врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек не может постичь высшей реальности. Когда вы рождаетесь, у вас в мозгу нет ничего. Все дальнейшее познание зиждется только на феноменах, на восприятиях, получаемых вами с помощью пяти чувств. Нумены, которых не было у вас в мозгу при рождении, не могут никак попасть туда и после!..

– Неверно, – перебил его Крейз.

– Дайте мне договорить! – воскликнул Нортон. – Вашему познанию доступны только те действия и взаимодействия силы и материи, которые так или иначе

влияют на ваши чувства. Видите, я готов даже признать, что материя существует! Так и быть. Но я вас сейчас уничтожу вашим же собственным аргументом. Другого пути у меня нет, так как, к сожалению, вам обоим недоступно абстрактное мышление. Так вот, скажите, что вы знаете о материи, основываясь на положительном знании? Вы знаете только то, что воспринимаете, то есть опять-таки только феномены. Вам доступны только изменения материи, вернее даже – только то, что воспринимается вами как ее изменение. Позитивное знание имеет дело только с феноменами, а вы, безумцы, воображаете, что имеете дело с нуменами, и считаете себя онтологами. Да, позитивная наука оперирует только с явлениями. Кто-то уже сказал однажды, что наука о явлениях не может возвыситься над явлениями. Вы не можете ответить Беркли, даже если сумеете опровергнуть Канта; однако вы утверждаете, что Беркли не прав, ибо ваша наука, отрицая существование бога, не сомневается в существовании материи. Я признал сейчас существование материи только для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей. Сделайте одолжение, будьте позитивистами, но онтологии нет места среди позитивных наук. Стало быть, оставьте ее в покое, Спенсер прав, как агностик, но если Спенсер…

Однако приближалось время отхода последнего ок-

лендского парома, и Бриссенден и Мартин вынуждены были уйти. Они выскользнули незамеченными, в то время как Нортон продолжал говорить, а Крейз и Гамильтон только и ждали случая наброситься на него, как пара разъяренных гончих.

– Вы открыли мне волшебную страну, – сказал Мартин Бриссендену, когда они оба зашли на паром. – Поговорив с такими людьми, чувствуешь, что стоит жить! Я прямо потрясен! Я до сих пор не понимал, что такое идеализм. Я и теперь не могу принять его. Я знаю, что всегда останусь реалистом, – так уж создан, должно быть. Но я мог бы поспорить с Крейзом и Гамильтоном и задать Нортону два или три вопроса. Не вижу, чтобы Спенсеру были сделаны серьезные возражения. Я взволнован, как ребенок впервые побывавший в цирке. Теперь я вижу, что мне еще очень многое нужно прочитать. Надо будет достать книгу Салиби! Я убежден, что Спенсер неуязвим. В следующий раз я сам приму участие в споре… Но Бриссенден дремал, тяжело дыша, уткнувшись худым подбородком в теплый шарф, и все его тощее тело вздрагивало при каждом обороте винта.

Глава 37

На следующее утро Мартин, вопреки предупреждениям Бриссендена, отправил в «Акрополь» «Позор солнца». Он решил, что если журнал напечатает его статью, то ее легко будет продать какому-нибудь книгоиздательству. «Эфемериду» он также переписал и отправил. Несмотря на почти маниакальную ненависть Бриссендена к редакторам и журналам, Мартин твердо решил, что поэма должна увидеть свет. Он, конечно, не предполагал печатать ее без согласия Бриссендена. Ему хотелось, чтобы какой-нибудь крупный журнал принял ее, а тогда, думал Мартин, можно будет добиться согласия Бриссендена.

И в то же утро Мартин начал писать повесть, которую задумал уже недели три тому назад и которая с тех самых пор настойчиво просилась на бумагу. Это должна была быть повесть из морской жизни, образец романтики двадцатого века с увлекательным сюжетом, с реальными характерами и реальной обстановкой. Но под занимательной фабулой должно было скрываться нечто такое, чего поверхностный читатель не мог заметить и что, однако, не мешало бы ему получать удовольствие при чтении. Именно это «что-то», а не перипетии сюжета, было для Мартина самым

главным в повести. Его всегда увлекала в произведении основная идея, и сюжет зависел от нее. Определив для себя эту идею, он находил такие образы и такие ситуации, в которых она могла получить наиболее яркое выражение. Повесть должна была называться «Запоздалый» и по объему не превышать шестидесяти тысяч слов, – а при работоспособности и творческой энергии Мартина это были, разумеется, сущие пустяки. В первый же день, начав писать, он испытал глубокое наслаждение мастера. Он уже не боялся теперь, что неловкость, беспомощность литературной формы обеднит его мысль. Долгие месяцы упорной, напряженной работы принесли, наконец, желанные плоды. Теперь он мог идти твердо и неуклонно к задуманной цели, и никогда еще не было у него такой глубокой уверенности в том, что он правильно понимает жизнь и умеет показать ее. В «Запоздалом» Мартину хотелось изобразить действительные происшествия и вывести реальных людей, реально мыслящих и чувствующих. Но, кроме того, в повести должен был заключаться великий тайный смысл, идея, равно справедливая для всех стран, всех времен и народов. «И все это благодаря Герберту Спенсеру, – подумал Мартин, вдруг откинувшись на спинку стула. – Да, благодаря Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который он дал мне в руки и который

зовется эволюцией!»

Мартин отчетливо сознавал глубину и значительность того, что он создавал сейчас. «Дело пойдет! Пойдет!» – мысленно твердил он себе. Да, дело пошло. Наконец-то он напишет такую вещь, за которую тотчас же схватится любой журнал. Вся повесть целиком словно горела перед ним огненными буквами. Мартин вдруг оторвался от работы, набросал в своей записной книжке отрывок, который должен был стать заключительным. Вся композиция вещи была настолько ясна ему, что он вполне мог написать конец задолго до того, как подошло время его написания. Он сравнивал свою еще не законченную повесть с рассказами других писателей и пришел к убеждению, что его произведение неизмеримо выше.

– Только один человек мог бы написать нечто подобное, – пробормотал Мартин, – это Конрад. Но и Конрад вполне бы мог пожать мне руку за эту повесть и сказать: «Хорошо сработано, Мартин дружище!»

Проработав почти весь день, Мартин вдруг вспомнил, что приглашен обедать к Морзам. Благодаря Бриссендену его черный костюм был выкуплен из ломбарда, и Мартин мог теперь снова появляться в обществе. По дороге он забежал в библиотеку и взял там книгу Салиби. Он решил еще в трамвае прочесть «Цикл жизни», ту самую статью, о которой упоми-

нал во время спора Нортон. Читая, Мартин пришел в ярость. Лицо его пылало, глаза сверкали, он все время бессознательно сжимал кулаки, словно угрожая кому-то. Выйдя из трамвая, он зашагал по улице с решительным видом человека, готовящегося напасть на кого-то, и так надавил звонок у двери Морзов, что тут же опомнился и добродушно расхохотался. Но, войдя в дом, он тотчас же почувствовал глубокую тоску. У него словно подломились крылья и он сразу упал с тех высот, на которые занесло его вдохновение.

«Буржуа! Торгаши!» – вспомнил он любимые выражения Бриссендена. «Ну и что же? – сердито перебил он сам себя. – Ведь я женюсь на Руфи, а не на ее семье!»

Мартину показалось, что Руфь никогда еще не была такой прекрасной, такой одухотворенной и в то же время такой здоровой и свежей. Ее щеки слегка зарумянились, и он опять не мог отвести взгляда от ее глаз – синих глаз, в которых он впервые увидел отблеск бессмертия. Он потом, правда, забыл о бессмертии и был отвлечен в сторону положительных наук; но теперь в глазах Руфи он прочел нечто такое, чего нельзя было выразить на человеческом языке. Мартин прочел в них любовь. Та же любовь сияла и в его глазах, а любовь была выше всяких споров. Таково было его глубочайшее пламенное убеждение.

Те полчаса, которые он провел с Руфью перед обедом, сделали его опять счастливым и довольным жизнью. Но, во время обеда Мартин вдруг почувствовал необычайное утомление, – оно явилось как естественная реакция после трудового дня. Он сознавал, что у него усталые глаза и что он очень раздражен и не сдержан. Ему вспомнилось, как за этим самым столом, где теперь ему не раз бывало смешно и скучно, он сидел некогда впервые в обществе людей, которых считал неизмеримо выше себя. Самый воздух этого дома тогда казался ему пропитанным утонченной культурой. Должно быть, он представлял тогда очень забавное и трогательное зрелище. Полудикарь, от волнения обливающийся потом, сбитый с толку множеством подаваемых блюд, угнетаемый величественным лакеем, старающийся не потеряться в высоких сферах, куда занес его случай, и, в конце концов, приходящий к отчаянному решению – быть самим собой, не пытаясь проявить глубину знаний и изысканность манер, которых у него не было.

Мартин бросил на Руфь мимолетный взгляд, такой взгляд, которым путешественник при слухе о грозящей судну опасности проверяет, на месте ли спасательный круг. Да! Только это и выдержало испытание времени: любовь и Руфь. Все остальное развеялось, как мираж, едва он начал по-настоящему чи-

тать книги. Но Руфь и любовь не были миражем. Для них он нашел биологическое оправдание. Любовь была сильнейшим проявлением жизни. Природа предписывала ему любить и готовила его для этого, так же как всякого другого нормального человека. Десятки тысяч, сотни тысяч – нет! миллионы веков она билась над совершенствованием человеческой породы для этой цели, и он, несомненно, явился венцом ее достижений. Она вдохнула в Мартина любовь, в мириады раз увеличила ее силой фантазии и послала его в мир, чтобы он изведал волнение и трепет, и радость свершения. Его рука нашла под столом руку Руфи и пожала ее. Ответом было такое же жаркое пожатие. Они быстро переглянулись, и ее глаза блеснули любовно и ласково. Глаза Мартина также блеснули, и он даже не подозревал, что блеск в глазах Руфи был, в сущности говоря, лишь отражением того огня, который горел в его взоре.

Напротив него, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блоунт, главный судья города Сан-Франциско. Мартин уже неоднократно встречался с ним и, по правде говоря, не чувствовал к нему особенного расположения. Судья беседовал с отцом Руфи о рабочих союзах, о политическом положении и о социализме, причем мистер Морз указал ему на Мартина, как на сторонника социалистического учения. Судья

Блоунт посмотрел на молодого человека с отеческим состраданием. Мартин усмехнулся про себя.

– Со временем вы поймете свои заблуждения, – сказал судья ласково, – эти детские болезни лучше всего излечиваются временем! (Говоря так, судья повернулся к мистеру Морзу). Я никогда не спорю в таких случаях: это только возбуждает в пациенте упрямство.

– Совершенно справедливо, – важно ответил мистер Морз, – но иногда, все же полезно бывает предупредить пациента о возможных последствиях его упрямства.

Мартин засмеялся, хотя не без некоторого усилия. День был так долог, работа в течение всего дня была так напряжена, что реакция давала себя знать.

– Несомненно, вы превосходные доктора, – сказал он, – но если вы хоть немножко интересуетесь мнением пациента, позвольте ему сказать вам, что вы ошиблись в диагнозе. На самом деле вы оба страдаете той самой болезнью, которую приписываете мне. Я же совершенно невосприимчив к ней. Социалистическая философия, которая вас так волнует, меня никак не затронула.

– Ловко, ловко, – пробормотал судья, – прекрасный прием в споре – обращать обвинение против обвинителя.

– Позвольте! Я говорю на основании ваших слов! – сказал Мартин. Глаза его сверкнули, но он еще сдерживался. – Видите ли, господин судья, я слышал ваши предвыборные речи. Благодаря особой мыслительной передержке, – это мое любимое выражение, хотя оно не всем понятно, – вы считаете себя сторонником принципа «выживания сильнейшего», и в то же время, вы принимаете все меры к тому, чтобы обессилить сильного.

– Молодой человек!..

– Не забудьте, что я слышал ваши речи! – перебил Мартин. – Ваша позиция в вопросе о торговых взаимоотношениях между штатами, об урегулировании деятельности железнодорожного и нефтяного трестов, о планомерной эксплуатации лесов и так далее и тому подобное – сводится к требованию ограничительных мер, то есть по существу совпадает с позицией социалистов.

– Но разве, по-вашему, не следует обуздывать непомерный произвол власть имущих?

– Не об этом речь. Я хочу только доказать вам, что вы ошиблись в диагнозе, и что я нисколько не заражен бактерией социализма. Я хочу доказать вам, что вы сами, именно вы, заражены этой бактерией! Что касается меня, то я исконный враг социализма, так же как и вашей ублюдочной демократии, которая, в сущ-

ности говоря, есть псевдосоциализм, только не хочет называть вещи своими именами. Я реакционер, настолько убежденный реакционер, что вам, живущим под колпаком фальшивых общественных отношений, никогда не понять моих взглядов, ибо вы слишком близоруки, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь этот колпак. Вы *делаете вид*, что вы верите в победу сильнейшего, а я *действительно* в это верю. Вот в чем разница. Когда я был моложе – всего несколько месяцев тому назад, – я думал так же, как и вы, и ваши слова производили даже на меня известное впечатление. Но торгаши и лавочники – трусливые правители; они заняты только добыванием денег, и я предпочел обратиться к древнему аристократизму. В этой комнате я единственный индивидуалист. Мне нет никакого дела до государства. Я жду только сильного человека, который явится верхом на коне и спасет государство от неизбежного разложения. Ницше был совершенно прав. Я не буду терять время, и объяснять вам, кто такой Ницше, но он был прав! Мир принадлежит сильным, которые также благородны, как и могучи, и которые не барахтаются всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам, белокурым зверям, тем, кто не идет ни на какие компромиссы и всегда говорит только «да». И они поглотят вас – вас, социалистов, боящихся социализма и во-

ображающих себя индивидуалистами. Ваша рабская мораль золотой середины не спасет вас! Ну, конечно, все это для вас китайская грамота, и я не буду больше надоедать вам. Но помните одно! В Окленде не наберется и полдюжины индивидуалистов, но один из них – ваш покорный слуга, Мартин Иден.

Сказав так, Мартин обратился к Руфи, как бы давая понять, что он считает спор законченным.

– Я сегодня устал, – сказал он, – мне хочется любить, а не разговаривать.

Он оставил без ответа замечание мистера Морза, который сказал:

– Вы меня не убедили. Все социалисты – иезуиты. Им необходимо прибегать к разным увертками.

– Ничего! Мы еще сделаем из вас доброго республиканца, – сказал судья Блоунт.

– Всадник на коне явится раньше, чем это случится, – добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.

Но мистер Морз был недоволен. Ему не нравилась леность и презрение к нормальным, разумным видам деятельности, проявляемые его будущим зятем, образ мыслей которого был ему чужд, а натура – непонятна. И мистер Морз решил направить беседу на учение Герберта Спенсера. Мистер Блоунт поддержал этот разговор, а Мартин, навостривший уши, как

только было произнесено имя философа, услыхал, что судья сдержанно, но с достоинством начал критиковать идеи Спенсера. Мистер Морз временами поглядывал на Мартина, словно желая сказать: «Слышите, дитя мое?»

– Какой вздор, – шептал Мартин, продолжая говорить с Руфью и Артуром.

Но дневная усталость и вчерашние споры с «настоящими людьми» взяли свое; к тому же он еще не излил вполне раздражения, которое было вызвано в нем статьей, прочитанной в трамвае.

– В чем дело? – вдруг спросила его Руфь, испуганная тем явным усилием, с которым Мартин сдерживал себя.

– «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его», – вдруг произнес судья.

Мартин тотчас же повернулся к нему.

– Дешевая острота, – заметил он спокойно, – впервые я услышал ее в Сити-Холл-парке из уст одного рабочего, которому следовало, пожалуй, быть умнее. С тех пор я часто слышал эти слова, и всякий раз меня тошнило от их пошлости. Как вам самому не стыдно! Имя великого и благородного человека среди ваших словоизлияний – словно капля росы в стоячей луже. Вы внушаете мне отвращение!

Казалось, внезапно раздался удар грома. Судья

Блоунт побагровел, и вдруг воцарилось зловещее молчание. Мистер Морз втайне радовался. Он видел, что его дочь шокирована. Он добился своего, вызвал вспышку природной грубости у этого ненавистного ему человека.

Руфь с мольбой сжала под столом руку Мартина, но кровь уже закипела в нем. Самомнение и тупость людей, занимающих высокое положение, возмутили его. Главный судья! Подумать, что только два-три года назад он лежал во прахе и смотрел на таких людей, как на богов.

Судья Блоунт пришел в себя и даже попытался продолжать разговор, обращаясь к Мартину с нарочитой вежливостью, но тот сразу понял, что это делается исключительно ради присутствующих дам. Это окончательно взбесило Мартина. Неужели в мире вовсе нет честности?

– Не вам спорить со мною о Спенсере! – воскликнул он. – Вы так же мало знаете Спенсера, как и его милые сородичи. Я знаю, это не ваша вина! В этом виновато всеобщее современное невежество. С образчиком такого невежества я имел случай познакомиться только что, когда ехал сюда! Я читал исследование Салиби о Герберте Спенсере. Вам бы следовало это прочесть. Книга доступна для всех. Вы можете найти ее в любом магазине и в любой библиотеке. Когда вы прочте-

те то, что написал Салиби про этого великого человека, даже вам, я уверен, станет неловко. Это такой рекорд пошлости, перед которым ваша пошлость бледнеет. Академический философ, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, называет его «философом недоучек». Я уверен, что вы не прочли и десяти страниц из сочинений Спенсера, но были критики и более интеллигентные, которые читали не больше вашего и, однако, имели наглость указывать последователям Спенсера на ложность его идей! Понимаете? Его идей – человека, великий гений которого охватил все стороны научного познания; он был отцом психологии; он произвел целый переворот в области педагогики, так что крестьянские дети во Франции теперь приобретают основы знаний по методам, предложенным Спенсером. Жалкие людишки, оскорбляющие его память, добывают себе в то же время кусок хлеба практическим применением его идей. Ведь если у них есть хоть какие-нибудь мысли, то этим они обязаны ему! Ведь если бы его не было, они не имели бы и тех ничтожных знаний, которые они затвердили, как попугаи. А какой-нибудь господин, вроде Фэрбэнкса в Оксфорде, который занимает место повыше вашего, судья Блоунт, смеет говорить, что потомство назовет Спенсера скорее поэтам и мечтателем, нежели мыслителем. Тявкающие шавки, вот это кто! Один

изрек, что «Основные начала» не лишены литературных красот. Другие кричат, что он – труженик ума, но не оригинальный мыслитель. Тявкающие шавки! Свора тявкающих шавок!

Мартин умолк среди гробовой тишины. Все в семье Руфи уважали судью Блоунта как человека почтенного и заслуженного, и выступление Мартина повергло всех в ужас. Конец обеда прошел при самом погребальном настроении. Судья и мистер Морз вполголоса беседовали между собой; у других разговор вовсе не клеился.

Когда Мартин и Руфь после обеда остались вдвоем, произошла бурная сцена.

– Вы невыносимы, – говорила Руфь, вся в слезах. Но его гнев еще не утих, и он грозно бормотал:

– Скоты! Ах, скоты!..

Когда Руфь сказала, что Мартин оскорбил судью, он возразил:

– Чем же я его, по-вашему, оскорбил? Тем, что сказал правду?

– Мне нет дела до того, правда это или нет, – продолжала Руфь, – есть известные границы приличия, и вам никто не давал права оскорблять людей!

– А кто дал судье Блоунту право оскорблять истину? – воскликнул Мартин. – Оскорбить истину гораздо хуже, чем оскорбить какого-то жалкого человечишку.

Но он сделал еще хуже! Он очернил имя величайшего и благороднейшего мыслителя, которого уже нет в живых. Ах, скоты! Ах, скоты!

Ярость Мартина испугала Руфь. Она впервые видела его в таком неистовстве и не могла понять причины этого безрассудного, с ее точки зрения, гнева. И в то же время ее по-прежнему неотразимо влекло к нему, так что в конце концов она не удержалась и, потянувшись к нему, обхватила руками его шею. Она была оскорблена и возмущена всем, что случилось, и тем не менее ее голова лежала на его груди, и, прижимаясь к нему, она слышала, как он бормотал:

– Скоты, ах, скоты!

И не подняла головы, даже когда он сказал:

– Я больше не буду портить вам званых обедов, моя дорогая. Ваши родные не любят меня, и я не хочу им навязываться. Они так же противны мне, как я им. Фу! Они просто отвратительны! Подумать только, что я когда-то смотрел снизу вверх на людей, которые занимают важные посты, живут в роскошных домах, имеют университетский диплом и банкирский счет! Я по своей наивности воображал, что они в самом деле достойны уважения.

Глава 38

– Пойдемте в социалистический клуб! – сказал Бриссенден, ослабевший от кровохарканья, которое было с ним полчаса тому назад – второе за последние три дня. В его дрожащих руках был неизменный стакан виски.

– А что мне там делать? – спросил Мартин.

– Посторонним разрешается брать слово, только не больше чем на пять минут, – сказал больной, – вот вы и выступите. Скажите им, почему вы не социалист. Скажите им то, что вы думаете о них и об их этике, этике гетто. Бросьте им в лицо Ницше и заварите кашу. Им полезны такие споры, да и вам тоже! Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я умру. Только это может спасти вас в час разочарования в жизни, который, несомненно, наступит.

– Не понимаю, как вы, именно вы, можете быть социалистом, – заметил Мартин, – ведь вы ненавидите толпу. И правда, какое дело вам, эстету, до ее интересов и стремлений? – При этих словах Мартин с укоризной указал Бриссендену на виски: – Социализм, по-видимому, не спасает вас.

– Я очень болен, – отвечал Бриссенден. – Вы – другое дело Вы человек здоровый, у вас еще вся жизнь

впереди, и вам надо иметь какую-нибудь цель в жизни. Вы удивляетесь, почему я социалист? Я вам скажу. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй сгнил и не может продержаться долго; потому что время вашего человека на коне прошло. Рабы не пойдут за ним. Рабов слишком много, и они не дадут ему сесть на коня. Все равно вы от них не уйдете и принуждены будете проглотить их рабскую мораль. Конечно, это не очень сладко. Но тут уже ничего не поделаешь. Вы с вашими ницшеанскими идеями просто троглодит, Мартин. Что прошло – прошло, а тот, кто говорит, что все в истории повторяется, – лжет. Вы правы, я не люблю толпу, но как же быть? Человека на коне вам не дождаться, а я предпочту что угодно, только не власть трусливых буржуазных свиней. Идемте. Если я просижу здесь еще немножко, я напьюсь в стельку! А вы знаете, что говорит доктор? Впрочем, к черту доктора! Мне ужасно хочется оставить его в дураках.

Был воскресный вечер, и небольшой зал окленского социалистического клуба был битком набит, главным образом рабочими. Оратор, умный еврей, понравился Мартину, хотя все, что он говорил, было для него совершенно неприемлемо. Узкие плечи и впалая грудь оратора сразу изобличали в нем истинного сына гетто, и, глядя на него, Мартин ясно пред-

ставил себе вечную войну жалких и слабых рабов против горсточки сильных мира сего, которые правили ими искони и всегда будут править. Для Мартина в этом тщедушном человеке заключался великий символ. Это было воплощение несчастной массы хилых и неприспособленных людей, гибнущих по неизбежному биологическому закону на тернистых путях жизни. Они были обречены. Несмотря на их хитроумную философию и муравьиную склонность к коллективизму, природа отвергла их ради могучих и сильных людей. Природа отбирала лучшие свои создания, и люди подражали ей, разводя породистых лошадей и редкостные растения. Конечно, творец мироздания мог придумать лучший метод, но людям этого мира уже приходится считаться с существующим порядком вещей. Разумеется, перед гибелью они могут извиваться и корчиться, как это делают социалисты, могут собираться и толковать о том, как уменьшить тяготы земного существования и перехитрить вселенную.

Так думал Мартин, и это же самое он высказал, когда Бриссенден, наконец, убедил его выступить и задать им жару. Он взошел на трибуну и, как было принято, обратился к председателю. Он заговорил сначала очень тихо, слегка запинаясь, стараясь привести в порядок все те мысли, которые нахлынули на него во время речи еврея. Каждому оратору на таких ми-

тингах предоставлялось пять минут. Но когда истекли эти положенные пять минут, Мартин только еще успел войти во вкус своей речи, нападение его на социалистические доктрины только что развернулось, а так как он возбудил в слушателях большой интерес, то они единогласно потребовали у председателя продления срока. Они увидели в нем достойного противника и напряженно следили за каждым его словом. Мартин говорил с необычайным увлечением, не прибегая к околичностям, и, нападая на рабскую мораль, прямо указывал, что под рабами он разумеет именно своих слушателей. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и прославлял биологический закон мирового развития.

– Итак, – резюмировал он свою речь, – государство не может существовать, если оно состоит только из рабов! Основной закон эволюции действует и здесь! В борьбе за существование, как это мной сейчас было указано, выживает сильный и потомство сильного, а слабый и его потомство осуждены на гибель. И в результате этого процесса сила сильных увеличивается с каждым поколением. Вот что такое эволюция! Но вы, рабы, – сознавать себя рабом неприятно, согласен, – вы, рабы, мечтаете об обществе, не подчиняющемся великому закону эволюции. Вы хотите, чтобы хилые и неприспособленные не погибали. Вы хотите, чтобы

слабые ели так же, как и сильные, и столько, сколько им хочется. Вы хотите, чтобы слабые наравне с сильными вступали в брак и производили потомство. Каков же будет результат всего этого? Сила и жизнеспособность человечества не будет возрастать с каждым поколением. Напротив. Она будет уменьшаться. Вот Немезида вашей рабской философии. Ваше рабское общество, существующее лишь ради рабов начнет постепенно слабеть и разрушаться, пока, наконец, совсем не погибнет. Помните, я исхожу из биологических законов, а не сентиментальной морали. Государство рабов существовать не может.

– Ну, а Соединенные Штаты? – крикнул кто-то.

– Соединенные Штаты? – возразил Мартин. – Тринадцать колоний изгнали своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе господами. Господ, управляющих с помощью меча, больше не было. Но рабы не могли оставаться без господ, и вот возник новый вид правителей – не смелые, благородные и сильные люди, а жалкие пауки, торгаши-ростовщики! И они снова сделали вас рабами, но не открыто, по праву сильного, а незаметно, разными махинациями, хитростью, обманом и ложью. Они подкупили ваших судей, извратили ваши законы и подвергли ваших сыновей и дочерей гнету, перед которым побледнели все ужасы прямого рабства. Два

миллиона ваших детей трудятся сейчас под игом промышленной олигархии Соединенных Штатов. Десять миллионов рабов живут, не имея ни крова, ни хлеба. Нет, государство рабов не может существовать, ибо это противоречит биологическому закону эволюции. Как только организуется общество рабов, немедленно наступает упадок и вырождение. Вы отрицаете законы эволюции? Хорошо! Где же тот новый, другой закон, на который вы рассчитываете опереться? Формулируйте его. Или это уже сделано? Ну, тогда скажите мне его.

Мартин сел на свое место под оглушительный шум всей аудитории. Множество людей повскакало со своих мест, требуя слова. Один за другим, с жаром и воодушевлением, усиленно жестикулируя и вызывая аплодисменты, они отражали атаку Мартина. Это было настоящее побоище, ожесточенная схватка идей. Многие из ораторов говорили и на общие темы, но большинство непосредственно обращалось к Мартину. Они кидали ему новые для него мысли; открывали перед ним не новые биологические законы, но новые возможности применения старых законов. Они слишком были увлечены, чтобы помнить о вежливости, и председателю несколько раз пришлось останавливать их.

Случилось, что на собрании присутствовал моло-

дой репортер, истомившийся в погоне за сенсацией. Он не обладал ни умом, ни опытом. Он обладал только бойкой развязностью газетчика. Он был слишком невежественен, чтобы следить за смыслом спора. Но в нем жила твердая уверенность, что он стоит гораздо выше всех этих болтливых маньяков из рабочего класса. К тому же он весьма уважал сильных мира сего, занимающих высокие посты и определяющих политику наций и газет. У него был даже свой идеал: он мечтал стать первоклассным репортером, таким, который умеет из ничего создавать очень многое.

Он так и не понял, о чем в сущности шел разговор. Да ему и не нужно было знать этого. Он руководствовался отдельными словами, вроде «революция». Как палеонтолог по одной найденной кости восстанавливает в представлении целый скелет, так и этот репортер мог воспроизвести целую речь по одному только запомнившемуся слову «революция». Он занялся этим в ту же ночь, и занялся весьма успешно, а так как выступление Мартина наделало больше всего шума, то репортер решил вложить эту речь ему в уста, изобразив его анархистом, а его реакционный индивидуализм превратив в самый крайний красный социализм. Молодой репортер не был лишен литературного дара и очень живописно изобразил свирепых длинноволосых людей, неврастеников и дегенератов, потря-

сающих кулаками и издающих злобные возгласы под нестройный гул разъяренной толпы.

Глава 39

На следующий день, за утренним кофе, Мартин, по обыкновению, читал газету. В первый раз в жизни увидал он свое имя, напечатанное крупным шрифтом на первой странице. С изумлением он узнал, что является одним из виднейших лидеров оклендских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым репортером, и сначала был возмущен этим бесстыдным измышлением, но в конце концов со смехом отшвырнул газету.

– Или это написал пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел, – сказал он Бриссендену, который пришел к нему после обеда и устало опустился на единственный стул. Сам Мартин, по обыкновению, сидел на кровати.

– А вам не все ли равно? – сказал Бриссенден. – Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты?

Мартин на минуту задумался.

– Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, чтобы это не испортило моих отношений с семьей Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужит подтверждением. Мне наплевать, что он думает, но все-таки могут быть неприятные по-

следствия. Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал… Все тот же «Запоздалый», конечно. Уже около половины готово.

Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро огляделся кругом, задержал свой взгляд на керосинке и кухонном ящике и, наконец, обратил его на Мартина.

– Садитесь! – сказал Бриссенден.

Мартин подвинулся, чтобы дать гостю место, и вопросительно посмотрел на него.

– Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Иден, – начал молодой человек после непродолжительного молчания. – Я бы хотел проинтервьюировать вас.

Бриссенден разразился хохотом.

– Собрат-социалист? – спросил репортер, кидая быстрый взгляд на Бриссендена и словно мысленно прикидывая эффект, который будет иметь описание этого живого мертвеца.

– И он написал этот отчет, – воскликнул Мартин, – такой мальчишка?!

– Почему вы не вздуете его? – спросил Бриссенден. – Я бы дал сейчас тысячу долларов, чтоб только иметь здоровые легкие.

Юный журналист был несколько ошеломлен этим разговором, который велся через его голову. Но он

только что удостоился похвалы редактора за блестящий отчет о социалистическом митинге и получил поручение проинтервьюировать Мартина Идена лидера организованных врагов существующего порядка.

– Вы ничего не будете иметь против, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? – спросил он, – Я захватил с собой фотографа, но он говорит, что в комнате снимать неудобно. Лучше выйти на солнце. А потом мы можем побеседовать с вами.

– Фотограф? – задумчиво произнес Бриссенден. – Ну, что же вы, Мартин? Вздуйте его!

– Должно быть, я становлюсь стар, – отвечал Мартин. – Я знаю, что его нужно вздуть, но у меня для этого нет необходимой энергии. Да и ради чего?

– Ради его бедной матери, – возразил Бриссенден.

– Пожалуй, это веское соображение, – согласился Мартин, – но все-таки мне не хватает энергии. Ведь для того, чтобы вздуть кого-нибудь, необходима затрата энергии. Да и стоит ли?

– Вот именно, не стоит, – веселым тоном подхватил репортер, но при этом опасливо оглянулся на дверь.

– Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды, – продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.

– Видите ли, это было как бы описание в общих чертах… – рискнул объяснить юноша, – Ведь это в конце

концов для вас великолепная реклама… Согласитесь сами.

– Учтите, Мартин, это для вас реклама! – торжественно провозгласил Бриссенден.

– Да, да!.. И я должен с этим согласиться.

– Разрешите узнать, мистер Иден, где вы родились? – спросил репортер, изображая на своем лице напряженное внимание.

– Заметьте, он ничего не записывает, – ввернул Бриссенден, – он все запоминает.

– Для меня этого вполне достаточно, – юноша всячески старался скрыть свою тревогу. – Опытный репортер никогда не записывает.

– Должно быть, вы и вчера тоже не записывали? – Но Бриссенден не принадлежал к школе квистистов, а потому вскричал вдруг, сразу переменив тон:

– Мартин! Если вы не изобьете его, то я изобью! Умру, но изобью!

– Отшлепать, пожалуй, будет достаточно? – спросил Мартин.

Бриссенден подумал, словно судья, и кивнул головой. В следующий миг голова репортера была крепко зажата у Мартина между коленями.

– Только не кусаться, – предупредил Мартин, – не то я должен буду разбить вашу симпатичную мордочку. А это будет жаль.

Его правая рука стала мерно подниматься и опускаться. Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только один раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул:

– Дайте мне тоже разок ударить!

– К сожалению, я больше не в состоянии, – сказал, наконец, Мартин. – Рука совсем онемела.

Он схватил репортера за шиворот и швырнул его на кровать.

– Я заявлю в полицию. Вас арестуют! – кричал тот. Слезы негодования текли по его горящим щекам. – Вы ответите за это. Берегитесь!

– Вот тебе и раз, – сказал Мартин, – он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Ведь нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как он это сделал, а он все не понимает.

– Ну что ж, вот он пришел к вам, чтобы вы ему это объяснили, – вставил Бриссенден.

– Да, он пришел ко мне, оклеветав и осрамив меня предварительно. Теперь мой лавочник наверняка откажет мне в кредите. Но хуже всего, что бедный мальчик никогда уже не сойдет с этого пути, пока из него не выработается первоклассный журналист и первоклассный негодяй.

– У вас есть еще время обратить его на путь истинный, – возразил Бриссенден. – Ах, почему вы мне не дали его ударить хоть разочек. Мне хотелось бы принять участие в этом добром деле.

– Вас обоих посадят в тюрьму! – всхлипывала заблудшая душа. – С-с-скоты!

– У него слишком смазливая рожица, – произнес Мартин, покачав головой, – боюсь, что я зря натрудил себе руку. Этого молодого человека не исправишь. Он, несомненно, станет первоклассным журналистом. У него совершенно нет совести! Одно это поможет ему выдвинуться.

После этого молодой человек стремительно вылетел из комнаты, со страхом шмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал размахивать бутылкой.

На следующий день Мартин узнал о себе еще много нового и интересного «Да, мы враги общества, – оказывается, сказал он в беседе с представителем прессы, – но мы не анархисты! Мы – социалисты!» Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Лицо его, как оказалось, было резко асимметрично и носило все признаки вырождения. Особенно характерны были узловатые руки и кровожадно сверкающие глаза.

Мартин прочел также, что почти каждый вечер он

выступает на рабочих митингах в Сити-Холл-парке и из всех анархистов и агитаторов, отравляющих там умы народа, пользуется наибольшим успехом, так как произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно описал его каморку, не забыл упомянуть о керосинке, о единственном стуле и изобразил также в ярких красках его приятеля – бродягу с лицом мертвеца, до такой степени бледным, словно он был только что выпущен на свет после двадцатилетнего тюремного заключения.

Молодой репортер проявил большую расторопность. Он разнюхал биографию Мартина Идена и добыл фотографический снимок лавки мистера Хиггинботама и самого мистера Бернарда Хиггинботама, стоящего у ее дверей. Этот джентльмен был описан как почтенный и здравомыслящий коммерсант, не только не разделяющий социалистических взглядов своего шурина, но даже порвавший с этим шурином всякие сношения. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй, бездельник, который не хотел работать, несмотря на то, что ему не раз делали выгодные предложения, и, без сомнения, должен был рано или поздно угодить в тюрьму. Был проинтервьюирован и Герман фон Шмидт. Он назвал Мартина «уродом в семье» и, как оказалось, тоже не поддерживал с ним связи «Он начал было меня эксплуатировать, –

сказал, между прочим, Герман фон Шмидт, – но я не попался на эту удочку! Я отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного!»

На этот раз Мартин серьезно рассердился. Бриссенден смотрел на все это, как на забавную шутку, но он не мог успокоить Мартина. Мартин знал, что объяснение с Руфью будет нелегким делом, а к тому же ее отец, наверно, постарается воспользоваться всей этой нелепой выдумкой, чтобы расстроить их помолвку. Его мрачные предположения не замедлили подтвердиться. На другой же день почтальон принес письмо от Руфи. Мартин, предчувствуя катастрофу, тут же вскрыл конверт и начал читать, стоя у растворенной двери, на том самом месте, где почтальон вручил ему письмо.

Читая, Мартин машинально шарил рукою в кармане, ища табак и папиросную бумагу, которые прежде всегда носил при себе. Он не сознавал, что карман его давно был пуст, не отдавал себе даже отчета в том, чего он там ищет.

Письмо было написано в спокойном тоне. Никаких следов гнева в нем не было, но все оно от первой до последней строчки дышало обидой и разочарованием. Он не оправдал ее надежд, писала Руфь. Она думала, что он покончил со своими ужасными замашками, что ради любви к ней он, в самом деле, готов за-

жить скромной и благопристойной жизнью. А теперь папа и мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. И она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не может выйти. Это с самого начала было ошибкой. В письме был только один упрек, и он показался Мартину особенно горьким: «Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни! – писала Руфь. – Но это было невозможно Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бранить не за что. Вы действовали согласно своей природе и в соответствии с вашими прежними привычками. Я и не браню вас, Мартин, помните это. Папа и мама оказались правы мы не подходим друг к другу, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно. Не пытайтесь увидеться со мной, – закапчивала она, – это свидание было бы равно тяжело и для нас обоих и для моей мамы. Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений и не скоро удастся мне загладить это!»

Мартин внимательно прочел письмо и несколько раз перечел его. Затем он сел и стал писать ответ. Он изложил ей все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма он заговорил о своей страстной и

неизменной любви. «Ответьте мне непременно, – писал он, – напишите только одно – любите вы меня или нет? Это самое главное».

Но прошел день, другой, ответа не было «Запоздалый» лежал раскрытым все на той же странице, а груда рукописей под столом продолжала расти. Впервые за всю свою жизнь испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но все три раза лакей отказывался впустить его. Бриссенден лежал в постели, и Мартин, часто навещая его, не решался посвящать его в свои горести.

А горестей у Мартина было немало. Последствия гнусной проделки репортера превзошли все его ожидания. Португалец-бакалейщик действительно отказал ему в кредите, а зеленщик-американец объявил Мартина предателем и врагом отечества и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться для уплаты долга. Все соседние жители были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношений с изменником-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она продолжала оставаться лояльной. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда посетившей Мартина, теперь кричали ему издали: «хулиган» и «бродяга». Только детвора

Марии держалась твердо, защищала его, не раз вступала в битвы из-за него, и Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние.

Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, что он и раньше предполагал, – то есть что Бернард Хиггинботам страшно зол на Мартина, считает, что он опозорил всю семью и сделал ее предметом публичного поношения. Он потребовал, чтобы Мартин не смел бывать у них.

– Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин, – просила Гертруда. – Уезжай и поступи на какое-нибудь место. Когда все это уляжется, ты можешь снова вернуться.

Мартин покачал головой и не дал никаких удовлетворительных объяснений. Да и как мог он объяснить? Между ним и его родными зияла огромная бездна. Он уже не мог перескочить через нее! Смешно объяснять Гертруде разницу между ницшеанством и социализмом! Ни в одном языке не было таких слов, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному: найди работу. Это было всегда первое и последнее слово. Этим исчерпывался весь круг их понятий. Найди работу! Поступи на службу! «Бедные, тупые рабы, – думал Мартин, слушая Гертруду. – Не удивительно, что сильные завладели миром!

Рабов погубило их собственное рабское мышление». «Служба» была для них золотым фетишем, который они обожали, перед которым смиренно повергались ниц.

Когда Гертруда предложила ему денег, Мартин снова отрицательно покачал головой, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм.

– К Бернарду ты теперь не ходи, – умоляла его Гертруда. – Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадоблюсь, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду. Слышишь?

Гертруда расплакалась и пошла своей дорогой, а Мартин, глядя на ее тяжелую, усталую походку, почувствовал, как сердце у него сжалось от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства стало вдруг шататься и рушиться. Хорошо было рассуждать о каком-то абстрактном рабстве, но не так-то легко было прилагать теории к своим близким. А между тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным, то лучше Гертруды не найти. Мартин даже рассмеялся над этим парадоксом. Хорош же он, ницшеанец, если поддается сентиментам и при первом же столкновении с действительностью начинает колебаться в своих взглядах; да, в конце концов, раз-

ве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем, разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подвалах и были лишь агонией и предсмертными судорогами слабых и несчастных.

Глава 40

Работа над «Запоздалым» не двигалась. Все разосланные рукописи давно нашли себе под столом место упокоения. Только одна рукопись еще продолжала странствовать. То была «Эфемерида» Бриссендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова отправились в заклад, а за пишущую машинку, по обыкновению, был просрочен платеж. Но все это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был освоиться со своим новым положением, а пока предоставил жизни течь своим чередом.

Через несколько недель случилось то, чего он давно ожидал. Он встретил Руфь на улице. Правда, она шла не одна, а в сопровождении своего брата Нормана; оба к тому же сделали вид, что не узнали Мартина, а когда он хотел подойти, Норман попытался не подпустить его.

– Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, – сказал он, – я полову полицейского, она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость оскорбительна.

– Ну, что ж, – мрачно ответил Мартин, – зовите полицейского. По крайней мере тогда ваше имя попадет в газеты. А теперь посторонитесь-ка немножко. Я дол-

жен поговорить с Руфью.

– Я хочу слышать это из ваших уст, – сказал он ей. Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно.

– Ответьте мне на вопрос, который я задал вам в письме, – произнес он.

Норман сделал было нетерпеливое движение, но Мартин взглядом смирил его. Руфь покачала головой.

– Вы действовали по доброй воле? – снова спросил он.

– Да, – проговорила она тихо, но твердо, – действовала по доброй воле. Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам оказать. Вы сделали меня несчастной, и я больше не хочу вас видеть.

– Знакомые! Сплетни! Газетное вранье! Такие вещи не могут оказаться сильнее любви! Значит, вы просто меня никогда не любили!

Бледное лицо Руфи внезапно вспыхнуло.

– После всего того, что произошло? – произнесла она. – Мартин, вы сами не сознаете, что говорите! За кого вы меня принимаете?

– Вы видите, она не хочет с вами разговаривать! – воскликнул Норман, взяв сестру под руку и уводя ее.

Мартин поглядел им вслед и опять машинально по-

лез за папиросной бумагой и табаком, которого у него не было.

До Северного Окленда путь был не близок; но только придя к себе в комнату, Мартин донял, что прошел этот путь. Опомнившись, он увидел, что сидит на своей кровати, и огляделся растерянно, как проснувшийся лунатик. Увидав на столе «Запоздалого», Мартин придвинул стул и взялся за перо. Его натуре свойственно было стремление к завершенности. А тут перед ним была неоконченная работа. Он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь это другое дело было кончено, и надо было опять вернуться к «Запоздалому». Что будет он делать потом – Мартин не знал. Он знал только: в жизни его наступил перелом. Он закончил абзац, и оставалось закруглить фразу, прежде чем поставить точку. Будущее не интересовало его. В свое время он узнает, что ждет его в этом будущем. Ничто уже не интересовало его. Все было безразлично!

Пять дней Мартин работал над «Запоздалым», никуда не ходил, никого не видел и почти ничего не ел. На шестой день утром почтальон принес ему письмо от издателя «Парфенона». Вскрыв конверт, он сразу увидел, что «Эфемерида» принята.

«Мы дали поэму для прочтения мистеру Картрайту Брюсу, – писал издатель, – и он так благоприятно

отозвался о ней, что мы сочтем за удовольствие напечатать ее в нашем журнале. Если мы откладываем печатание поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский уже набран. Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение. Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар покажется недостаточным, благоволите телеграфировать, какие условия вы сочли бы приемлемыми».

Так как предложенный гонорар составлял триста пятьдесят долларов, то Мартин решил, что телеграфировать не стоит. Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов Мартин оказался прав. Нашелся редактор, который понимал кое-что в истинной поэзии. И гонорар был блестящий, даже для «поэмы века». Кроме того, Мартин знал, что Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным из всех критиков, заслуживающим уважения.

Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и перекрестки, с грустью думал о том, что его уже не волнует ни успех друга, ни собственная победа. Лучший критик в Соединенных Штатах оценил поэму по достоинству, и, следовательно, Мартин не ошибался, утверждая, что настоящее произведение искусства может пробить себе дорогу в

печать. Но в Мартине не было уже прежнего энтузиазма, и он отлично сознавал, что ему больше хочется просто повидать Бриссендена, чем сообщить ему эту радостную новость. Только теперь Мартину пришло в голову, что за все пять дней, проведенных в работе над «Запоздалым», он ни разу не вспомнил о Бриссендене и не имел от него никаких известий. Впервые Мартин понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения, и ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло. Никакие эмоции не волновали его, кроме творческих, которые он испытывал над рукописью «Запоздалого». Все остальное было ему безразлично.

Он находился словно в каком-то трансе. Оживленные улицы, по которым проходил трамвай, казались ему далекими и призрачными, и он не очень бы удивился, если бы церковная колокольня вдруг рассыпалась у него на глазах.

Войдя в гостиницу, он направился прямо в комнату Бриссендена и остановился пораженный. Комната была пуста Все вещи из нее были вынесены.

– Разве мистер Бриссенден уехал? – спросил Мартин у швейцара. – Он не оставил своего адреса?

– Да разве вы ничего не слыхали? – спросил тот в свою очередь.

Мартин отрицательно покачал головой.

– Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в кровати. Самоубийство! Выстрелил себе в голову!

– Его уже похоронили?

Мартину показалось, что чей-то чужой, незнакомый голос задал этот вопрос.

– Нет. После следствия тело было отправлено на восток. Адвокаты, приглашенные его родными, уладили все это дело.

– А почему они так спешили? – проговорил Мартин.

– Как спешили? Да ведь это произошло пять дней тому назад!

– Пять дней тому назад?

– Да, пять дней.

– А! – сказал только Мартин и вышел из гостиницы.

По дороге он зашел на телеграф и известил издателя «Парфенона», что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, потому что в кармане у него оставалось всего пять центов на обратный проезд.

Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, а он все сидел за столом и писал. Он ходил только в ломбард, равнодушно ел, если было что состряпать, и так же равнодушно обходился без еды, когда выходили все припасы. Хотя вся повесть была заранее обдумана им во всех подробностях, он вдруг решил по-иному построить экспози-

цию, что удлинило ее еще на двадцать тысяч слов. Не было никакой необходимости так тщательно отделывать эту повесть, но иначе он работать уже не мог. Он писал словно в оцепенении, перестав ощущать весь окружающий мир, он обращался к творческим навыкам своей прошлой жизни, подобно тому как привидение бродит среди знакомых мест. Ему вспомнилось, что кто-то где-то сказал, что привидение – это дух человека, который умер, но сам не сознает этого. И вот на какое-то мгновение Мартин задумался: уж не происходит ли и с ним нечто подобное?

Наконец пришел день, когда «Запоздалый» был закончен. Агент магазина пишущих машинок пришел к Мартину и, сидя на кровати, дожидался, когда он кончит писать. «Конец», выстукал на машинке Мартин, и для него это был, в самом деле, конец. С чувством некоторого облегчения он увидел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослабел от голода. Он не ел уже тридцать шесть часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал неподвижно на кровати, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал стихотворение неизвестного автора, которое часто читал ему Бриссенден. Мария, стоя за дверью, с тревогой прислушивалась к его монотонному бормотанью. Самые слова не имели для нее никакого

смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой.

Лира, прочь!
Я песню спел!
Тихо песни отзвучали.
Словно призраки печали,
Утонули в светлой дали!
Лира, прочь!
Я песню спел!

Я когда-то пел под кленом,
Пел в лесу темно-зеленом,
Я был счастлив, юн и смел,
А теперь я петь не в силе,
Слезы горло мне сдавили.
Молча я бреду к могиле!
Лира, прочь! Я песню спел!..

Мария не могла больше выдержать; она бросилась к печке, схватила миску супа, накрошила туда мяса и овощей и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что он совершенно здоров.

Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел так, сгорбившись и бессмысленно глядя в одну точку. Внезапно ему попался на глаза номер журнала, присланный с утренней почтой! Это «Парфенон», подумал он, августовский «Парфенон», и в нем должна

быть напечатана «Эфемерида». Ах, если бы Бриссенден был жив!

Он перелистал страницы журнала и вдруг остолбенел. «Эфемерида» была украшена пышным заголовком и виньетками на полях в стиле Бердсли; с одной стороны заголовка находился портрет Бриссендена, а с другой – сэра Джона Вэлью, британского посланника. В предисловии от редакции говорилось, что сэр Джон Вэлью недавно сказал, будто в Америке нет поэтов, и, печатая «Эфемериду», «Парфенон» как бы отвечает ему: «Нате-ка, получите, сэр Джон Вэлью!» Был изображен и Картрайт Брюс, как величайший американский критик, и приводились его слова: «Ничего подобного „Эфемериде“ еще не было у нас написано». Заканчивалось предисловие так:

«Мы еще не можем оценить все красоты „Эфемериды“; быть может, нам никогда не удастся вполне оценить их. Но, читая и перечитывая поэму, мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Бриссендена и не раз спрашивали себя, как и откуда мог мистер Бриссенден почерпнуть такой запас слов и так искусно скомпоновать их».

За этим следовала самая поэма.

«Хорошо, что ты умер, бедный Брис!» – подумал Мартин, уронив журнал на пол.

Все это было пошло и мерзко до тошноты, но на-

стоящего омерзения Мартин не почувствовал. Ему бы хотелось рассердиться, но на это не хватало энергии. Он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не хотела больше ни бурлить, ни возмущаться. В конце концов, что тут особенного? Все это вполне соответствует обычаям буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссенден.

– Бедный Брис! – пробормотал Мартин. – Он никогда бы не простил мне этого!

С усилием поднявшись, Мартин выдвинул ящик, где прежде лежала у него бумага для машинки. Порывшись в нем, он извлек одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их одно за другим и бросил в корзинку. Покончив с этим, он опять сел на кровать и устремил грустный взор в пространство.

Сколько времени просидел он так, он сам не знал; наконец из туманного пространства возникла перед ним яркая длинная белая полоса. Это было очень странно. Но, вглядевшись, Мартин увидел, что это линия прибоя у одного из коралловых рифов Тихого океана. Мгновение спустя Мартин разглядел в белой пене челнок, маленький, утлый челнок. Молодой бронзовый бог, опоясанный пурпурной тканью, сидел на корме, погружая в волны сверкающие весла. Мартин узнал его. Это был Моти, младший сын Тами – во-

ждя туземцев, – стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом лежала чудесная страна Папара, где возле самого устья реки была тростниковая хижина вождя.

Наступал вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, которая перенесла бы его через риф. Мартин увидел и самого себя сидящим в челноке, как он сидел не раз, ожидая сигнала Моти, чтобы бешено заработать веслами, как только встанет над ними бирюзовая громада волны. В следующий миг он уже не был зрителем; он на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб под дикие возгласы Моти. Они пронеслись вперед, среди грохота и шипения, обдаваемые брызгами, и вдруг очутились в тихой, неподвижной лагуне. Моти, смеясь, вытирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм стояла хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца.

Но видение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина снова возник беспорядок его тесной каморки.

Напрасно силился он снова увидать Таити. Он знал, что теперь в пальмовой роще раздаются песни, а девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не мог увидеть, кроме стола, заваленного бумагами, и

тусклого, давно не мытого окна. Он со стоном закрыл глаза и погрузился в тяжелый сон.

Глава 41

Мартин всю ночь проспал тяжелым сном, а утром его разбудил стук почтальона. Мартин равнодушно вскрыл конверты. В одном из них находился чек на двадцать два доллара, присланный одним из «пиратских» журналов. Этих денег он добивался почти полтора года. Но теперь он отнесся к получению их совершенно равнодушно. Он уже не испытывал былого восторга при получении издательских чеков. Прежде эти чеки казались ему залогом будущих великих успехов, а теперь перед ним лежали просто двадцать два доллара, на которые можно было купить чего-нибудь поесть. Вот и все.

Другой чек был от одного нью-йоркского журнала – гонорар за юмористические стишки, принятые уже давно. Чек был на десять долларов. Мартину пришла в голову одна мысль, которую он хладнокровно обдумал. Он не знал, что будет делать дальше, и не видел никакой необходимости вообще что-нибудь делать. А между тем надо было жить, надо было платить долги. Не будет ли выгоднее всего истратить эти десять долларов на марки и вновь отправить путешествовать всю валявшуюся под столом груду рукописей? Может быть, одну или две где-нибудь примут. А это даст ему

возможность жить. Мартин так и сделал. Разменяв чеки в оклендском банке, он купил марок. Но мысль вернуться в свою каморку и приняться за стряпню показалась ему невыносимой. В первый раз он решил пренебречь долгами. Он отлично знал, что дома можно приготовить скромный обед за пятнадцать-двадцать центов. Но вместо этого отправился в кафе «Форум» и заказал обед, обошедшийся в два доллара. Он дал пятьдесят центов на чай и столько же истратил на египетские папиросы. Он не курил с тех пор, как Руфь это запретила. Но теперь у него не было никаких причин отказывать себе в удовольствии, а курить очень хотелось. И стоит ли беречь деньги? Конечно, за пять центов он мог купить табаку и бумаги на сорок самокруток, но какой в этом смысл? Деньги не имели для него уже никакого значения, кроме того, что на них сейчас, сегодня, можно было что-то купить! Из рук его выскользнул руль, маршрутной карты у него не было, и он не стремился ни в какую гавань. Плывя по течению, он меньше ощущал жизнь, а ощущение жизни причиняло боль.

Дни проходили за днями, тянулись однообразной вереницей, каждую ночь он теперь спал по восемь часов. Хотя в ожидании новых чеков он кормился в японских ресторанчиках, где обед стоил десять центов, – он даже пополнел. Щеки его округлились, потому что

он уже не изнурял себя недосыпанием и напряженной работой. Он ничего не писал, а книги мирно отдыхали на полке. Он часто уходил за город на холмы, целые часы проводил в парке. У него не было ни друзей, ни знакомых, да и не хотелось их заводить. К чему? Мартин ожидал, сам не зная откуда, какого-нибудь нового импульса, который вновь подтолкнул бы его остановившуюся жизнь. А пока его существование оставалось томительным, однообразным, пустым и лишенным всякого смысла.

Однажды он съездил в Сан-Франциско, чтобы повидаться с «настоящими людьми». Но, дойдя до порога, он круто повернулся и быстро пошел назад по темным трущобам гетто. Мысль, что он сейчас услышит философские споры, так испугала его, что он почти бежал, боясь, как бы не повстречался ему кто-нибудь из «настоящих людей» и не признал его.

Иногда он просматривал журналы и газеты, чтобы посмотреть, что пишут об «Эфемериде». Поэма наделала шуму. Но какого шуму! Все прочли, и все спросили о том, поэзия это или нет. Местные газеты были полны ученых статей, иронических заметок, писем читателей – все по поводу этой поэмы. Элен Делла Дельмар (которая под звуки труб и бой барабанов была провозглашена величайшей поэтессой Соединенных Штатов) не пожелала освободить для Бриссен-

дена место рядом с собой на Пегасе и писала многословные письма к читающей публике, доказывая, что он вовсе не поэт.

«Парфенон» в ближайшем же номере самодовольно пожинал плоды поднятого им шума, издевался над сэром Вэлью и бессовестно использовал смерть Бриссендена в целях рекламы. Одна газета, имевшая будто бы больше полумиллиона подписчиков, напечатала поэму Элен Дельмар, где высмеивался Бриссенден. Не успокоившись на этом, поэтесса написала еще и пародию на «Эфемериду».

Мартин не раз радовался, что друг его не дожил до всего этого. Он так ненавидел толпу, а теперь этой толпе было брошено на поругание самое для него святое и сокровенное. Сотворенная им красота ежедневно подвергалась вивисекции. Каждый ничтожный журналишка радовался случаю лишний раз покрасоваться перед публикой в лучах величия Бриссендена. Одна газета писала: «Как пишет один джентльмен, он сочинил совершенно такую же поэму, даже еще лучшую, уже несколько лет тому назад». Другая газета в припадке серьезности упрекала Элен Дельмар за ее пародию. «Мисс Дельмар, написав эту пародию, очевидно, забыла о том, что один великий поэт должен всегда уважать другого, быть может, еще более великого. Возможно, что госпожа Делла Дельмар просто

завидует автору „Эфемериды“, но настанет день, когда она, как и все, поймет всю красоту этого произведения и даже, быть может, попробует написать нечто подобное».

Проповедники избрали «Эфемериду» темой для своих проповедей, и один из них, пытавшийся защищать ее, был обвинен в ереси. Великая поэма послужила к увеселению почтеннейшей публики. Поставщики комических стишков и карикатуристы наперебой старались рассмешить читателей, фельетонисты тоже упражняли свое остроумие, рассказывая, как Чарли Френшэм конфиденциально сообщил Арчи Дженнингсу, что пять строк из «Эфемериды» могут побудить человека вздуть калеку, а десять – броситься в реку вниз головою.

Мартин не смеялся, но и не скрежетал зубами от ярости. Ему было лишь невыносимо грустно. После того как весь его мир, созданный любовью, внезапно рухнул, кривлянья прессы и почтеннейшей публики уже не могли уязвить его. Бриссенден был вполне прав в своей оценке журналов, но Мартину понадобились годы, чтобы окончательно убедиться в его правоте. Журналы не только оправдали ожидания Бриссендена, они их превзошли. Ну что ж, это конец, мрачно утешал себя Мартин. Он запряг в свой возок звезду, а она вывалила его в зловонное болото.

И опять перед ним возникли прекрасные, ясные и чистые видения далекого Таити! Вот равнинный Паумотус, вот гористые Маркизовы острова. Ему часто казалось, что он стоит на палубе торговой шхуны или на маленьком, хрупком катере, плывущем мимо рифов Папете или вдоль жемчужных отмелей Нука-Хивы к бухте Тайохэ, где, он знал, Тамари заколет свинью в честь его прибытия, а дочери Тамари окружат его со смехом и песнями и украсят цветочными гирляндами. Тихий океан настойчиво звал его, и Мартин знал, что рано или поздно он откликнется на этот зов. А пока он продолжал плыть по течению, отдыхая после своего долгого утомительного путешествия по великому царству знания.

Получив от «Парфенона» чек на триста пятьдесят долларов, Мартин передал его под расписку душеприказчику Бриссендена, и сам, в свою очередь, дал ему расписку о том, что должен Бриссендену сто долларов.

Однако время японских ресторанчиков уже кончалось для Мартина. Как раз в тот миг, когда он прекратил борьбу, колесо фортуны повернулось. Но оно повернулось слишком поздно. Без всякого волнения вскрыв конверт «Миллениума», Мартин вынул из него чек на триста долларов. Это был гонорар за «Приключение». Все долги Мартина, включая и уплату ростов-

щику со всеми процентами, не достигали и ста долларов. Уплатив их, и переслав сто долларов душеприказчику Бриссендена, Мартин оказался обладателем огромной для него суммы в сто долларов. Он заказал себе хороший костюм и начал обедать в лучших кафе города. Жить он продолжал все в той же маленькой комнатке у Марии, но его новый костюм произвел на всех соседей столь сильное впечатление, что мальчишки уже не решались называть его ни бродягой, ни хулиганом, а с почтением наблюдали за ним, сидя на крышах и заборах.

«Вики-Вики», его гавайский рассказ, был куплен «Ежемесячником Уоррена» за двести пятьдесят долларов. «Северное обозрение» напечатало «Колыбель красоты», а еще один журнал принял «Гадалку» – стихотворение, написанное им в честь Мэриен. Издатели и читатели вернулись после летних каникул, и рукописи оборачивались необыкновенно быстро. Мартин никак не мог понять, почему все то, что так упорно отвергалось в продолжение двух лет, теперь принималось почти огульно. Ни одна из его вещей еще не успела увидеть света. Он по-прежнему никому не был известен за пределами Окленда, а тем немногим жителям Окленда, которые воображали, что знают его, он был известен как ярый социалист из «красных». Ничем нельзя было объяснить такую внезапную

перемену. Это была просто игра судьбы.

После того как несколько журналов подряд отвергли «Позор солнца», Мартин, памятуя совет своего умершего друга, решил предложить его какому-нибудь книгоиздательству. После нескольких неудач рукопись была, наконец, принята к изданию одной из крупнейших фирм – Синглтри, Дарнлей и Ко. В ответ на просьбу Мартина об авансе издатель написал ему, что это у них не принято, что подобного рода книги обычно не окупаются и вряд ли удастся продать более тысячи экземпляров. Мартин вычислил, что если книга будет продаваться по доллару, то он получит, таким образом, считая из пятнадцати процентов, сто пятьдесят долларов. После этого он решил писать в будущем только беллетристику. «Приключение» было в четыре раза короче «Позора солнца», а принесло ему вдвое больше. В конце концов вычитанные им когда-то из газет сведения о писательских гонорарах оказались верными. Первоклассные журналы действительно платили по принятии рукописи, и платили очень хорошо. «Миллениум» заплатил ему даже не по два, а по четыре цента за слово. А кроме того, они, очевидно, покупали и хорошие вещи, – ведь купили же они его произведения. При этой мысли Мартин печально усмехнулся. Он написал Синглтри, Дарнлею и Ко, что согласен продать им «Позор

солнца» в полную собственность за сто долларов, но издательство не пожелало рискнуть. Впрочем, Мартин не нуждался в деньгах, так как почти все его последние рассказы, пространствовав некоторое время, были приняты и оплачены. Мартин даже открыл в банке текущий счет в несколько сот долларов. «Запоздалый» после недолгого путешествия обрел пристанище в издательстве Мередит-Лоуэл. Вспомнив о своем обещании возвратить Гертруде пять долларов сторицей, Мартин написал в издательство письмо с просьбой выслать аванс в размере пятисот долларов. К его удивлению, чек на эту сумму был немедленно выслан. Мартин разменял его на золото и позвонил Гертруде, что хотел бы повидать ее.

Гертруда пришла запыхавшись, так как очень торопилась. Предчувствуя недоброе, она положила в сумочку весь свой скудным наличный капитал; она была настолько уверена, что с Мартином стряслась беда, что сразу же расплакалась, обняв его, и стала совать ему в руку принесенные деньги.

– Я бы пришел к тебе, – сказал Мартин, – но я не хотел ругаться с мистером Хиггинботамом! А это бы, наверное, случилось!

– Ничего, он скоро успокоится, – уверяла его сестра, стараясь угадать, что именно случилось с Мартином, – но только ты поскорей поступай на службу. Бер-

нард любит, чтобы люди занимались честным трудом. Эта статья в газете его совсем взбесила. Я никогда не видела его в таком остервенении.

– Я не хочу поступать на службу, – с улыбкой сказал ей Мартин, – можешь ему это передать от моего имени. Мне никакая служба не нужна. Вот тебе доказательство.

И он высыпал ей на колени сто сверкающих и звенящих золотых пятидолларовых монет.

– Помнишь, ты мне дала пять долларов, когда у меня не было на трамвай? Вот тебе эти пять долларов и еще девяносто девять братьев, разного возраста, но одинакового достоинства.

Если Гертруда шла к Мартину в тревоге, то теперь ею овладел панический ужас. Этот ужас не оставлял места сомнениям. Она не подозревала, она была уверена. В страхе она смотрела на Мартина, дрожа всем телом, боясь прикоснуться к этим золотым кружочкам, словно они жгли ее адским огнем.

– Это все твое! – сказал Мартин со смехом. Гертруда разразилась громкими рыданиями.

– Бедный мальчик! Бедный мальчик! – запричитала она.

В первый момент Мартин опешил. Но тут же он угадал причину волнения сестры и показал ей письмо книгоиздательства. Гертруда с трудом прочла его, вы-

терла глаза и, наконец, неуверенно спросила:

– Значит, ты получил эти деньги честным путем?

– Еще бы! Я даже не выиграл их, а заработал. – Надежда затеплилась в ее глазах, и она внимательно перечла письмо. Мартин не без труда объяснил ей, за что он получил такую большую сумму денег. Еще труднее было объяснить, что деньги эти принадлежат ей, что он в них не нуждается.

– Я положу их в банк на твое имя, – решила Гертруда.

– Нет! Если ты не возьмешь их, я отдам их Марии. Она сумеет их использовать. Я требую, чтобы ты наняла служанку и отдохнула как следует.

– Я все же расскажу Бернарду, – сказала Гертруда уходя.

Мартин слегка нахмурился.

– Ну что ж, – проговорил он, наконец, – может быть, теперь, он меня пригласит обедать.

– Конечно, пригласит! То есть я просто уверена в этом! – с жаром воскликнула сестра и, крепко обняв его, поцеловала.

Глава 42

Наступил день, когда Мартин почувствовал себя очень одиноким. Он был здоров и силен, а делать ему было решительно нечего. Перестав учиться и писать, потеряв Бриссендена, утратив любовь Руфи, он ощущал необычайную пустоту в своей жизни. Напрасно пытался он заполнить эту пустоту ресторанами и египетскими папиросами. Его, правда, неодолимо влек Великий океан, но ему все казалось, что игра в Соединенных Штатах не совсем еще закончена. Скоро будут напечатаны две его книги, может быть и другие найдут себе издателей. А это означало – деньги; стоило подождать, чтобы отправиться в южные моря с мешком золота. Он знал на Маркизовых островах одну прелестную долину, которую можно было купить за тысячу чилийских долларов. Долина тянулась от подковообразного заливчика до высоких гор, вершинами уткнувшихся в облака. Она была вся покрыта тропическими зарослями, в которых водились куропатки и кабаны, а на горах паслись стада диких коз, преследуемые стаями диких собак. Местность была дикая. Ни одна человеческая душа не жила там. И все – долину вместе с заливом – можно было купить за тысячу чилийских долларов.

Залив, насколько он помнил, был необычайно красив и глубоководен, в нем могли стоять большие океанские суда, и Тихоокеанский маршрутный справочник рекомендовал его как лучшую гавань в той части океана. Мартин купит шхуну, быстроходное суденышко типа яхты, и будет заниматься торговлей и ловлей жемчуга. В долине будет его база. Там он построит себе первобытную тростниковую хижину, вроде той, в которой жил вождь Тами, и наймет к себе на службу черных туземцев. Он будет принимать у себя факторов из Тайохэ, капитанов торговых судов, контрабандистов и благородных морских бродяг. Он будет жить открыто и по-королевски принимать гостей. И, быть может, там он забудет читанные когда-то книги и мир, который оказался сплошной иллюзией.

Но для этого ему нужно было сидеть в Калифорнии и ждать, пока мешок наполнится золотом. Деньги уже начали стекаться к нему. Если хотя бы одна книга пойдет, то он легко продаст все свои рукописи. Можно составить сборники из мелких рассказов и стихов, чтобы скорей стали доступными и долина, и залив, и шхуна. Писать он уже больше никогда не будет. Это он решил твердо и бесповоротно. Но пока книги печатаются, надо что-нибудь предпринять. Нельзя жить в таком оцепенении и равнодушии ко всему миру.

Узнав однажды, что в воскресенье должно состо-

яться в Шелл-Моунд-парке гулянье каменщиков, он отправился туда. В былые годы он часто бывал на подобных гуляньях, отлично знал, что они собой представляют, и теперь, войдя в парк, почувствовал, как давно забытые ощущения проснулись в нем. В конце концов эти рабочие были людьми его круга. Он родился и вырос среди них и был рад после долгого перерыва снова увидеться с ними.

– Да ведь это Март! – услыхал он вдруг. В следующий миг чья-то рука дружески легла ему на плечо. – Где тебя носило, старина? Плавал ты, что ли? Ну, садись, разопьем бутылочку!

Это была все та же старая компания, только кое-где мелькали новые лица да кое-кого из прежних не хватало. Далеко не все были каменщиками, но всякому хотелось побывать на воскресном гулянье, вдоволь потанцевать, погалдеть и померяться силами. Мартин выпил с ними и сразу ожил. «Как глупо, – подумал он, – что я вдруг отстал от них!» Он тут же твердо уверовал в то, что был бы гораздо счастливее, если б не уходил из своей среды, не гнался бы за книжными знаниями и обществом людей, стоявших выше него. Однако пиво было не так вкусно, как в былые годы! Вкус был совсем не тот. Бриссенден, очевидно, отучил его от простого пива; может быть, книги отучили его от дружбы с веселыми товарищами его юно-

сти? Решив доказать самому себе, что не так уж он от всего отстал, он отправился танцевать в павильон. Тут он наткнулся на жильца своей сестры, Джимми, приведшего с собой какую-то высокую блондинку, которая не замедлила оказать предпочтение Мартину.

– Вот и всегда с ним так! – сказал Джим поддразнивавшим его приятелям, глядя, как Мартин и блондинка завертелись в вальсе. – Я даже и не сержусь. Уж очень рад опять его повидать! Ну и ловко же он танцует, черт его побери! Кто же осудит девчонку!

Но Мартин честно возвратил блондинку Джимми, они весело чокнулись втроем и вместе с полдюжиной друзей продолжали хохотать и веселиться. Все были рады возвращению Мартина. Еще ни одна его книга не вышла в свет, и, стало быть, он еще не имел в их глазах никакой ложной ценности. Они любили его ради него самого. Он чувствовал себя, как принц, вернувшийся из изгнания, и его одинокое сердце отогревалось среди этого искреннего и непосредственного веселья. Мартин был в ударе. К тому же у него в карманах звенели доллары, и он тратил их щедрой рукой – совсем как в прежние времена, вернувшись из плавания.

Вдруг среди танцующих Мартин увидел Лиззи Конолли; она кружилась в объятьях какого-то рабочего парня. Несколько позже Мартин, бродя по павильону,

увидел, что она села за стол, где пили прохладительные напитки, и подошел к ней. Лиззи Конолли очень удивилась и обрадовалась встрече и охотно пошла с ним в парк, где можно было говорить, не стараясь перекричать музыку. С первых же слов стало ясно, что она принадлежит ему, и Мартин понял это. Об этом можно было судить и по влажному блеску ее глаз, и по движениям ее гибкого тела, и по тому, как жадно ловила она каждое его слово. Это уже не была теперь молоденькая девчонка, которую он когда-то повстречал в театре. Лиззи Конолли стала женщиной, и Мартин сразу отметил, как расцвела ее живая, задорная красота; живость была все та же, но задор она, видимо, научилась умерять.

– Красавица, настоящая красавица, – прошептал Мартин с невольным восхищением. И он знал, что стоит ему только сказать: «Пойдем», – и она пойдет с ним хоть на край света.

В этот самый миг он получил вдруг такой удар по голове, что еле-еле устоял на месте. Удар был нанесен кулаком, и человек, нанесший его, целил, должно быть, в челюсть, но в спешке и ярости промахнулся. Мартин повернулся в то мгновение, когда нападавший готов был ударить снова. Он ловко уклонился, удар не попал в цель, и Мартин контрударом сшиб с ног своего противника. Но тот сейчас же вскочил, вне

себя от бешенства; Мартин смотрел в его молодое, искаженное яростью лицо, удивляясь, чем он мог так рассердить его. Однако удивление не помешало ему снова отразить атаку и сильным ударом свалить нападавшего на землю. Джим и другие приятели окружили их и разняли.

Мартин весь дрожал. Вот они, былые счастливые дни: танцы, веселье, драки! Не теряя из виду своего неожиданного противника, он кинул быстрый взгляд на Лиззи Конолли. Обычно девушки визжали, когда происходили подобные схватки, но она не завизжала. Она смотрела, затаив дыхание, наклонившись вперед всем телом, прижав руку к груди, щеки ее горели, и в глазах светилось восхищение.

Человек, напавший на Мартина, между тем вскочил на ноги и старался вырваться из рук удерживавших его рабочих.

– Она хотела идти со мной! – кричал он гневно. – Она хотела идти со мной, а этот нахал увел ее! Пустите! Я покажу ему, где раки зимуют!

– Да ты спятил! – говорил Джимми, удерживая юношу. – Ведь это же Мартин Иден! Ты лучше с ним не связывайся. Он тебе всыплет.

– А зачем он увел ее? – кричал тот.

– Он побил Летучего Голландца, а ты помнишь, что это был за парень! И он побил его на пятом раунде!

Ты и минуты не выстоишь против него. Понял?

Это сообщение, по-видимому, немного утихомирило парня, так как он смерил Мартина внимательным взглядом и произнес уже менее пылко:

– Что-то не похоже.

– То же самое думал и Летучий Голландец, – уверял его Джимми – Пойдем! Брось это дело! Что, других девчонок здесь нет, что ли?

Тот, наконец, послушался, и вся компания двинулась по направлению к павильону.

– Кто это? – спросил Мартин у Лиззи. – И в чем тут вообще дело?

Он с грустью чувствовал, что даже борьба уже не возбуждает его так, как раньше. Привыкнув к самоанализу, он уже не мог мыслить и чувствовать, как первобытный человек.

Лиззи тряхнула головой.

– Да так, один парень, – сказала она, – я с ним гуляла последнее время.

Помолчав немного, она прибавила:

– Просто мне скучно было… но я никогда не забывала вас. – Она понизила голос и устремила взгляд в пространство. – Я бы бросила его ради вас!..

Мартин внимательно поглядел на нее, зная, что теперь, по всем правилам, следовало бы взять и пожать ее руку, но, слушая ее простые слова, он задумался

над вопросом, нужно ли придавать большое значение изысканной книжной речи, и… забыл ей ответить.

– Вы здорово отделали его, – сказала она со смехом.

– Он парень крепкий, – великодушно возразил Мартин. – Если бы его не уволокли, мне бы, пожалуй, пришлось с ним повозиться.

– Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила однажды? – спросила Лиззи.

– Так, одна знакомая, – ответил он.

– Давно это было, – задумчиво произнесла девушка, – как будто тысячу лет тому назад!

Мартин ничего не ответил и переменил тему разговора. Они пошли в ресторан, заказали вина и дорогих закусок, потом Мартин танцевал с ней, только с ней, до тех пор, пока она, наконец, не устала. Мартин был прекрасный танцор, и девушка кружилась с ним, не чуя под собой ног от блаженства; она склонила голову к ному на плечо и, вероятно, хотела бы, чтобы так продолжалось вечно. Потом они пошли снова в парк, где, по старому доброму обычаю, она села на траву, а Мартин лег и положил голову ей на колени. Он скоро задремал, а она нежно поглаживала его волосы, глядя на него с нескрываемою любовью.

Мартин вдруг открыл глаза и прочел в ее взгляде нежное признание. Она было потупилась, но тотчас

оправилась и посмотрела на него решительно и смело.

– Я ждала все эти годы, – сказала она чуть слышно.

Мартин почувствовал, что это было так на самом деле, хотя могло показаться невероятным. Великое искушение овладело им; в его власти было сделать ее счастливой. Если самому ему не суждено счастье, почему бы не осчастливить эту девушку? Он мог бы жениться на ней и увезти ее с собой на Маркизовы острова. Ему очень хотелось поддаться искушению, но какой-то внутренний голос приказывал не делать этого. Наперекор самому себе, он оставался верен своей любви. Былые дни вольностей и легкомыслия прошли. Вернуть их было невозможно. Он изменился, и только сейчас понял, насколько он изменился.

– Я не гожусь в мужья, Лиззи, – сказал он улыбаясь.

Ее рука на мгновение остановилась, но потом снова стала нежно перебирать его волосы. Мартин заметил, что ее лицо вдруг приняло суровое, решительное выражение, которое, впрочем, быстро исчезло, и опять щеки ее нежно зарумянились, а глаза смотрели мягко и ласково.

– Я не то хотела сказать, – проговорила она, – во всяком случае, это мало меня заботит. Да, – повторила она после маленькой паузы, – это меня мало заботит. Я горжусь вашей дружбой. Я все готова для вас

сделать. Такая уж я есть, наверно!

Мартин сел. Он взял ее руку и тепло пожал ее, но в его пожатии не было страсти, – от этого тепла на Лиззи повеяло холодом.

– Не будем говорить об этом, – сказала она.

– Вы хорошая, благородная девушка, – произнес Мартин, – это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да, да! Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире, и я буду с вами так же честен, как и вы были со мной.

– Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете швырнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы, – сказала она, гордо вскинув голову, – недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться!

– Вот потому-то я и должен быть честен с вами, – ласково сказал он. – Вы такая славная и благородная, что и я должен поступить с вами благородно. Я не могу жениться и не могу… ну да, и я не могу любить, не женившись, хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь, Лиззи! Я даже рассказать не могу, до чего вы мне нравитесь. Больше того, я восхищаюсь и преклоняюсь перед вами. Вы замечательная, поистине замечательная девушка! Но что пользы говорить

вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжелая. Позвольте мне облегчить ее! – Радостный блеск вспыхнул в ее глазах и тотчас же угас. – Я скоро получу очень много денег! Очень много!

И в этот миг он забыл и о долине, и о бухте, и о тростниковой хижине, и о белой яхте. В конце концов к чему все это? Ведь он отлично может отправиться в плавание на любом судне и куда ему вздумается.

– Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию. Можете стать стенографисткой. Я буду помогать вам. Или, может быть, ваши родители еще живы? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, что вы хотите, и я все для вас сделаю.

Лиззи сидела неподвижно, глядя перед собой сухими глазами, и ничего не отвечала. Мартин вдруг ясно понял все, что она чувствовала в эту минуту, и сердце его болезненно сжалось. Ему не следовало этого говорить. То, что он предлагал ей, было так ничтожно в сравнении с тем, что она готова была отдать ему. Деньги – взамен любви! Он предлагал ей то, что у него было лишним, без чего он мог обойтись, – а она отдавала ему всю себя, не боясь ни позора, ни греха, ни вечных мук.

– Не будем говорить об этом, – сказала она и вдруг

кашлянула, словно у нее перехватило горло. – Пора идти! Я устала!

Гулянье кончилось, и почти вся публика уже разошлась. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-за деревьев, то они увидели поджидавшую их компанию. Мартин сразу понял, в чем дело. Готовилась потасовка. Это были их телохранители. Они проводили их до решетки парка. Навстречу им двигалась другая компания – приятели того парня, у которого Мартин «отбил» девушку. Несколько полицейских, предвидя беспорядок, приблизились, чтобы предотвратить столкновение, и проводили обе компании до поезда, идущего в Сан-Франциско Мартин предупредил Джимми, что вылезет на остановке Шестнадцатой улицы и сядет в оклендский трамвай. Лиззи относилась безучастно ко всему происходящему.

Поезд остановился у Шестнадцатой улицы. Кондуктор трамвая, дожидавшегося на остановке, нетерпеливо бил в гонг.

– Ну, бери её и давай ходу! – крикнул Джимми. – Живо! Катись! А мы их тут задержим.

Враждебная партия была в первую минуту смущена этим маневром, но, тотчас выскочив из вагона, кинулась преследовать убегавших.

Пассажиры, сидевшие уже в трамвае, увидели молодого человека и девушку, которые быстро побежа-

ли к трамваю и заняли два свободных места впереди. Никто не подозревал, что эта парочка имела какое-то отношение к Джимми, который, вскочив на ступеньку, закричал вагоновожатому;

– Жарь вовсю, приятель, никого не пускай!

В следующий момент Джимми уже соскочил на землю и начал отбиваться кулаками от людей, пытавшихся вскочить в трамвай. Кулаки заработали вдоль всего трамвая: товарищи Джимми заняли длинную ступеньку открытого вагона и геройски отбивали атаку. Трамвай тронулся под громкие удары гонга, и друзья Джимми соскочили со ступеньки. Поле сражения осталось далеко позади, а пассажирам даже в голову не приходило, что этот элегантный молодой человек и хорошенькая работница были причиной происшедшего скандала.

Битва взволновала Мартина, и в нем проснулся былой воинственный пыл. Но через миг им снова овладела привычная тоска. Он был стар, на целые века старше этих беззаботных, свободных друзей его юности. Путь, пройденный им, был слишком длинен, и о возвращении назад нельзя было и думать, – его уже не привлекал тот образ жизни, который он некогда вел. Он отошел от друзей. Их жизнь была ему противна, как вкус дешевого пива, от которого он отвык. Он слишком далеко ушел. Тысячи книг, как стена, разде-

ляли их. Он сам обрек себя на изгнание. Его увлекло путешествие по безграничным просторам разума, откуда уже не было возврата назад. Однако человеком он не перестал быть, и его по-прежнему тянуло к человеческому обществу. Но он пока еще не нашел новой родины. Ни друзья, ни родные, ни новые буржуазные знакомые, ни даже эта девушка, которую он высоко ценил и уважал, не могли понять его. Он думал об этом с грустью и с горечью.

– Помиритесь с ним, – посоветовал Мартин на прощанье Лиззи, проводив ее до рабочего квартала, где она жила, между Шестой улицей и рынком.

Он имел в виду того молодого пария, чье место он сегодня невольно занял.

– Не могу… теперь, – отвечала она.

– Пустяки! – весело вскричал он. – Вам стоит только свистнуть, и он прибежит.

– Не в этом дело, – просто сказала она.

И Мартин прекрасно понял, что хотела она сказать.

Лиззи вдруг потянулась к нему. В этом движении не было ничего властного и вызывающего. Оно было робко и смиренно. Мартин был тронут до глубины души. Он почувствовал глубокое сострадание – и, обняв ее, крепко поцеловал.

– Боже мой, – всхлипнула она. – Я могла бы умереть за вас!.. Умереть за вас!

Она вдруг вырвалась от него и исчезла в воротах. Слезы выступили у него на глазах.

– Мартин Иден, – пробормотал он, – ты не зверь, и ты никудышный ницшеанец. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор! «Старик-бродяга жалуется горько!» – пробормотал он, вспоминая Гэнли: – «Вся наша жизнь – ошибка и позор!» Да, наша жизнь – ошибка и позор!

Глава 43

«Позор солнца» вышел в октябре. Когда Мартин вскрывал почтовую бандероль с шестью авторскими экземплярами, присланными ему издателем, на душе у него было тяжело и грустно. Он думал о том, какой огромной радостью явилось бы это для него несколько месяцев назад, и как непохоже на эту радость холодное равнодушие, которое он испытывал сейчас. Его книга, его первая книга лежала перед ним на столе, а он не чувствовал ничего, кроме тоски. Ему было теперь безразлично. Конечно, он получит некоторую сумму денег, но зачем ему теперь деньги?..

Взяв один экземпляр, он вышел на кухню и преподнес его Марии.

– Эту книгу сочинил я, – объяснил он, видя ее изумление. – Я написал ее в моей каморке и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Глядя на нее, вспоминайте меня.

Мартин вовсе не хотел хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, оправдать ее долголетнюю веру в него. Мария положила книгу в гостиной, рядом с семейной библией. Книга, написанная ее жильцом, была для нее священной реликвией, фетишем дружбы. Теперь Мария при-

мирилась даже с тем, что Мартин прежде был простым рабочим в прачечной. Хотя она не могла понять в книге ни одной строчки, она была твердо убеждена, что каждая строчка в ней замечательна. Эта простая, бедная, изнуренная тяжелым трудом женщина обладала одной драгоценной способностью – верить.

Так же равнодушно, как и к авторским экземплярам, отнесся Мартин к отзывам, присланным ему из бюро вырезок. Книга наделала шуму, это было очевидно. А это, в свою очередь, означало прибыль в его мешке с золотом. Можно будет устроить Лиззи, исполнить все обещания и поселиться, наконец, в тростниковом дворце.

Фирма Дарнлей и Ко из осторожности напечатала всего тысячу пятьсот экземпляров, но первые же рецензии побудили ее выпустить второе издание – в три тысячи; а вскоре последовало и третье, уже в пять тысяч. Одна лондонская фирма начала переговоры об английском издании, а из Франции, Германии и Скандинавии приходили запросы об условиях перевода. Нападение на школу Метерлинка оказалось как нельзя более своевременным. Началась ожесточенная полемика. Салиби и Геккель защищали «Позор солнца», так как разделяли основную точку зрения Мартина. Крукс и Уоллес выступили против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс, примиряю-

щий взгляды Идена с его собственной космической философией. Сторонники Метерлинка объединились под знаменем мистицизма. Честертон заставил смеяться весь мир своими остроумными очерками, якобы беспристрастно трактовавшими модную тему, но всех заглушил громовый голос Бернарда Шоу. Нечего и говорить, что, кроме этих великих светил на сцену выступили и менее крупные звезды, – словом, шум принял грандиозные размеры.

«Это совершенно небывалое событие, – писала Мартину фирма Дарнлей и Ко, – критико-философская книга расходится, как роман. Вы не могли удачнее выбрать тему, а к тому же все условия для появления книги крайне благоприятны. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах разошлось уже сорок тысяч экземпляров вашей книги, и в настоящее время мы подготовляем новое издание, с тиражом в двадцать тысяч. Мы едва успеваем удовлетворять спрос. Но, с другой стороны, мы немало способствовали увеличению этого спроса. Мы уже истратили на рекламу более пяти тысяч долларов. Книга эта побьет все рекорды.

Мы имеем честь препроводить при сем проект договора на вашу новую книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до двадцати процентов, – это выс-

шая ставка, возможная для такой солидной фирмы, как наша. Если вы находите условия подходящими, благоволите проставить на бланке договора заглавие вашей книги. Мы не ставим никаких условий относительно ее содержания. Любая книга, на любую тему. Если у вас есть уже что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить. „Куй железо, пока горячо“.

Получив подписанный вами договор, мы немедленно пришлем вам аванс в размере пяти тысяч долларов. Как видите, мы не щадим затрат только для того, чтобы выразить наше к вам глубокое доверие. Может быть, мы договорились бы с вами относительно права издания всех ваших сочинений на известный срок – ну, скажем, на десять лет. Впрочем, об этом после!»

Отложив письмо, Мартин занялся арифметикой и, помножив пятнадцать центов на шесть тысяч, получил результат – девять тысяч долларов Он подписал договор, проставив заглавие новой книги – «Дым радости», и отправил его издателю вместе с двадцатью небольшими рассказами, написанными еще до изобретения формулы написания газетных фельетонов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, явился чек на пять тысяч долларов.

– Я бы хотел, чтобы вы сегодня пошли со мною в город, Мария, часа в два, – сказал Мартин, получив чек, – или лучше так: встретимся с вами ровно в два

часа на углу Четырнадцатой улицы и Бродвея.

Мария явилась в назначенное время; она была очень заинтересована, но дальше новых башмаков ее догадки не шли. Поэтому она испытала даже некоторое разочарование, когда Мартин, миновав обувной магазин, привел ее в какую-то контору.

То, что случилось потом, навсегда осталось у нее в памяти как чудесный сон. Элегантные джентльмены, улыбаясь, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка. Была подписана какая-то важная на вид бумага. Тут же был и домохозяин Марии, и он тоже поставил свою подпись.

Когда они вышли на улицу, домохозяин сказал ей:

– Ну, Мария, в этом месяце вам уж не придется платить мне семь с половиной долларов.

Мария онемела от удивления.

– Да и в следующие месяцы тоже, – продолжал он.

Мария стала благодарить его, как за милость. И только вернувшись домой и поговорив с соседями, в первую очередь с лавочником-португальцем, она поняла, что этот маленький домик, в котором она прожила столько лет, отныне стал ее собственностью.

– Почему вы теперь ничего не покупаете у меня? – спросил португалец Мартина, когда тот направлялся к трамваю.

Мартин объяснил ему, что он уже не готовит себе

сам, и тогда лавочник пригласил его распить с ним бутылку вина. Он угостил его самым лучшим вином, какое только нашлось в лавке.

– Мария, – объявил Мартин в тот вечер, – я уезжаю от вас. Да и вы сами скоро отсюда уедете. Можете теперь сдать кому-нибудь дом и получать за него помесячно плату. У вас, кажется, есть брат в Сан-Леандро или Гэйуордсе, который занимается молочным хозяйством? Верните клиентам белье нестиранным – понимаете? – нестиранным! – и поезжайте в Сан-Леандро или в Гэйуордс – одним словом, к вашему брату. Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я буду жить в Окленде, в «Метрополе». Наверное, у него есть на примете подходящая молочная ферма.

И вот Мария сделалась домовладелицей и хозяйкой фермы; у нее было два работника, исполнявшие тяжелую работу, а ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что все ее дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удается встретить в жизни сказочного принца. Но Мария, отупевшая от тяжкой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице бывшего рабочего из прачечной.

Между тем кругом начали интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден? Он отказался дать издателям биографические сведения о себе, но от газет

было не так-то легко отделаться. Он был уроженцем Окленда, и репортеры разыскали достаточно людей, знавших Мартина с детства. Таким образом, в газетах появились подробные описания, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Поступили в продажу его фотографические карточки, выпущенные ловким фотографом, у которого некогда снимался Мартин Иден. Сначала Мартин боролся со всей этой шумихой, так как в нем сильна еще была неприязнь к журналам и к буржуазному обществу. Но в конце концов он примирился, потому что так было менее хлопотливо. Ему неловко было отказывать в интервью специально приехавшим издалека корреспондентам. Кроме того, с тех пор как он бросил писать и учиться, дни стали тянуться невыносимо медленно, и надо было чем-нибудь заполнить свободные часы. Поэтому он разрешил себе эту маленькую прихоть: беседовать с журналистами, излагать свои литературные и философские взгляды и принимать приглашения в богатые буржуазные дома. Он обрел вдруг необычайное спокойствие, Ничто не трогало его. Он простил всем и все, – простил даже молодому репортеру, некогда осрамившему его, и позволил даже ему написать целый столбец о Мартине Идене с приложением фотографического снимка.

Время от времени Мартин виделся с Лиззи, и яс-

но было, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними от этого стала еще больше. Может быть, в надежде перебросить мост через эту пропасть, Лиззи согласилась на его уговоры, стала посещать вечернюю школу и курсы стенографии и сшила платье у лучшей портнихи, содравшей огромные деньги. Ее быстрые успехи заставили, наконец, Мартина призадуматься над тем, правильно ли он поступает. Он знал, что все, что делала Лиззи, она делала ради него. Ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он особенно ценит. А он между тем не давал ей никакой надежды, виделся с ней редко и обращался всегда только как брат с сестрой.

«Запоздалый» был выпущен книгоиздательством, когда Мартин находился в зените славы, а так как это была беллетристика, то повесть имела еще больший успех, чем «Позор солнца». По спросу на книжном рынке обе книги Мартина все время занимали первое место – факт почти небывалый. И рядовые читатели и поклонники «Позора солнца» зачитывались повестью, восхищались ее силой и необычайным мастерством автора. Мартин Иден только что с успехом атаковал мистицизм теоретически; а теперь он и на практике доказал, что такое настоящая литература. В нем, таким образом, счастливо сочетался гений кри-

тический с гением художественным.

Деньги так и текли к нему, слава его росла непомерно, но все это скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и факт этот, наверно, немало удивил бы весь мир. Впрочем, мир удивился бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение. Судья Блоунт пригласил Мартина обедать! Это событие, само по себе ничтожное, имело великое значение и было чревато важными последствиями. Мартин Иден оскорбил судью Блоунта, разговаривал с ним непозволительным образом, а судья Блоунт, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьей в доме Морзов, и судья никогда и не думал приглашать его обедать. «Почему же он *тогда* не приглашал меня?» – спрашивал себя Мартин. Ведь он нисколько не переменился. Он был *все тот же* Мартин Иден. В чем же разница? Только в том, что его произведения были теперь напечатаны? Но ведь написал он их еще тогда. С тех пор он ничего не написал. Все лучшее из созданного им было создано именно тогда, когда судья Блоунт, разделяя общепринятую точку зрения, высмеивал и его, и Спенсера. Итак, судья Блоунт пригласил его не ради настоящих его заслуг, а ради того, что было в сущности только их отражением.

Мартин с улыбкой принял приглашение, сам изумляясь своей сговорчивости. За обедом, кроме дам, присутствовало шесть или семь важных особ, среди которых Мартин чувствовал себя, несомненно, «львом». Судья Блоунт, горячо поддерживаемый судьей Хэнуэллом, просил у Мартина разрешения записать его в члены своего клуба «Стикс», доступ в который был открыт людям не просто богатым, но чем-либо выдающимся. Мартин еще больше удивился, но предложение отклонил.

Он по-прежнему был занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист и что под красотой формы у него скрывается богатое содержание. «Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», обратилось к нему с просьбой прислать еще полдюжины подобных же статей, и Мартин собирался уже исполнить эту просьбу, истощив до конца свой старый запас, как вдруг «Журнал Бэртона» заказал ему пять статей и за каждую статью предложил по пятьсот долларов.

Мартин написал, что согласен, но не по пятьсот, а по тысяче. Он очень хорошо помнил, что все эти рукописи были отвергнуты в свое время теми самыми журналами, которые теперь спорили из-за них. Он помнил их равнодушие, стандартные отказы. Они нема-

ло поиздевались над ним, и теперь ему тоже захотелось поиздеваться над ними «Журнал Бэртона» уплатил ему назначенную цену за пять статей, а остававшиеся четыре были подхвачены на тех же условиях другим крупным ежемесячником. «Северное обозрение» было слишком бедно и не могло тягаться с ними. Так увидели свет: «Жрецы чудесного», «Мечтатели», «Мерило нашего „я“», «Философия иллюзий», «Бог и зверь», «Искусство и биология», «Критика и пробирки», «Звездная пыль», «Сила ростовщичества». Все эти вещи вызвали шум, долго не стихавший.

Издатели просили Мартина самого назначать условия, что он охотно делал. Но печатал он только то, что было уже раньше написано. От всякой новой работы он категорически отказывался. Мысль снова взяться за перо казалась ему невыносимой. Он слишком хорошо помнил, как гнусная толпа растерзала Бриссендена; он продолжал по-прежнему презирать толпу, хотя она ему и рукоплескала. Свою популярность Мартин считал оскорблением памяти Бриссендена. Он морщился, но не отступал, твердо решив наполнить свой мешок золотом.

Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания.

«Около года тому назад мы, к величайшему нашему прискорбию, вынуждены были отказаться от цикла

ваших лирических стихотворений. Они и тогда произвели на нас огромное впечатление, но различные обстоятельства помешали нам в то время их использовать. Если стихи эти вами не напечатаны и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы немедленно напечатаем весь цикл, уплатив вам гонорар, который вы сами соблаговолите назначить. Мы согласны были бы издать их и отдельной книгой на выгоднейших для вас условиях».

Мартин вспомнил про трагедию, некогда написанную им белыми стихами, и послал ее вместо стихов. Перечитав это произведение перед отправкой, он сам был поражен его слабостью и напыщенностью. Однако он все-таки послал трагедию, а журнал напечатал и покрыл себя несмываемым позором. Публика была возмущена и отказывалась верить, что прославленный Мартин Иден написал такую чушь. Однако что же это: обман, или же Мартин Иден, подражая Дюма-отцу, поручает другим писать за себя? Но когда выяснилось, что произведение это было то, что называется «юношеской попыткой», а журнал напечатал его только потому, что был ослеплен славой Идена, поднялся всеобщий хохот и редакционная коллегия была смещена. Трагедия так и не появилась отдельным изданием, но Мартин Иден, без всякого сострадания к издателю, оставил у себя высланный уже аванс.

Один еженедельник прислал Мартину длиннейшую телеграмму, стоившую по меньшей мере триста долларов, предлагая написать двадцать очерков, по тысяче долларов за каждый. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать темы, которые покажутся ему интересными. В телеграмме указывалось несколько примерных тем, чтобы показать наглядно, насколько обширны планы издательства и насколько свободен Мартин в своем выборе. Единственное условие, которое ему ставилось, – не выезжать за пределы Соединенных Штатов.

Мартин в телеграмме, посланной наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лестным предложением.

Повесть «Вики-Вики», напечатанная в «Ежемесячнике Уоррена», имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали это произведение классическим.

Однако сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодком. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением к предрассудкам. Но когда в Париже был выпущен француз-ский пере-

вод книги, получивший небывалый успех, то Англия и Америка тоже набросились на сборник, и Мартин потребовал с Дарнлея и Ко за третью книгу двадцать пять, а за четвертую – тридцать процентов. В эти две книги вошли все рассказы Мартина, напечатанные в различных журналах. «Колокольный звон» и все «страшные» рассказы составили первый том. Во второй том вошли: «Приключение», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того вышел сборник всех его статей, а также том стихотворений, куда вошли «Песни моря» и «Сонеты о любви», – последние были предварительно напечатаны в «Спутнике женщин», заплатившем Мартину неслыханный гонорар.

Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукопись была, наконец, пристроена. И тростниковый дворец и белая шхуна были теперь совсем близко. В конце концов он все-таки опроверг мнение Бриссендена, что ни одно истинно художественное произведение не попадает в журналы. На своем собственном примере он блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной всех его успехов был «Позор солнца», все остальное пошло в ход чисто случайно. Ведь эти самые вещи, много лет подряд, отвергались всеми журналами. Но появ-

ление «Позора солнца» вызвало сильнейший шум и оживленную полемику, что и создало ему имя. Не появись «Позора солнца», не возникла бы полемика, а успех книги был, в сущности говоря, лишь чудом, что признавали и Дарнлей и Ко. Они не решились на первый раз выпустить больше тысячи пятисот экземпляров; они были опытными издателями и, однако, были очень изумлены успехом книги. Им этот успех действительно казался чудом. Они и впоследствии не могли отделаться от этого ощущения, и в каждом их письме чувствовалось благоговейное удивление перед таинственной, ничем не объяснимой удачей. Они и не пытались объяснить ее себе. Объяснения тут быть не могло. Уж так случилось, вот и все. Случилось вопреки всем вероятностям и расчетам.

Думая обо всем этом, Мартин не слишком высоко ценил свою популярность. Буржуазия читала его книги и набивала ему мошну золотом, а буржуазия (в этом Мартин был твердо убежден) ничего не могла понять в его произведениях. Для тех сотен и тысяч, которые нарасхват покупали его книги, их красота и их смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто баловнем судьбы, выскочкой, который вторгся на Парнас, воспользовавшись благодушным настроением богов. Сотни тысяч людей читают его и восхищаются им с таким же скотским непониманием,

с каким они накинулись на «Эфемериду» Бриссендена и растерзали ее в клочки, – подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. Все дело случая! Мартин по-прежнему был твердо уверен, что «Эфемерида» неизмеримо выше всего им созданного. Она была выше всего того, что он мог создать, – это была поэма, делающая эпоху. Какую же ценность могло иметь в его глазах преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь «Эфемериду»? Мартин вздохнул с облегчением и удовлетворением. Последняя рукопись продана, и скоро можно будет покончить со всем этим.

Глава 44

Мистер Морз повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда, или он втайне надеялся встретить Мартина Идена, – Мартин склонялся в пользу второго предположения, – но, как бы то ни было, мистер Морз пригласил его обедать, – мистер Морз, отец Руфи, который отказал ему от дома и расстроил его помолвку.

Мартин не рассердился на него. Но никакого злорадства он тоже не испытал. Он снисходительно выслушал мистера Морза, думая о том, как тот должен был себя сейчас чувствовать. Он не отклонил приглашения. Он только поблагодарил и справился о здоровье всей семьи, в особенности миссис Морз и Руфи. Мартин произнес это имя свободно, без запинки, и втайне изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а сердце не забилось быстрее.

Приглашения к обеду сыпались со всех сторон. Искали случая познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. Мартин относился к этому все с тем же недоумением. Даже Бернард Хигинботам вдруг пригласил его. Это озадачило его еще больше. Мартин вспомнил, как в те дни, когда он почти умирал с голоду, никому не пришло в голову при-

гласить его обедать. А тогда он так нуждался в этом, так ослабел от голода! Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда он неделями сидел без обеда, никто не приглашал его, а теперь, когда у него хватило бы денег на сто тысяч обедов, к тому же он вовсе утратил аппетит, – его звали обедать направо и налево. Почему? Никаких особенных заслуг у него не появилось. Он был все тот же. Все его произведения были написаны уже давно, в те самые голодные дни, когда господа Морзы называли его лентяем и предлагали ему стать клерком в конторе. А ведь они и тогда знали о его работе Руфь показывала им каждую рукопись, которую он давал ей читать. И они сами читали эти рукописи. А теперь благодаря тем же самым произведениям его имя попало в газеты, и благодаря тому, что его имя попало в газеты, он стал для них желанным гостем.

Одно было совершенно очевидно: Морзам не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его творчества. И если они и искали его общества, то не ради него самого и не ради его произведений, а ради славы, которая теперь окружила Мартина ореолом, а может быть, им внушали уважение и те сто тысяч долларов, которые лежали у него на текущем счету в банке. Это было обычным явлением в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих лю-

дей иного. Но Мартин был горд. Ему не нужно было такой оценки. Он хотел, чтобы оценили его самого или его произведения, что было в сущности одно и то же. Так именно ценила его Лиззи. Даже его произведения не имели для нее особой цены; все дело было в нем самом. Так же относился к нему и Джимми, и вся его старая компания. Они в былые дни не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность, – доказали ее и теперь, на воскресном гулянье в Шелл-Моунд-парке. На все его писания им было наплевать. Они любили его, Марта Идена, славного малого и своего парня и за него были готовы пойти в огонь и в воду.

Иначе было с Руфью. Она полюбила его ради него самого, это было вне всякого сомнения. Но как ни дорог был он ей, буржуазные предрассудки оказались для нее дороже. Она не сочувствовала его творчеству главным образом потому, что оно не приносило ему дохода. С этой точки зрения она оценила его «Сонеты о любви». И она тоже требовала, чтобы он поступил на службу. Правда, на ее языке это называлось «занять положение», но ведь сущность была одна и та же, и Мартин даже предпочитал прежнее название. Мартин читал ей все свои вещи: читал поэмы, повести, статьи, «Вики-Вики», «Позор солнца» – все. А она с неизменным упорством советовала ему поступить на службу. Всемогущий боже! Как будто он и без это-

го не работал как вол, лишая себя сна, перенапрягая силы только для того, чтобы стать, наконец, достойным ее!

Так ничтожное обстоятельство превращалось в большое и значительное. Мартин чувствовал себя здоровым и бодрым, ел нормально, спал вволю, но ничтожное обстоятельство не давало ему покоя. «Давным-давно!» Эта мысль сверлила его мозг. Сидя напротив Бернарда Хиггинботама за одним из воскресных обедов, Мартин едва удерживался, чтобы не закричать:

«Ведь это все было сделано давным-давно! И вот вы наперерыв кормите меня, а когда-то вы предоставляли мне умирать с голоду, отказывали мне от дома, знать меня не хотели, только за то, что я не шел служить. А все мои вещи уж тогда были написаны. Теперь, когда я говорю, вы не спускаете с меня благоговейных взоров, ловите каждое изрекаемое мною слово. Я говорю вам, что вы жалкие душонки, а вы, вместо того чтобы обидеться, сочувственно киваете головой и чуть ли не благодарите меня. Почему? Потому что я знаменит! Потому что у меня много денег! А вовсе не потому, что я – Мартин Иден, славный малый и не совсем дурак. Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, вы бы немедленно согласились с этим, во всяком случае не стали бы мне противоре-

чить, потому что у меня есть целые груды золота. А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно, в те самые дни, когда вы плевали мне в лицо и втаптывали меня в грязь!»

Но Мартин не крикнул этого. В глубине души он тосковал и возмущался, но с губ не сходила терпеливая улыбка. Хиггинботам начал говорить. Он – Бернард Хиггинботам – добился всего сам и гордится этим. Никто не помогал ему, и он никому ничем не обязан. Он добропорядочный гражданин, содержит большую семью. А эта лавка, приносящая теперь порядочный доход, процветает благодаря его – Бернарда Хиггинботама – стараниям. Он любил свою лавку, как иной муж любит свою жену. Он разоткровенничался с Мартином, стал рассказывать, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело на рельсы. А кроме того, у него есть планы, широкие планы. Население в квартале увеличивается. Лавка не может обслуживать всех. Будь у него лишнее помещение, он мог бы ввести некоторые новшества и увеличить доход. И он это сделает, но прежде всего ему необходимо купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний присоединит к лавке. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о своей новой вывеске, которая протянется через оба фасада.

Мартин почти не слушал. Припев «давным-давно» продолжал звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума, но он никак не мог от него отделаться.

– Сколько, ты сказал, это должно стоить? – спросил он вдруг.

Его зять оборвал свою речь и выпучил на него глаза. Он вовсе и не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину это интересно, он приблизительно может сказать.

– По теперешним ценам, – сказал он, – это может обойтись тысячи в четыре.

– Включая вывеску?

– Вывески я не считал. Был бы дом, а вывеска будет!

– А земля?

– Еще тысячи три.

Проводя языком по пересохшим губам и нервно шевеля пальцами, смотрел Бернард Хиггинботам, как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггинботаму. Чек был на семь тысяч долларов.

– Я… я могу предложить тебе не более шести процентов, – пробормотал Хиггинботам хриплым от волнения голосом.

Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил:

– А сколько это будет?

– А вот сейчас подсчитаем. Шесть процентов… шестью семь – четыреста двадцать.

– Значит, в месяц придется тридцать пять долларов?

Хиггинботам кивнул утвердительно.

– Ну-с, если ты не возражаешь, то мы сделаем так. – Мартин при этих словах взглянул на Гертруду. – Можешь оставить себе весь основной капитал безвозвратно, но с условием тратить тридцать пять долларов в месяц на хозяйственные расходы. На эти деньги можно нанять кухарку и прачку. Одним словом, семь тысяч твои, если ты гарантируешь мне, что Гертруда не будет больше исполнять грязную работу. Согласен?

Мистер Хиггинботам обиделся. Требование, чтобы его жена не исполняла тяжелой работы, показалось ему оскорбительным. Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю, и горькую пилюлю! Чтобы жена не работала! Это его взбесило.

– Как хочешь, – сказал Мартин. – Тогда я буду платить эти тридцать пять долларов в месяц, но…

Он протянул руку за чеком, но Бернард Хиггинботам поспешно накрыл его рукой и воскликнул:

– Я согласен! Согласен!

Садясь в трамвай, Мартин почувствовал усталость

и отвращение. Он оглянулся на крикливую вывеску. «Свинья, – пробормотал он, – какая свинья!»

Когда в одном из журналов появилась «Гадалка», украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман Шмидт вдруг забыл, что он назвал некогда это стихотворение непристойным. Он рассказывал всем и каждому, что стихотворение было написано в честь его жены, и постарался, чтобы слух этот не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате в одном из воскресных номеров появился значительно приукрашенный портрет Мэриен со множеством интимных подробностей из жизни Мартина Идена и его семьи и с полным текстом «Гадалки», перепечатанным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во всей округе, и все окрестные домохозяйки гордились знакомством с сестрой великого писателя, а те, которые не имели этой чести, торопились исправить свою ошибку. Герман Шмидт потирал руки и даже заказал новый станок для мастерской.

– Это лучше всякой рекламы, – говорил он, – и денег не стоит.

– Надо бы пригласить его обедать, – предложила Мэриен. И Мартин пришел к обеду и старался быть любезным с жирным мясоторговцем-оптовиком и с

его еще более жирной супругой, – это были важные люди и могли оказаться очень полезными молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каким был, например, Герман Шмидт. Конечно, они бы никогда не удостоили последнего визитом, если бы не обещанное присутствие за обедом знаменитого писателя. На ту же приманку попался и главный управляющий агентствами Тихоокеанской велосипедной компании. Герман Шмидт заискивал перед ним, так как надеялся получить от него представительство в Окленде. Одним словом, Герман готов был занести родство с Мартином Иденом в свой жизненный актив, но в глубине души он решительно не понимал, как все это случилось. Очень часто в тишине ночи он вставал и, стараясь не разбудить жену, читал сочинения Мартина Идена, и всякий раз у него оставалось определенное убеждение, что только дураки могут платить за них деньги.

Мартин отлично понимал ситуацию: откинувшись на спинку стула и рассматривая череп господина Германа Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками – ах, самодовольная немецкая рожа! Но кое-что Мартину в нем нравилось. Как он ни был беден и как ни хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, чтобы облегчить Мэриен домашнюю работу. Переговорив после обеда с

управляющим велосипедной компании, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил ему денежную поддержку для оборудования лучшего в Окленде велосипедного магазина. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть заодно гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справится и с двумя предприятиями.

Обняв Мартина со слезами на глазах, Мэриен тайком шепнула ему о том, как она его любит и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась, и Мартин понял, что она просит простить ее за то, что когда-то пеняла на него и убеждала поступить на службу.

– Ну, у него деньги долго не удержатся, – сказал вечером жене Герман Шмидт. – Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах! Знаешь, что он мне сказал? Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку. Так и сказал: «немецкую башку». Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное – он здорово выручил меня!

Приглашения к обеду не прекращались, и чем больше их было, тем сильнее изумлялся Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел окруженный людьми, о которых слышал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему,

что прочтя в «Трансконтинентальном ежемесячнике» «Колокольный звон», а в «Шершне» «Пэри и жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой, – думал Мартин, – а я тогда голодал и ходил оборванцем! Почему они меня тогда не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы как раз кстати. Ведь это были вещи, написанные давным-давно. Если вы теперь кормите меня за то, что я сделал давным-давно, то почему вы не кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь ни в „Колокольном звоне“, ни в „Пери и жемчуге“ я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому, что меня угощают все, и потому, что угощать меня считается признаком хорошего тона. Вы меня угощаете потому, что вы грубые животные, стадные животные! Потому, что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно, надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела до самого Мартина Идена и до его работы», – печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и блестяще ответить на остроумный и блестящий тост.

И так было везде. Где бы он ни был: в клубах, на литературных вечерах, – всюду ему говорили, что, когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Пери и жемчуг», всем сразу стало ясно, что появился вели-

кий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос: «Почему же вы меня тогда не накормили? Ведь все эти вещи написаны давным-давно. „Колокольный звон“ и „Пери и жемчуг“ не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши и так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете потому, что это теперь в моде; потому, что все стадо помешалось на одном: угощать Мартина Идена».

И часто среди блестящего общества перед ним внезапно вырастал молодой хулиган в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде, на большом литературном утреннике. Встав со стула и выйдя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, молодого хулигана, все в той же куртке и все в той же шляпе. Пятьсот разодетых женщин сразу оглянулись, чтобы посмотреть, что такое увидел вдруг Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин все смотрел и думал, догадается ли молодой бродяга снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на эту тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно

растворился в нем. Пятьсот элегантных женщин зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками. Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя призрак, улыбнулся и начал говорить.

Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки.

– Я читал ваш «Колокольный звон», – сказал он, – еще когда он первый раз был напечатан. Прекрасно! Это не хуже Эдгара По! Я и тогда, прочтя, сказал: прекрасно!

«Да? А вы в ту пору раза два встретились со мною на улице и даже не узнали меня, – чуть-чуть не сказал Мартин. – Оба раза я, голодный, бежал закладывать свой единственный костюм! Вы меня не узнавали! А все мои вещи были уже тогда написаны. Почему же вы только теперь признали меня?»

– Я на днях сказал жене, что было бы очень хорошо, если бы вы зашли к нам пообедать, – продолжал директор, – и она очень просила меня пригласить вас. Да, очень просила.

– Обедать? – неожиданно резко выкрикнул Мартин.

– Да… да… обедать, – забормотал тот растерян-

но, – запросто, знаете… со старым учителем… Ах вы, плут этакий! – Он робко похлопал Мартина по плечу, стараясь придать этому вид дружеской шутки.

Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику.

– Чёрт знает что! – пробормотал он. – Я, кажется, здорово напугал его!

Глава 45

Однажды к Мартину пришел Крейз – тот самый Крейз, из числа «настоящих людей». Мартин искренно обрадовался ему и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. Крейз среди изложения проекта вдруг заговорил о «Позоре солнца» и сказал, что это сплошной вздор.

– Впрочем, я пришел сюда не философствовать, – прервал он сам себя. – Все, что я хочу знать – это, вложите вы, тысячу долларов в мое предприятие или нет?

– Нет, для этого я недостаточно глуп, – сказал Мартин, – но я сделаю другое. Вы дали мне возможность провести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием просто так дам тысячу долларов, в благодарность за тот незабываемый вечер. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Не нужно никаких ухищрений. Получайте!

Крейз не проявил ни малейшего удивления. Он сунул чек себе в карман.

– На таких условиях я готов вам устраивать подобные вечера каждую неделю.

– Слишком поздно, – покачал головой Мартин, – это был для меня первый и последний такой вечер. Я словно очутился в другом мире. Для вас в этом не было ничего особенного, я знаю. Но для меня все было особенное. Это уже не повторится. Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать.

– Первый раз в жизни я получил деньги за философию, – заметил Крейз, направляясь к двери, – и то рынок сразу закрылся.

Однажды на улице мимо Мартина проехала в коляске миссис Морз и с улыбкой поклонилась ему. Он тоже улыбнулся и сиял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц назад он показался бы ему неприятным, а может быть, забавным, и он старался бы представить, как чувствовала себя при этом миссис Морз. Но теперь эта встреча прошла мимо его сознания. Он сейчас же забыл о ней, как забыл бы, например, о том, что проходил мимо здания центрального банка или городской ратуши. А между тем в его мозгу шла непрерывная, сверхнапряженная работа. Все та же неотступная мысль сверлила его: «давным-давно». С этой мыслью Мартин просыпался по утрам, эта мысль преследовала его во сне. Чем бы ни начинал он заниматься, он тот-

час же говорил себе: «Все было давным-давно сделано». Логически рассуждая, Мартин пришел к печальному выводу, что теперь он никто, ничто Март Иден-хулиган и Март Иден-моряк были реальными лицами, они существовали на самом деле. Но Мартин Иден – великий писатель никогда не существовал. Мартин Иден – великий писатель был измышлением многоголовой толпы, которая воплотила его в телесной оболочке Марта Идена, хулигана и моряка. Но он-то знал, что это все – обман. Он совсем не был сыном солнца, перед которым преклонялась и благоговела толпа. Ему-то было, разумеется, виднее.

Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые печатались в огромном количестве, и не узнавал себя. Это он вырос в рабочем предместье, жил, любил и радовался жизни. Это он хорошо относился к людям и с легким сердцем встречал превратности судьбы. Это он странствовал по чужим краям, изъездил вдоль и поперек Тихий океан и предводительствовал шайкой таких же, как он, сорванцов. Это он был ошеломлен и подавлен бесконечными рядами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их. Это он, до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди на-

перерыв спешили теперь накормить, – был не он.

Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. «Ежемесячник Уоррена» пространно объявил своим подписчикам, что, ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая Мышь» приписывала эту заслугу себе; то же делало «Северное обозрение», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на искаженные «Песни моря», которые впервые были напечатаны им, «Глобусом». Журнал «Юность и зрелость», который, ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто не читал этого журнала. «Трансконтинентальный ежемесячник», «Шершень» наперебой требовали признания за ними первенства. Скромный голос Синглтри, Дарнлея и Ко вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего органа, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах.

Все газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности: оклендские проповедники, а также и частные просители наперерыв осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего вели себя женщи-

ны. Его фотографии имели огромное распространение, а репортеры постарались поярче расписать его «бронзовое лицо», «могучие плечи», «ясный, спокойный взгляд», «впалые щеки аскета». Эти «щеки аскета» особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, бывая на людях, он видел, как то одна, то другая женщина смотрит на него так, словно оценивает его и выбирает. Мартин смеялся, вспоминая предостережения Бриссендена. Нет, женщины не заставят его страдать. С этим покончено.

Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи заметила взгляд, брошенный на Мартина проходившей мимо красивой, хорошо одетой и, по-видимому, богатой дамой. Во взгляде не было ничего непристойного или двусмысленного, но Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и равнодушен к нам.

– Этого быть не может! – вскричала она, сверкнув глазами. – Значит, вы больны!

– Никогда еще я не был так здоров. Я прибавил в весе на пять фунтов.

– Я не говорю, что вы телом больны; я говорю про ваш мозг. У вас в голове что-то неладно! Я и то вижу!

А что я такое!

Мартин задумчиво шел рядом.

– Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло! – воскликнула она вдруг, – Вы не можете относиться равнодушно к женщинам. Да еще когда они на вас так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.

Проводив Лиззи, Мартин вернулся в «Метрополь».

Он опустился в кресло и устремил взгляд в пространство, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени перед ним возникали и вновь исчезали призраки далекого прошлого. Он равнодушно созерцал видения, казавшиеся ему каким-то смутным сном. Но Мартин не спал. Вдруг он очнулся и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать ему было нечего, а ложиться спать было рано. И опять он погрузился в мечтательное, полудремотное состояние, видения опять поплыли перед ним длинной вереницей. Ничего примечательного в этих видениях не было. Постоянно повторялся один образ: густая листва, пронизанная солнечными лучами.

Стук в дверь заставил его опомниться. Он не спал, и стук тотчас вызвал в его мозгу представление о телеграмме, письме, слуге, принесшем белье из прачеч-

ной. Ему вспомнился Джо, и, спрашивая себя, где сейчас может быть Джо, Мартин крикнул:

– Войдите!

Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихо отворилась, но Мартин уже забыл о стуке, и опять видения поплыли перед ним. Вдруг сзади явственно послышалось женское рыдание. Рыдание было подавленное и сдержанное. Мартин мгновенно вскочил.

– Руфь! – воскликнул он с удивлением и почти с испугом.

Лицо ее было бледно и печально. Она стояла у двери, одной рукой держалась за нее, а другую руку прижимала к груди. Вдруг она с мольбой протянула обе руки к нему и шагнула вперед. Усаживая ее в кресло, Мартин заметил, как холодны ее пальцы. Сам он подвинул себе другое кресло и присел на его ручку. От смятения он не мог говорить. Весь его роман с Руфью был давно уже похоронен в его сердце. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг на месте отеля «Метрополь» оказалась бы прачечная «Горячих Ключей» и ему предложили бы заняться недельной стиркой. Несколько раз он хотел заговорить, но всякий раз не решался.

– Никто не знает, что я здесь, – сказала Руфь тихо, с молящей улыбкой.

– Что вы сказали? – спросил он Его самого удивил звук его голоса. Руфь повторила свои слова.

– О! – сказал он; это было все, что он нашелся сказать.

– Я видела, как вы вошли в гостиницу, и, подождав немного, последовала за вами.

– О! – повторил он.

Никогда еще язык его не был таким скованным. Положительно все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание начинает становиться неловким, но даже под угрозой смерти он не придумал бы, с чего начать разговор. Уж лучше бы в самом деле он очутился в прачечной «Горячих Ключей», – он бы молча засучил рукава и принялся за работу.

– Итак, вы последовали за мной, – наконец проговорил он.

Руфь кивнула головой с некоторым лукавством и развязала на груди шарф.

– Я сначала видела вас на улице с той девушкой.

– Да, – сказал он просто, – я провожал ее в вечернюю школу.

– Разве вы не рады меня видеть? – спросила она после новой паузы.

– О да, – отвечал он поспешно, – но благоразумно ли, что вы пришли сюда одна?

– Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что я понимаю, как я была глупа. Я пришла, потому что я не могла больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти, потому что я хотела прийти!

Руфь встала и подошла к Мартину. Она положила ему руку на плечо и мгновение стояла так, глубоко и часто дыша, потом быстрым движением прижалась к нему. Добрый и отзывчивый по природе, Мартин понял, что он должен тоже обнять ее, что иначе он оскорбит ее так глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто обхватил ее руками, но тело его не трепетало, как бывало прежде, и ему было лишь неловко и стыдно.

– Почему вы так дрожите? – спросил он. – Вам холодно? Не затопить ли камин?

Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще крепче прильнула к нему.

– Это нервное, – отвечала она, стуча зубами, – я сейчас овладею собой. Мне уже лучше.

Ее дрожь мало-помалу прекратилась. Он продолжал держать ее в объятиях, но уже больше не удивлялся. Он теперь знал уже, для чего она пришла.

– Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда, – объявила она.

– Чарли Хэпгуда? Это тот самый молодой человек, который всегда говорит пошлости? – пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил: – А теперь ваша мама хочет, чтобы вы вышли за меня…

Он сказал это без вопросительной интонации. Он сказал это совершенно уверенно, и перед его глазами прошли длинные столбцы цифр полученных им гонораров.

– Мама не будет теперь противиться, – сказала Руфь.

– Она считает меня подходящим мужем для вас? – Руфь наклонила голову.

– А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расторгла нашу помолвку, – задумчиво проговорил он. – Я не переменился. Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже, я курю теперь. Вы чувствуете запах дыма?

Вместо ответа она весело и кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не дрогнули. Он подождал, пока Руфь опустила руку, и потом продолжал:

– Я не переменился. Я не поступил на службу. Я и не намерен поступить на службу. И я по-прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер – великий и благородный человек, а судья Блоунт – пошлый осел. Я вчера обедал у него и знаю это наверное.

– А почему вы не приняли папиного приглашения? –

спросила Руфь.

– Откуда вы знаете? Кто подослал его? Ваша мать? – Руфь молчала.

– Ну конечно, она! Я так и думал. Да и теперь вы, наверно, пришли по ее настоянию.

– Никто не знает, что я здесь, – горячо возразила Руфь. – Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне это?

– Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь.

Руфь жалобно вскрикнула:

– О Мартин, не будьте жестоким! Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. А подумайте, на что я решилась!

Она оглянулась со страхом, но в то же время и с любопытством.

– Подумайте, куда я пришла!

«Я могла бы умереть за вас», – вспомнились ему слова Лиззи.

– Отчего же вы раньше на это не решились? – спросил он сурово. – Когда я жил в каморке. Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом – и как человек, и как писатель. Этот вопрос я задавал себе за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Вы видите, я не переменился, хотя мое внезап-

ное возвышение может навести на эту мысль. Я сам стараюсь убедить себя в том, что я переменился. Но я тот же! Никаких новых талантов, никаких новых добродетелей у меня нет. Мой мозг остался таким же, как был. У меня даже не появилось никаких новых взглядов на литературу или на философию. Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Я только удивляюсь, почему я вдруг стал всюду желанным гостем? Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, – потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят во мне нечто другое, нечто такое, что вовсе не относится к моим качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги, которые я теперь имею. Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. А между тем и вам я тоже стал нужен из-за славы и денег.

– Вы надрываете мне сердце, – простонала Руфь. – Вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда только потому, что люблю вас!

– Я боюсь, что вы меня не совсем поняли, – мягко заметил Мартин, – Скажите мне вот что: почему вы

любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?

– Простите и забудьте! – пылко вскричала она. – Я все время любила вас! Слышите – все время! Вот почему я здесь и вот почему обнимаю вас.

– Я теперь стал очень недоверчив, все взвешиваю на весах. Вот и вашу любовь я хочу взвесить и узнать, что это такое.

Руфь вдруг освободилась из его объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Она словно хотела что-то сказать, но промолчала.

– Хотите знать, что я об этом думаю? – продолжал он, – Когда я был таким же, каким остался и до сих пор, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои были уже написаны, никто из читавших мои рукописи не сказал мне ни одного слова одобрения. Наоборот, меня бранили за то, что я вообще пишу, считая, что я занимаюсь чем-то постыдным и достойным осуждения. Все мне говорили только одно: иди работать.

Руфь сделала протестующее движение.

– Да, да, – продолжал он, – вы, правда, говорили не о работе, а о «карьере». Слово «работа», так же как и то, что я писал, не нравилось вам. Оно, правда, грубовато! Но, уверяю вас, еще грубее было, с моей точки зрения, то, что все вокруг убеждали меня приняться

за работу, словно хотели направить на путь истинный какого-то закоренелого преступника. И что же? Появление моих произведений в печати и одобрение публики вызвали перемену в ваших чувствах. Вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя все, что теперь увидел свет, было написано уже тогда. Ваша любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы вы вышли за него в то время. А теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна, и, очевидно, объяснения этому удивительному факту надо искать именно в моей известности. О моих доходах в данном случае я не говорю, вы, может быть, не думали о них, хотя для ваших родителей, вероятно, и это имеет очень большое значение. Все это не слишком для меня лестно! Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви! Неужели и любовь должна питаться славой и признанием толпы? Очевидно, да! Я так много думал об этом, что у меня, наконец, голова закружилась.

– Бедная голова! – Руфь нежно провела рукой по его волосам. – Пусть она больше не кружится. Пусть она отдохнет наконец. Начнем сначала, Мартин! Я знаю, что проявила слабость, уступив настояниям мамы. Мне бы не следовало этого делать. Но ведь вы так часто говорили о всепрощении и снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходи-

тельны. Простите меня!

– О, я прощаю! – воскликнул он нетерпеливо. – Легко простить, когда нечего прощать! Ваш поступок не нуждается в прощении. Вы поступили согласно вашим взглядам. Так ведь и я могу просить у вас прощения за то, что своевременно не избрал служебную карьеру.

– Я ведь хотела вам добра, – возразила она с живостью. – Я не могла не желать вам добра, раз я любила вас!

– Верно, но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да, да! Чуть не погубили мое творчество, мое будущее! Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И вы хотели и меня заставить бояться жизни. Вы стремились запереть меня в тесную клетку. Вы хотели заставить меня преклоняться перед ложными ценностями, навязать мне условную, пошлую мораль.

Мартин увидел, что Руфь хочет возразить.

– Я признаю, что вся эта пошлость вполне искренна, но тем не менее она есть основа буржуазной культуры классовых идеалов, классовой морали, классовых предрассудков.

Он печально покачал головой.

– Вы и теперь меня не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкла-

дываю. Для вас все, что я говорю, – чистая фантазия. А для меня это настоящая реальность. В лучшем случае вас забавляет и изумляет, что вот неотесанный малый, вылезший из грязи, вдруг дошел до того, что даже осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым.

Руфь устало прислонилась головой к его плечу, и ее опять охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, и затем продолжал:

– А теперь вы хотите возродить вашу любовь! Вы хотите выйти за меня замуж. Вы хотите меня! А ведь могло случиться так – постарайтесь понять меня, – могло случиться, что мои книги не увидели бы свет и не заслужили бы признания, и тем не менее, я был бы тем, что я есть! Но вы бы никогда не пришли ко мне! Только эти книги… чтоб их чёрт…

– Не бранитесь, – прервала она его. Мартин язвительно рассмеялся.

– Вот, вот! – сказал он. – В тот миг, когда на карту поставлено все счастье вашей жизни, вы боитесь услыхать грубое слово. Вы по-прежнему боитесь жизни.

Руфь вздрогнула при этих словах, как бы обесценивавших всю сущность ее поступка; но все же ей показалось, что Мартин несправедлив к ней, и она почувствовала обиду.

Некоторое время они сидели молча; она – преда-

ваясь грустным размышлениям и не зная, что делать; а он – вспоминая былую свою любовь. Он теперь ясно понял, что никогда не любил Руфь на самом деле. Он любил некую идеальную Руфь, небесное существо, созданное его воображением, светлого и лучезарного духа, воспетого им в поэмах любви. Настоящую Руфь, буржуазную девушку с буржуазной психологией и ограниченным кругозором, он не любил никогда! Внезапно она заговорила:

– Я признаю, что многое из того, что вы говорите, совершенно справедливо. Я действительно боялась жизни. Я недостаточно сильно любила вас. Но теперь я научилась сильнее любить. Я люблю вас таким, какой вы есть, таким, каким вы были раньше. Я люблю вас за все то, чем вы отличаетесь от людей моего класса. Пусть ваши взгляды иногда непонятны мне. Я научусь их понимать. Я должна научиться их понимать! Ваше курение, ваша брань – все это часть вашего существа, и я люблю вас и за это. Я многому научусь. За последние десять минут я уже многому научилась. Разве когда-нибудь раньше я бы решилась прийти сюда к вам? О Мартин!..

Руфь заплакала, спрятала лицо у него на груди. Она почувствовала вдруг, что он ласково обнял ее, впервые после разлуки. Она почувствовала это и подняла на него просиявшие глаза.

– Слишком поздно, – сказал он. Он вспомнил слова Лиззи. – Я болен, Руфь… нет, не телом. Душа у меня больная, мозг. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло быть по-другому. Но теперь уже поздно, слишком поздно!

– Нет, не поздно! – вскричала она. – Я докажу вам это. Я вам докажу, что моя любовь сильнее классовых предрассудков. Я готова отречься от всего, что так дорого буржуазии. Я больше не боюсь жизни. Я покину отца и мать, отдам свое имя на поношение. Я готова остаться с вами сейчас же навсегда, если вы хотите, и я сумею найти в этом гордость и радость. Если я раньше предала любовь, сейчас я готова ради любви предать то, что тогда толкнуло меня на измену.

Руфь стояла перед Мартином со сверкающими глазами.

– Я жду! – прошептала она. – Я жду, Мартин, чтобы вы сказали «да». Взгляните на меня.

«Как это прекрасно, – подумал он, глядя на нее: она искупила все свои прежние ошибки, она сделалась настоящей женщиной, сорвала с себя, наконец, железные цепи буржуазных условностей. Все это прекрасно, великолепно, благородно… Но что же такое со мной?»

Ее поступок оставлял его совершенно холодным.

Он только умом оценивал ее. Вместо пожара – холодное одобрение. Сердце его оставалось нетронутым, и желание не загорелось в крови. Ему снова вспомнились слова Лиззи.

– Я болен, очень болен, – сказал Мартин, безнадежно махнув рукой. – Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то случилось со мной. Я никогда не боялся жизни, и я никогда не мог себе представить, что потеряю вкус к жизни. Но теперь я оказался пресыщен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний Я даже вас не хочу! Вы видите, как я болен!

Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза; и подобно тому, как плачущий ребенок сразу забывает все свои горести, глядя сквозь слезы на игру солнечного луча, так забыл Мартин и болезнь, и присутствие Руфи, и все на свете, созерцая внезапно возникшее видение – густую листву, пронизанную солнечными лучами. Она была слишком зелена и ослепительна, эта листва. Ему было больно смотреть на эту зелень, но он, сам не зная почему, смотрел.

Мартин очнулся, услыхав скрип дверной ручки, Руфь стояла у двери.

– Как мне выйти отсюда? – жалобно спросила она, – Я боюсь.

– О, простите меня, – вскричал он вскакивая. – Я

сам не знаю, что со мною! Я забыл, что вы здесь.

Он провел рукою по лбу.

– Вы видите, я совсем не здоров. Я вас провожу до дому. Мы можем пройти черным ходом. Никто нас не заметит. Только опустите вуаль.

Руфь крепко держалась за его руку, они шли по узким коридорам и полутемным лестницам.

– Ну, теперь я в безопасности, – сказала она, выйдя на улицу, и хотела высвободить руку.

– Я провожу вас до дому, – сказал он.

– Нет, нет, – возразила она, – не нужно!

Она снова сделала попытку высвободить руку. На мгновение это возбудило его любопытство. Казалось она боится чего-то именно теперь, когда всякая опасность для нее миновала. Ей словно хотелось поскорее отделаться от него, и Мартин приписывал это просто нервной реакции. Поэтому он удержал ее руку и повел Руфь по направлению к дому. Когда они подходили к углу, Мартин вдруг увидел человека в длинном пальто, который поспешно нырнул в подъезд. Проходя мимо, Мартин заглянул туда и, несмотря на поднятый воротник незнакомца, узнал брата Руфи – Нормана.

По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была грустна, а он был равнодушен. Он сказал ей, что уезжает на острова Тихого океана, а она в свою

очередь попросила у него прощения за свой неожиданный приход. Вот и все. Они расстались у дверей ее дома. Они пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, причем он церемонно приподнял шляпу. Дверь захлопнулась. Мартин закурил папиросу и пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо пустого теперь подъезда, в котором прятался Норман, Мартин остановился и с минуту постоял в раздумье.

– Она солгала, – сказал он вслух. – Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело, а между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы проводить обратно домой, – Он расхохотался. – Ах, эти буржуа! Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к его сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, он сам приводит ее ко мне!

Мартин хотел продолжать свой путь, как вдруг какой-то бродяга, поравнявшись с ним, тронул его за локоть.

– Одолжите четвертак, сударь! За ночлег заплатить, – сказал он.

Голос заставил Мартина мгновенно оглянуться. В следующий миг он уже крепко пожимал руку Джо.

– Помнишь, я тебе говорил, что мы встретимся, – говорил Джо. – Я предчувствовал это. Вот мы и встретились!

– Ты смотришь молодцом! – сказал Мартин с вос-

хищением. – Даже как будто пополнел.

– Так оно и есть, – подтвердил Джо сияя. – С тех пор как я стал бродягой, я понял, что значит жить! Тридцать фунтов прибавил и чувствую себя великолепно! Ведь в прежние времена я так заработался, что от меня остались кожа да кости. А такая жизнь прямо по мне!

– Однако ты просишь на ночлег, – поддразнил его Мартин, – а ночь не очень теплая!

– Гм! Прошу на ночлег! – Джо вытащил из кармана горсть мелочи – Мне бы этого хватило, – признался он, – да у тебя был очень уж располагающий вид. Вот я тебя и взял на прицел.

Мартин расхохотался.

– Да тут у тебя еще и на выпивку хватит, – заметил он.

Джо важно спрятал деньги в карман.

– Не по моей части! – объявил он. – Я теперь не пью. Нет охоты. Я только раз был пьян после того, как мы с тобой расстались, да и то потому, что сдуру хлебнул на пустой желудок. Когда я зверски работал, я и пил зверски. Теперь, когда я живу по-человечески, я и пью по-человечески! Иногда перехвачу стаканчик – и баста!

Мартин условился встретиться с ним на другой день и пошел в гостиницу. В вестибюле он взглянул

на расписание пароходов. Через пять дней на Таити отправлялась «Марипоза».

– Закажите мне по телефону каюту, – сказал он портье, – но не наверху, а внизу, с наветренной стороны. Запомните. Вы лучше запишите: с наветренной стороны.

Придя к себе в комнату, он лег в постель и заснул сном праведника. Его мозг уже не воспринимал впечатлений. Даже порыв радости, вызванный встречей с Джо, оказался мимолетным. Он продолжался один миг, а в следующий миг Мартин уже сожалел, что встретил своего бывшего товарища, так как ему не хотелось даже разговаривать. То, что через пять дней он уплывет в свой милый океан, тоже не радовало его. Он с наслаждением сомкнул глаза и спокойно спал восемь часов. Он не метался, не видел снов. Он отдыхал в ночном забытье и, просыпаясь, неизменно испытывал сожаление. Жизнь томила и терзала его, а время было для него настоящей пыткой.

Глава 46

– Так вот какое дело, Джо, – начал Мартин разговор на следующее утро, – есть тут один француз на Двадцать восьмой улице. Он сколотил деньжонок и собирается возвращаться во Францию. У него прекрасная маленькая, отлично оборудованная прачечная. Для тебя это просто находка, если только ты хочешь вернуться к оседлому образу жизни. Вот тебе деньги, купи себе приличный костюм и ступай потолковать с ним. Сошлешься на меня, и тебе там все покажут. Если прачечная тебе понравится и ты найдешь, что она стоит того, что он просит, – двенадцать тысяч, – скажи мне, и она твоя. А теперь проваливай! Я занят. Мы с тобой после потолкуем.

– Вот что, Март, – медленно проговорил Джо, сдерживая закипавший в нем гнев, – я пришел сюда для того, чтобы с тобой повидаться. Понял? А вовсе не затем, чтобы получать от тебя в подарок прачечную! Я к тебе как к другу, по старой памяти, а ты мне прачечную суешь! я тебе на это вот что скажу. Возьми свою прачечную и катись вместе с ней к дьяволу!

Он встал и хотел выйти, но Мартин схватил его за плечи и повернул лицом к себе.

– Вот что, Джо, – сказал он, – если ты мне будешь

откалывать такие штуки, я тебя так вздую по старой памяти, что ты своих не узнаешь! Понял? Ну? Хочешь?

Джо рванулся и хотел оттолкнуть Мартина, но руки, схватившие его, были слишком сильны. Оба закружились по комнате, наткнулись на стул, который разлетелся в щепки, и свалились, наконец, на пол Джо лежал на спине, а Мартин сидел на нем, упираясь ему в грудь коленом. Он едва отдышался, когда Мартин отпустил его.

– Ну вот, теперь можно разговаривать, – сказал Мартин, – как видишь, со мной лучше не связываться. Я хочу в первую голову покончить с прачечной. А потом уж придешь, и мы поговорим о чем-нибудь другом, по старой памяти Я же тебе сказал, сейчас я занят. Посмотри сам.

Как раз в этот миг лакей принес утреннюю почту, целую кипу писем и журналов.

– Разве можно и читать все это и разговаривать? Пойди выясни дело с прачечной и возвращайся сюда.

– Ладно, – неохотно согласился Джо, – Я думал, что ты просто меня отшить хочешь, но теперь вижу, что ошибся. Только в боксе тебе меня не побить, Март. Ставлю что угодно.

– Хорошо, мы потом наденем перчатки и попробуем, – со смехом сказал Мартин.

– Непременно! Как только я куплю прачечную. – Джо протянул кулак. – Видал? Я тебя свалю в два счета.

Когда он, наконец, ушел, Мартин вздохнул с облегчением. Он становился нелюдим. Ему с каждым днем было все труднее и труднее общаться с людьми. Присутствие их было для него тягостно, а необходимость поддерживать разговор приводила его в ярость. Встречаясь с людьми, он начинал испытывать беспокойство и успокаивался, только когда ему удавалось от них отделаться.

После ухода Джо Мартин не сразу принялся за почту. Около получаса сидел он в кресле ничего не делая, и в голове у него лишь изредка проносились какие-то обрывки мыслей, короткие проблески погруженного в сон ума.

Наконец он встал и начал разбирать письма. Около дюжины писем заключали в себе просьбы о присылке автографа, – он узнавал такие письма с первого взгляда; далее шли письма профессиональных просителей, письма разных чудаков и прожектеров, начиная от изобретателя, построившего модель вечного двигателя, и математика, доказывавшего, что земная поверхность есть внутренняя часть полого шара, – и кончая человеком, просившим финансовой помощи на предмет покупки полуострова в Нижней Калифор-

нии, где он хотел устроить коммунистическую колонию. Были письма от женщин, желавших с ним познакомиться; одно из писем заставило его улыбнуться: писавшая, желая доказать свою добропорядочность и благочестие, приложила к письму квитанцию об уплате за постоянное место в церкви.

Издатели и редакторы заваливали его письмами: одни на коленях выпрашивали у него статьи, другие на коленях умоляли его о новой книге, – все жаждали его рукописей, бедных рукописей, для рассылки которых он некогда закладывал все свои пожитки. Были тут неожиданные чеки – плата за английские издания, плата за право переводов на иностранные языки. Его английский агент сообщал ему, что в Германии приобретено право перевода на три его книги; его книги переводились и в Швеции, но Швеция не участвовала в Бернской конвенции, и за эти переводы ничего нельзя было получить. Был запрос и из России, тоже чисто формальный, так как и эта страна не участвовала в Бернской конвенции.

Мартин разобрал кучу газетных вырезок, доставленных ему особым бюро, и прочел то, что говорилось о нем и о его славе, возраставшей с непомерной быстротой. Мартин Иден великолепным жестом выбросил толпе сразу все свои сочинения. Очевидно, этим и объяснялась такая внезапная слава. Он

взял толпу натиском, как было с Киплингом, когда тот лежал при смерти и толпа, повинуясь стадному чувству, вдруг начала запоем читать его книги. Тут Мартин вспомнил, что эта же толпа полгода спустя, не поняв ничего из прочитанного, втоптала. в грязь того же самого Киплинга. Эта мысль заставила его усмехнуться. Как знать! Может быть, и его ждет через полгода такая же участь. Но он перехитрит толпу. Он будет тогда далеко среди океана, будет сидеть в своей тростниковой хижине, торговать жемчугом, перелетать на волне через подводные рифы, ловить акул, охотиться на диких коз в долине, что лежит рядом с долиной Тайохэ.

И в эту минуту вся безнадежность его положения ясно представилась ему. Он вдруг понял, что находится в Долине Теней. Вся жизнь его была в прошлом; она померкла, увяла и склонялась к закату. Мартин вспомнил, как много он теперь спит и как хочется ему все время спать. А недавно еще он ненавидел сон. Сон похищал у него драгоценнейшие часы жизни. Он тогда спал четыре часа из двадцати четырех и, значит, на четыре часа меньше жил. Как он тогда тяготился сном! И как он теперь тяготится жизнью! Жизнь была уныла, и вкус от нее оставался горький. Вот где таилась его гибель. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. Старый инстинкт самосохране-

ния пробудился в нем. Да, ему надо поторопиться с отъездом. Он оглядел комнату и пришел в ужас от мысли, что нужно укладывать вещи. А впрочем, это не к спеху. Пока можно заняться покупками.

Надев шляпу, он вышел и все утро провел в оружейном магазине, выбирая автоматическое оружие и рыболовные снасти. Мода на товары так часто меняется, и он решил, что только приехав на Таити он выпишет все необходимое для торговли. Товары можно было даже выписать из Австралии. Эта мысль его очень обрадовала. Сознание, что нужно что-то делать и предпринимать, было для него теперь нестерпимо. Возвращаясь в гостиницу, он с наслаждением думал о своем покойном кресле, готовом принять его, и чуть не завыл от злости, увидев, что Джо ожидает его, сидя в этом кресле.

Джо был в восторге от прачечной. Все было в полной исправности, и можно было начать работу хоть завтра. Мартин лег на кровать и с полузакрытыми глазами слушал рассказы Джо. Мысли Мартина витали далеко, почти за пределами сознания. Время от времени он делал над собой усилие, чтобы хоть что-нибудь ответить Джо. А ведь он любил Джо. Но Джо был слишком полон жизни, и соприкосновение с ним было теперь для Мартина болезненно. Для его усталой души это было чересчур большим грузом. Когда Джо

вдруг сказал, что когда-нибудь они еще наденут перчатки и побоксируют, Мартин чуть не закричал от боли.

– Помни, Джо! Ты должен завести в своей прачечной те самые порядки, о которых ты говорил в «Горячих Ключах». Никаких сверхурочных. Никакой работы по ночам. Приличная плата. И ни за что не нанимай детей! Ни под каким видом!

Джо кивнул головой и вынул записную книжку.

– Я сегодня перед завтраком набросал правила. Вот, слушай.

Он стал читать, а Мартин одобрительно мычал, все время думая об одном: когда, наконец, Джо уберется. Было уже довольно поздно, когда Мартин проснулся. Постепенно его сознание вернулось к фактам действительной жизни. Комната была пуста. Очевидно, Джо ушел незаметно, увидав, что Мартин уснул. «Очень деликатно с его стороны», – подумал Мартин. Потом он закрыл глаза и снова заснул.

В следующие дни Джо был очень занят устройством прачечной и не слишком надоедал ему. Только накануне отъезда в газетах появилось сообщение, что Мартин Иден отплывает на «Марипозе». Повинуясь все тому же инстинкту самосохранения, он отправился к доктору и попросил себя освидетельствовать. Все было у него в полном порядке. Легкие и сердце

были прямо великолепны. Насколько мог судить врач, все органы были совершенно здоровы и функционировали вполне нормально.

– У вас нет никакой болезни, мистер Иден, – сказал он, – положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую У вас великолепное здоровье. Какая грудная клетка! Эта клетка при вашем могучем желудке – залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр бывает один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы можете прожить до ста лет, если не какой-нибудь несчастный случай.

И Мартин убедился, что диагноз Лиззи был правилен. Физически он совершенно здоров. Но с головой у него что-то произошло, и только поездка, океанское путешествие могло восстановить в полной мере нарушенный ход механизма. Хуже всего то, что теперь, в момент отъезда, у Мартина вдруг пропала всякая охота ехать куда-бы то ни было. Тихий океан казался ему ничуть не лучше буржуазной цивилизации. Никакого оживления при мысли об отъезде он не чувствовал, – напротив, его лишь угнетало это новое предстоящее утомление, и он предпочел бы уже находиться на судне и ни о чем больше не хлопотать и не думать.

Последний день был для него поистине мучением. Прочтя в газетах об его отъезде, Бернард Хиггинботам, Гертруда и вообще все родственники пришли

с ним проститься. Потом пришлось закончить некоторые дела, уплатить по счетам, удовлетворить назойливых репортеров. С Лиззи Конолли он коротко простился у дверей вечерней школы. Вернувшись в отель, он застал у себя Джо, который весь день возился в прачечной и только к вечеру освободился и забежал к нему проститься. Это переполнило чашу терпения Мартина, но он все же заставил себя полчаса слушать болтовню приятеля, нервно стискивая ручки кресла.

– Имей в виду, Джо, – сказал он между прочим, – что тебя ничто не привязывает к этой прачечной. В любой момент можешь продать ее и пустить деньги на ветер. Как только тебе все это надоест и захочется опять бродяжничать, – собирайся и уходи. Старайся жить так, как тебе нравится!

Джо покачал головой:

– Нет уж, больше я не стану колесить по большим дорогам. Бродягой быть хорошо во всех отношениях, за исключением одного – то есть, это я насчет девушек. Не могу без них! Что хочешь, то и делай. Бродить, сам понимаешь, надо одному. Иногда проходишь мимо дома, где играет музыка: барышни танцуют, хорошенькие, в белых платьях, глядят на меня в окошко, улыбаются! Ах, чтоб тебе! Прямо жизнь не мила становится. Я ведь люблю пикники, танцы, прогулки под

луной и все прочее. То ли дело прачечная, приличный костюм, горсточка долларов в кармане на всякий случай! Я тут повстречал вчера одну девицу! Вот, кажется, так бы сейчас и женился, честное слово. Вот, целый день, как вспомню, на душе веселей становится. Глаза такие ласковые, а голос – просто музыка. Ах, Март, ну какого чёрта ты не женишься? С такими-то деньгами – да ты можешь жениться на первейшей красавице!

Мартин усмехнулся и в глубине души удивился, почему вообще человеку приходит желание жениться? Это казалось ему странным и непонятным.

Стоя на палубе «Марипозы» перед самым отплытием, Мартин заметил в толпе провожающих Лиззи Конолли. «Возьми ее с собой», – шепнул ему внутренний голос. Ведь так приятно быть великодушным, а она была бы безмерно счастлива. На секунду он почувствовал искушение, но тотчас оно сменилось паническим ужасом. Измученное сердце громко протестовало. Он отошел от борта парохода и прошептал: «Нет, мой милый, ты слишком тяжко болен».

Мартин спустился в свою каюту и сидел там, пока пароход не вышел в открытое море. За обедом в кают-компании ему отвели почетное место, по правую руку от капитана; и он тут же убедился, что среди пассажиров «Марипозы» он самый знаменитый и

важный. Но никогда еще ни одна знаменитость так не разочаровывала окружающую публику. Большую часть времени великий человек лежал на палубе с полузакрытыми глазами, а вечером первый уходил спать.

Дня через два пассажиры оправились от морской болезни и с утра до вечера толпились в салонах и на палубе. Чем больше Мартин к ним приглядывался, тем больше они раздражали его. Впрочем, он понимал, что это несправедливо. В конце концов это были милые и добродушные люди, он не мог не признать этого, и все-таки мысленно прибавлял; такова вся буржуазия с ее духовным убожеством и интеллектуальной пустотой. Мартин приходил в ярость от разговоров с этими людьми – до того глупыми и тупыми они ему казались. А шумное веселье молодежи действовало ему на нервы. Молодые люди никогда не сидели спокойно: они носились по палубе, восхищались дельфинами, приветствовали восторженными кликами стаи летучих рыб Мартин старался как можно больше спать. После утреннего завтрака он устраивался в шезлонге с журналом, которого никак не мог дочитать до конца. Печатные строчки утомляли его. Он удивлялся, как это люди могут находить, о чем писать, и, удивляясь, мирно засыпал в своем кресле. Гонг, звавший к ленчу, будил его, и он сердился, что

нужно просыпаться.

Однажды, желая стряхнуть с себя это сонное оцепенение, Мартин пошел в кубрик к матросам. Но и матросы, казалось, изменились с тех времен, когда он сам был одним из них. Он не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными, скотоподобными людьми. Он был в полном отчаянии. Там, наверху, Мартин Иден сам по себе никому не был нужен, а вернуться к людям своего класса, которых он знал и которых некогда любил, он тоже уже не в состоянии. Они были не нужны ему. Они раздражали его так же, как и безмозглые пассажиры первого класса!

Жизнь была для Мартина Идена мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами. Жизнь сверкала перед ним и переливалась всеми цветами радуги, и ему было больно. Нестерпимо больно.

Мартин в первый раз за всю свою жизнь путешествовал в первом классе. Прежде во время плаваний на таких судах он или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки. В те дни он нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли на палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали; натянутый над палубой тент защищал их от солнца и ветра, а малейшее их желание мгновенно исполнялось расторопными стюардами. Ему, вылезшему из душной угольной

ямы, все это представлялось каким-то раем. А вот теперь он сам в качестве почетного пассажира сидит за столом по правую руку от капитана, все смотрят на него с благоговением, а между тем он тоскует о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае. Нового рая он не нашел, а старый был безвозвратно утрачен.

Чтобы хоть чем-нибудь занять свое время, Мартин попытался побеседовать с пароходными служащими. Он заговорил с помощником механика, интеллигентным и милым человеком, который сразу накинулся на него с социалистической пропагандой и набил ему все карманы памфлетами и листовками. Мартин лениво выслушал все аргументы в защиту рабской морали и вспомнил свою собственную ницшеанскую философию. Но, в конце концов, зачем все это? Он вспомнил одно из безумнейших положений Ницше, где тот подвергал сомнению все, даже самое истину. Что ж, может быть, Ницше и прав! Может быть, нигде, никогда не было, нет и не будет истины. Может быть, даже самое понятие истины нелепо. Но его мозг быстро утомился, и он рад был снова улечься в кресле и подремать.

Как ни тягостно было его существование на пароходе, впереди ожидали еще большие тяготы. Что будет, когда пароход придет на Таити? Сколько хлопот, сколько усилий воли! Надо будет позаботиться о то-

варах, найти шхуну, идущую на Маркизовы острова, проделать тысячу разных необходимых и утомительных вещей. И каждый раз, подумав обо всем этом, он начинал ясно понимать угрожавшую ему опасность. Да, он уже находился в Долине Теней, и самое ужасное было, что он не чувствовал страха. Если бы он хоть немного боялся, он мог бы вернуться к жизни, но он не боялся и потому все глубже погружался во мрак. Ничто в жизни уже не радовало его, даже то, что он так любил когда-то. Вот навстречу «Марипозе» подул давно знакомый северовосточный пассат, но этот ветер, некогда пьянивший его, как вино, теперь только раздражал. Он велел передвинуть свое кресло, чтобы избежать непрошенных ласк этого доброго товарища былых дней и ночей.

Но особенно несчастным почувствовал себя Мартин в тот день, когда «Марипоза» вступила в тропики. Сон покинул его. Он слишком много спал и теперь поневоле должен был бодрствовать, бродить по палубе и жмуриться от невыносимого блеска жизни. Он молча бродил взад и вперед. Воздух был влажен и горяч, и частые внезапные ливни не освежали его. Мартину было больно жить. Иногда в изнеможении он падал в свое кресло, но, отдохнув немного, вставал и снова начинал бродить. Он заставил себя дочитать, наконец, журнал и взял в библиотеке несколько томиков

стихов. Но он не мог сосредоточить на них внимания и предпочел продолжать свои прогулки.

Вечером Мартин спустился к себе в каюту последним, но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком! Он зажег свет и взял книгу. То был томик стихотворений Суинберна! Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному. Уронив, наконец, книгу к себе на грудь, он задумался. Да! Это оно! Это то самое! Как странно, что он ни разу не подумал об этом раньше. Это был ключ ко всему; он все время бессознательно шел по этому пути, а теперь Суинберн указал ему лучший выход. Ему был нужен покой, и покой ожидал его. Мартин взглянул на иллюминатор. Да, он был достаточно широк.

В первый раз за много-много дней сердце его радостно забилось. Наконец-то он нашел средство от своего недуга! Он поднял книжку и прочел вслух:

Устав от вечных упований,
Устав от радостных пиров,
Не зная страхов и желаний,
Благословляем мы богов.
За то, что сердце в человеке

Не вечно будет трепетать.
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь.

Мартин снова поглядел на иллюминатор. Суинберн указал ему выход. Жизнь была томительна, – вернее, она стала томительно невыносима и скучна.

За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать!..

Да, за это стоит поблагодарить богов. Это их единственное благодеяние в мире! Когда жизнь стала мучительной и невыносимой, как просто избавиться от нее, забывшись в вечном сне!

Чего он ждет? Время идти.

Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. «Марипоза» сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус. И это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню! Но тут же он высмеял себя за это. К тому же не было времени. Ему так хотелось покончить поскорее.

Погасив свет в каюте для большей безопасности, Мартин просунул ноги в иллюминатор. Плечи его за-

стряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему, он проскользнул и повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки. Белая теплая вода подхватила его. «Марипоза» прошла мимо него, как огромная черная стена, сверкая огнями еще освещенных кое-где иллюминаторов. Пароход шел быстро. И едва он успел подумать об этом, как очутился уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.

Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в волне. Он совсем было забыл о главной своей цели. Огни «Марипозы» уже терялись вдали, а он все плыл и плыл, словно хотел доплыть до ближайшего берега, который был за сотни миль отсюда.

Это был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», – подумал он и, подумав, презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие.

Мартин принял вертикальное положение. Он взглянул на звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым могучим движением ног и рук он заставил себя подняться из воды, чтобы сильнее

и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя. Погрузившись, он начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотическое средство, чтобы скорей забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.

«Воля к жизни», – снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он испробует иной способ! Он глубоко вздохнул несколько раз. Набрав как можно больше воздуха, он, наконец, нырнул, нырнул головою вниз, со всею силою, на какую только был способен. Он погружался все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно благодарил жизнь за эту последнюю милость.

Все глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он понимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки становилось нестерпимым, и голова, казалось, разрывалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец,

весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боли. Это была еще жизнь, послед нее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.

Его руки и ноги начали двигаться судорожно и слабо. Поздно! Он перехитрил волю к жизни! Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плывет по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк! Но он горел в его мозгу – яркий, белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то, и Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял! Он летит в темную бездну, – и в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.

* * *